

ПРЕДИСЛОВИЕ

Анатолий Ливри, писатель, живущий во Франции и Швейцарии, но пишущий для русского читателя, уже известен в России не только по достаточно громким скандалам, описанным в прессе, но, что гораздо важнее истинным любителям литературы, по ранее издававшимся книгам «Выздоровливающий» (2003), «Набоков-нищсеанец» (2004), «Ессе homo» (2007), «Посмертная публикация» (2008). Он признан отечественным литературным сообществом, о чем свидетельствуют две его литературные премии – «Серебряная литера» (2005) и «Эврика» (2006).

Новая книга Анатолия Ливри «Физиология Сверхчеловека, или Введение в Третье Тысячелетие» написана в характерном для автора, но достаточно редком жанре современной литературы – это серия пространных философско-художественных эссе, сплавляющих воедино философскую рефлексию и литературную критику, моралистические размышления и публицистику, обращение к «вечным» вопросам и злободневным проблемам. Автор с самого начала требует от читателя особого настроя для чтения его книги, заявляя о главном предмете своей рефлексии – «человеке», существование которого он одновременно, вполне в духе постмодернистской идеи «смерти человека», оспаривает, последовательно отказываясь от идей «добродетели», «справедливости», «равенства и братства» человеческого общества. В новой книге подхвачены и развернуты многие уже высказанные им в различных книгах, статьях, интервью идеи, но собранные в едином потоке рефлексии они приобретают характер целостной системы.

Знакомая по прежним сочинениям пафосная задиристость изложения, изрядная эпатажность вкупе с витиеватой словесной игрой, стилистической изощренностью и любопытным словотворчеством свидетельствуют о несомненной филологической одаренности автора. А. Ливри, как он не раз заявлял, претят «интеллектуалы», но создание идейно перенасыщенных и метафорически усложненных текстов, безусловно, требуют высокого интеллекта и от писателя, и от его читателей. В эссеистической книге А. Ливри читатель находит разнообразные литературно-философские

ассоциации, демонстрирующие богатую эрудицию автора, интересные размышления над Платоном и Сократом, Монтенем и Свифтом, М. Булгаковым и О. Мандельштамом и т.д. Книга посвящена «жрецам Диониса» – Пушкину, Ницше, Булгакову, Набокову, Достоевскому – и, вероятно, самому Ливри. Главные, излюбленные персонажи его философско-художественной рефлексии – Ницше и Набоков. При этом писатель не стремится создать простой (пусть даже пространный и тонкий) комментарий к их произведениям или дать их развернутый анализ, который неизбежно имел бы прикладное значение, хотя внешне – изобилием цитат, ссылок, комментариев – книга и походит на философское или филологическое научное исследование. Жадное желание А. Ливри не сливаться ни с ницшеведами, ни с набоковедами, ни с какими другими «ведами» (с профессиональными толкователями творчества этих авторов), проявляется в стремлении превратить собственные размышления в текст, соприродный ницшевскому или набоковскому, не тождественный им в жанровом смысле, но идейно-эстетически «равновеликий». Можно сказать, что если не в целом, то в каких-то фрагментах этот замысел автору удастся успешно реализовать.

Высокая самооценка Ливри сочетается с высокой требовательностью – как к себе самому, так и к своим потенциальным собеседникам. Отсюда – предупреждения читателям, как следует рационально («интеллектуально») понимать и эмоционально («дионисийски») воспринимать, переживать читаемую книгу. Отсюда – насыщенная метафорика прозы Ливри и ассоциативно-вольная композиция ее.

Достоинства «Физиологии сверхчеловека» лежат, думается, прежде всего, в художественно-стилистической сфере, по крайней мере, в ней они бесспорны. Тогда как философско-публицистическое содержание книги провокативно, можно сказать, намеренно дискуссионно, и несомненно вызовет весьма противоречивую реакцию. В силу указанных обстоятельств даже те из читателей, которые скептически отнесутся к излюбленным идеям А. Ливри – антидемократизму, антифеминизму, монархизму и пр., с интересом познакомятся с его книгой.

*Наталья Тиграновна Пахсарьян,
Профессор Кафедры Зарубежной Литературы
Московского Государственного Университета им. Ломоносова*

*«Отрок милый, отрок нежный,
Не стыдись, навек ты мой;
Тот же в нас огонь мятежный,
Жизнью мы живём одной.
Не боюсь я насмешек:
Мы сдвоились меж собой,
Мы точь-в-точь двойной орешек
Под единой скорлупой».*

А. С. Пушкин

«– Молчал бы лучше, – сказал Сократ».

Платон

ПОСВЯЩЕНИЕ В ТАИНСТВО

*«Это были ступени для меня, я поднялся выше их, –
для этого я должен был пройти по ним. Они же думали,
что я хотел сесть на них для отдыха ...».*

Фридрих Ницше

Дверь! Закройте дверь! Плотнее! Трижды поверните ключ! Да не будут вопли «человека», изловленного александрийской сетью задолго до воцарения клеопатрового матриархата, *смешивать* со Словом, которое начинает излучать эта книга! Прочь из убежища поэта, равенство между «людьми» и братство! Прочь этих убийц свободы – трусость и зависть – вот их подлинные русские имена! Ибо речь в моей поэме пойдёт именно о нём – существе, кое сейчас еще осмеливается называть себя «человеком». На страницах этого труда изучаемой твари запрещается иметь право голоса, пока поэт окровавленными по локоть руками залезает в самые укромные уголки её мясистого сердца. И весь мир, измышленный «человеком» призывается к молчанию в душах вчитывателя этих строк, пока он будет восходить по страницам поэмы. И возможно, по прочтении книги, читатель с изумлением воскликнет: «А „человека“-то, на самом

деле и нет! Как нет и „мира людей”!». И, может статься, он окажется прав. Ибо «человек» и его пресловутый «мир» сгинули так давно, что душа нашего современника не в силах и припомнить их изначальных образов! Быть может, благодаря моему труду, в сознании вашем наметятся контуры существа более сложного, а может и обозначится силуэт некоего еще более труднообозримого создания или даже, в конце концов, эти строки, написанные для немногих пророков будущего странным, одними ими *ощущаемым* вакхическим стилем, выведут их, и только их, — на новый, и одновременно на самый древний лад скроенных «людей», — и к нему самому — неуловимому Ловчему душ?..

Итак, первые условия чтения, — немота мира, и запрещение «человеку» об этом мире высказываться, необходимость закупорить мир в человекообразном, дабы он забродил в его теле, выявил всю свою таинственнейшую, наипьянящую сущность: подобному винному любомудрию обязывал новобранцев своей школы самосский мыслитель. Звук, изживает мысль, вытесняя её из божественного *Слова* — зачинателя и стража бытия — и тютчевский призыв к молчанию есть ни что иное, как попытка стабилизировать по отношению к неизменному центру мироздания дионисическую субстанцию, пенетрирующую поэта в момент творчества. — Демарш, сравнимый с поступком иного Ореста, приходящего к Пифии после очередного внедрения в «человеческое» тело и примеряющего к устойчивости триножника ритмическую вибрацию убийства — истинное счастье ножа, рассекающего пуповину, кою снова следует завязать замысловатым лидийским узлом. Пушкинский «народ» — бывшая манна небесная, облепившая в момент одной из царственных метаморфоз, Девичье поле до кровли с крестами церквей, — «безмолвствует» как неповоротливое исполинское тело внезапно обожжённое упавшей каплей истины, ненавидящее эту истину, силящееся скорее абсорбировать эту каплю всей своей поверхностью, не дав ей прожечь собственные недра: «*слизь речённая*» становится «*ложью*», опасностью, грозящей гибелью *моосквитянскому „мы”* — колоссальному организму, предчувствующему приближение смерти, и принимающему необходимые меры для своего спасения. Ибо, как ни прибегай к софистским уловкам, «ложь» — всего лишь «тезка» Танатоса — если «многомудрого лжеца»-поэта не ведёт сквозь дебри лжи божество, принимающее на себя предназначенную созидателю смерть и способное незаметно взять в окружение торжествующих недругов творца.

Мой второй совет берушим в руки эту книгу — *медленность чтения*, — к нему призываю я вас, сообразно недавно усопшему в Петербурге ценителю гималайской мысли. Точнее, я советую вам *медленную мощь чтения* — ибо приглашаю я читательский взор к буйволовой поступи по печатному листу! Представьте себе джунгли, неторопливый шаг буйвола, тянущего за собой лемех — лемех, воткнутый в кожу планеты *нечеловеческой* рукой и придерживаемый ею в процессе *непрактического* возделывания девственной целины — так и взор ваш должен вгрызаться в эти фразы: необходимо дать время солоноватой как кровь капле духа созреть, чтобы дать ей обрушиться на страницу, размыть строки, заполнить неизбежные между ними пробелы.

Посвящается ли эта книга трудам Ницше, ведь именно он столь ловко подхватил, после Гёте или после Монтеня, слово «сверхчеловек» медовой щекоткой дразнящее нёбо? Отчасти.

Посвящается ли мой труд литературе? Гораздо меньше!

Нецелесообразно переписывать то, что некогда написали, или напишут немцы, а потому цель этой книги — достигнуть просторов, коих не пришлось увидеть Фридриху Ницше — добраться до *Ultima Thule*! — исследовать гиперборейские земли, используя мысль Ницше в качестве быстроходного *Αρού*; исходить вдоль и поперёк страны, которые не успел изучить Фридрих Ницше. Не успел домыслить, допеть и изваять все истины, на коих зиждется мироздание, философу *не хватило наложенной на время тиши души*. И это хорошо. Ибо священная истина должна выдавливаться по каплям.

Вехами моего пути к неизведанному — а может забытым, — материкам философии станут такие понятия, как «воля к чистоте»; «номады-аристократы» — ницшевские «безродные», от «человечества» *поотвыкшие*; «возрождение союза финикийской и ахейской рас» — *Словом!*; «осколок человека»; «дионисический взрыв»; «дионисическое склеивание»; тяга избранного «осколка человека» к более сложным, «высшим» созданием и способы выражения этой «тяги», а также многие другие капканы, в кои подчас уловляется «человек» — на счастье!

Бесчисленным уровням и оттенкам «человеческой» иерархии, терниям, оказывающимся на пути восходящего, «усложняющегося», его болезням и их симптомам, способности человекообразного очиститься для получения доступа в высшую категорию, — исцелиться, сиречь достигнуть *целости* — редчайшей *над-«человеческой»* субстанции, временами оказывающейся на поверхности планеты волею наитайнственнейшего

божества, а главное — нюансам всех физиологических процессов, происходящих внутри однажды названной, но ещё не изученной сверхсложной твари — посвящается моя поэма.

Для выявления вышесказанного я обращаюсь не только к греческому, но и к европейскому слову, чаще всего Набокову, этому чуткому к краскам мира и к божественной пенетрации мира живописцу, являющемуся неплохой лакмусовой бумажкой для выявления сверх-нищевских истин. И только! Набокову-нищевцу, изумлённому, словно пощёчиной, мыслью и образами Ницше, и, благодаря насыщению ими, понявшему, скорее *прочувствовавшему* и, выкобениваясь по-козлиному, заново протанцевавшему прелюдию к возрождению трагедии, я уже посвятил один труд¹.

Набоков Конечно — не протагонист трагедии, называемой для вящего удобства читателя XXI-го века «*нищеванством*». Не является Набоков и дейтерогонистом всё ещё разыгрываемой комедии, некогда окрещённой «русской литературой». Он сам — персонаж драмы, один из наилучших вакхантов «сверх-мысли», шествующий впереди дионисического кортежа, не более. Быть может, мою поэму следовало посвятить совершеннейшему спутнику Диониса — Гоголю. Набоков менее чуток, чем этот «итальянец», а потому менее близок богу. Однако, он имеет своеобразное преимущество — краски его куда разнообразнее и чётче, хоть и эклектичность его палитры соседствует с недостаточной концентрацией мысли.

У Гоголя напор ярчайшего слога — причина исполинского количества грубых стилистических недочётов, необходимых ему, как «человеческие» жертвы всякому первопроходцу, как буйвологлавый таран — захватчику городов. И это хорошо.

Понимают ли меня? — Ахилл, в течении целого десятилетия занимается пиратством, сжигает малоазийские крепости, умертвляет Астеропея, Гектора, множество других божьих отпрысков да царевичей, и, наконец, гибнет. В то время как на Лемносе, сдобренном кровью своих мужей, вызревает новое тело, подготавливает свою метаморфозу — *выздоровление*, — обусловленное для этого тела способностью выжить после впрыскивания в него змеей яда-мудрости. Вдали от Трои, расцветает стрелок царских кровей, владелец Гераклового лука, без которого невозможно разрушить варварскую твердыню. Наиглавнейшее в данном

мифе то, что всё происходит *помимо воли* Филоктета: мелибеец жаждет лишь смерти, мести, и следовательно — «не-усложнения», как это и представит моя поэма.

Протекают года. Решено: город на далёком илионском берегу должен быть разрушен, а расе троян — быть в Европе! Таков выбор, переданный Мойрами туговатым на ухо олимпийцам. И вот на Лемнос ступает нога того, кто составляет единое целое с Ахиллом — *осчастливленным* стрелой Париса — рыжевласого Неоптолема.

Из недр персефонова царства восходит ἦμι-θεος-*ex-machina*. Его лук, необходимый для победы войска Агамемнона² доставляется в ахейский лагерь, сообразно «доброй воли» Филоктета, внезапно изменившей свой поток.

Стрела вылетает из лука. Парис пронзён. Троя пылает. Круг замкнут. Юный Гомер может славить *ратумию* аргивян, а те, — смешавшись впоследствии в нужной пропорции с дорийцами, — ожидать прихода Эсхила-грузчика с Софоклом-лесорубом.

Итак:

Гоголь — это Ахилл-Неоптолем.

Набоков — дитя случая, вовремя излечившееся для выстрела *из чужого лука* с тетивой натянутой высшим существом, превосходящим его по прозорливости и мощи, основателем персидского искусства — это Филоктет. Залогом главного преимущества Набокова перед Гоголем, этим Колумбом дионисичности в русской прозе, останется то, что ему *посчастливилось* исполниться вакхического духа, *означенного* Фридрихом Ницше, — и лишь прикосновение нищевского тирса делает Набокова достойным внимания.

Нам остаётся только вообразить и замереть в предчувствии восхитительного, — но несостоявшегося! — в литературе творения: что бы случилось, если Гоголю в Швейцарии или в северной Италии предстало подобие видения Фридриха Ницше, вроде некоего легкононого перса, внезапно исполнившегося «немецкого слова», но сохранившего *не-базельскую* изысканность нижней части спины?!

Горе мне! Гоголь *родился не вовремя*, или же просто случайно прошёл не по той тропе, — чуть выше или чуть ниже *обестененного* танцующего перса, — автор этой книги вынужден обратиться даже не к δευτερ-αγωνιστής, но (после иступлённого шквала *гоголька*-Белого, пронёсшегося сквозь

¹ См. Анатолий Ливри, *Набоков нищевец*, Санкт-Петербург, Алетейя, 2005, 239 с.

² Софокл, *Филоктет*, v. 604 — 613.

русскую литературу и европейскую мысль) к τριτ-αγωνιστής дионисичности в русской литературе, Набокову.

Раз я обращаюсь к Набокову, то, притронувшись к нему доверенным мне тирсом, и облагородив этим его растолстевший призрак, — я представляю грядущим поколениям нового, истинного Набокова. Таким, и только таким останется он в памяти потомков.

* * * * *

Набоков — один из дионисических литераторов, которому выпал счастливый случай причаститься к духу Ницше. Следовательно и ему в моём труде не избежать попутного ницшевского разбора. Из всех набоковских произведений я выбрал самое таинственное, пересыпал его мукой нескольких других, чтобы ответить на вопросы, впервые дав Набокову право высказаться.

В чём заключается основной секрет того, что Набоков почитал писательской миссией? Объяснение ли это физиологии творчества? Изучение ли феномена, когда созидатель внезапно принимается впитывать σωφροσύνη, *наполнять* себя временем с пространством (первый мандельштамовский термин, учёные, стоит понимать как «*la durée*», «*die Zeitigung*»), и приподнимает для более зорких и терпеливых завесу, за которую ему самому, не принадлежащему, как я, к колену Левитов, заглядывать запрещено. А быть может, Набоков догадывался, что тайна эта расположена вовсе не за одним-единственным покрывалом, а запрятана куда глубже — под многочисленными слоями, проникнуть за которые доступно лишь созданию редчайшему, хрупчайшему, мощнейшему, самому смертоносному и наиболее подверженному гибели — артисту-философу, а вовсе не разумному структуралисту-«универсалисту»? Не эту ли догадку о существовании мистерий, а также страсть достигнуть скрываемого, вкупе со страданием, вызываемым сознанием своей неспособности добраться до искомого и уверенностью в его существовании, скрывал Набоков под излишне красочной тканью своего стиля?

Я покажу каким образом *редчайший случай* дал почувствовать Владимиру Набокову величайший момент в развитии философии — паузу со взрывом — и выразить его на белом листе. За это простятся Набокову ляпсусы, повторения, злоупотребление многоточиями и проч. — Набоков интересен как красочный, но не всегда точный толмач Ницше.

Редко удаётся Набокову загнать «зверя» — дионисийские мысль и образ, — изловить его и преподнести читателю неизуродованным; зверь уходит, разрывая набоковские сети; нерасторопный охотник вновь устремляется в погоню, но всё же частенько приносит домой или исковерканный труп, или, если хищнику удалось запутать следы, малоинтересный трофей — никчемное тельце затравленного травоядного.

И всё-таки Набоков стремится уподобиться Ловчему, *имитировать* на белом листе телодвижения сверх-охотника. Подчас кисть Набокова принимается выводить пируэты сродни колыканиям тени не только Диониса, но и его провозвестника, Якха, писатель жаждет стать нужным — через совершеннейший стилистический μίμησις божественной пуступи — богу, подольститься к индийцу. Еще реже Набокову удаётся создание подлинной эдесской красоты — изваять стиль παρένθυρος, как говаривал в труде *О возвышенном* некий Θεόδωρος, выпестовавший императора, распявшего Христа! Причащается Набоков к вакхическому таинству как-то неумело: для этого священнодействия необходима краткость Мандельштама, узорная сжатость и вечная над-«человечность» его слога (являющаяся, в принципе, тем же гоголевским кулаком, только поэтическим) — самая мощная русская стихотворная длань двадцатого столетия! Божественны и способность Мандельштама высказать троицей слов червоннотруйную текучесть зелья Медеи, которая уже собралась, вместе с руном, *возвратиться* в ахейские земли, и его дар запечатлеть мгновение, зависнувшее над пропастью тысячелетий посреди колхидского безграничья, превратившегося на долю секунды в царство Диониса. А пока эта пьянящая капля Хроноса висит, переливается, дрожит, — она столь же прочна, как оковы титана на скале, по соседству. Мандельштам — сверх-«человеческий» любомудрец, дионисова Пифия, сумевший *довитийствовать* в ссылке, находясь в исконных кольцовских землях, эллинский смысл планеты, и, так и не будучи наказанным за своё истинное *праарийское* преступление, преодолел свой семитский грех. Что до Набокова, то он чует превосходство Мандельштама-поэта, мощь необоримую (даже даром Изоры!), — мощь ницшевскую, впоследствии ставшую, естественно, «*трагической*», ибо была впитана Набоковым ещё-до-тенишевцем одновременно с λόγος-ом одного из поэтических проводников Заратустры в Россию³:

³ Структура *Согладатая*, как возможного прозаического слепка с «*„летейского“ стихотворения Мандельштама*» уже была отмечена Омри Ронен, *Vera* текст от 20 ноября 2001 in «Звезда», 2002 — 1.

«В детстве я тоже знал его [Мандельштама <А.Л.>] наизусть, но тогда он приносил мне меньше наслаждения, чем Александр Блок. Сегодня же через призму его трагической судьбы его поэзия кажется даже более прекрасной, чем она есть на самом деле.»⁴

Не потому ли герой Дара, *Θεόδωρος*, получает одну из половин своей фамилии в дар от черепка, слепка судьбы Мандельштама — начального места первой ссылки поэта, в городе Чердынь Верхнего Прикамья, чья крепость была возведена предком Пушкина, боярином Курчевым: *Дар* писался как раз во время отбывания Осипом Мандельштамом наказания. В первой главе романа юный Фёдор (то есть ровесник отрока-Набокова, знавшего наизусть стихи Мандельштама), находясь на рубеже аполлонических видений, воображает собственное, ставшее *иппическим*, тело пытаемое камскими палачами (если, обратившись к привычной сверх-созидателю «многопланности мышления» и свободой предоставляемой владением *Λόγος*’ом, позволить себе пересадить воинственных азиатов в *Верхнекамье*):

«А не то я бывал обращён в кричащую монгольским голосом лошадь: камы посредством арканов меня раздирали за бабки, так что ноги мои, с хрустом ломаясь, ложились под прямым углом к туловищу, грудью прижатому к жёлтой земле, и, знаменуя крайнюю муку, хвост стоял султаном; он опадал, я просыпался»⁵ — Чердынь же, есть на самом деле место сломанных костей Мандельштама, ибо:

«Известно, что в Чердыни Мандельштам покушался на самоубийство, выбросившись из окна больницы, где он тогда содержался, и сломал себе при этом руку»⁶ — туда же, на «Чёрдынь», несла — прямо в момент созревания набоковского Дара, в ссылку, Мандельштама река Кама:

«Как на Каме-реке глазу тёмно, когда
На дубовых коленях стоят города.

⁴ Vladimir Nabokov, *SO*, 97. Русский текст цитирую по тексту Н. Хрущёвой, «Владимир Набоков и русские поэты» in «Вопросы литературы», 2005, 4.

⁵ Владимир Набоков, *Дар в Собрании сочинений в четырёх томах*, Москва, 1990, т. 3, с. 17.

⁶ Глеб Струве, О. Э. Мандельштам, *Опыт биографии и критического комментария* в Осип Мандельштам, *Собрание сочинений в четырёх томах*, Москва, 1991, т. 1, с. XLV.

В паутину рядясь — борода к бороде —
Жгучий ельник бежит, молодея, в воде.

Упиралась вода в сто четыре весла,

*Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.*⁷ — бог реки Камы, рассверепевший до багровой ярости скифский родственник Скамандра, принимается за пытку поэта, хлещет его, как Ахилла, по ногам, и нежный отрок Набоков (ибо лишь снова став ребёнком, приобретя детскую сомоотверженность, входишь в поэтическое достоинство!), сидя в безопасной Германии, вживается в роль Мандельштама, становится ипостасью Вакха, а он — тут как тут: дионисической субстанцией, дубом устремляется вдоль Камы, преклоняя колени перед воплощённым и решившим прошестьвовать на манер Осириса, богом, трагической хвоей расворяется в речной струе. И вот уже страдающий Мандельштам, свидетельствуя, соглядатайствуя, торжественным кортежем рассекает, исследуя её, Евразию, да отыскивая Дионису новый путь из Индии в Грецию — эту *Strada maestra* философии. И, наконец, засыпает маленький Чердынцев-Набоков.

А Кончеев Дара награждается Набоковым переименованным, но самым дионисическим отрывком *Грифельной оды* — так, оставаясь вакхантом, восторгается Набоков сверх-даром творца-Мандельштама, которым Дионис никогда не наградит его самого:

Ср. Дар: «Виноград созрел, изваянья в аллеях синели.

Небеса опирались на снежные плечи отчизны...»⁸. (Впервые опубликовано в «Современных записках», № 63 — 67, 1937, 1938, Париж.).

Ср. *Грифельная ода*: «Плод нарывал. Зрел виноград.

День бушевал, как день бушует.»⁹. (Впервые опубликовано в «Литературной Неделе» газеты «Накануне», 29 июля 1923, в Берлине. Именно в это время Набоков обосновывается в столице Германии на последующие полтора десятилетия).

Да и немецкая каска Мандельштама 1914 года, позаимствованная с германской головы в польской Познани, у Набокова 1925 года становится каской австрийской из недалёкого Львова, и обещанной Ганину

⁷ *Ibid.*, с. 214 — 215.

⁸ Владимир Набоков, *Дар, op. cit.*, т. 3, с. 152.

⁹ Осип Мандельштам, *Грифельная ода, op. cit.*, т. 1, с. 108.

- впоследствии проживающему в Германии, по польскому же паспорту
- также в стихотворной форме, Машенькой.

Ср. у Набокова в *Машеньке*:

*«Расскажите, что мальчика Леву
Я целую, как только могу,
Что австрийскую каску из Львова
Я в подарок ему берегу.»*¹⁰.

Ср. у Мандельштама:

*«Немецкая каска – священный трофей –
Лежит на камине в гостиной твоей,
Дотронься, она как мерлушка легка,
Пронизана воздухом медь шишака.*

*В Познани и Польше не всем воевать –
Своими глазами врага увидеть
И, слушая ядер губительный хор,
Сорвать с неприятеля гордый убор.»*¹¹.

Истинно поёт Мандельштам, не всем! Набоковским героям, например, дозволяется срывать «гордый убор» лишь с голов кембриджских стражей порядка, а Набокову остаётся проза, и этой прозой будет он повторять все перипетии путешествия дионисического духа, настойчиво силась истощить весь набор позаимствованных у Ницше образов, но беспрестанно возвращаясь к ним, точно преследуемый мыслью: а не забыл ли я чего!? Верно ли я имитировал все грани ницшевского бриллианта!? Сотворил ли я, согласно всем канонам, «намаз» неистовому, насмешливому и немилосердному божеству, с коим я так жажду контакта!? И тотчас задаётся Набоков вопросом: почему не снизосходит на меня Якх по первому требованию, как удостаивал он своим посещением, – точно Посейдон эфиопов – другого, куда более совершенного чем я вакханта?! Позже, посетив Сильс-Марию, место встречи Ницше с персидским пророком, вдоволь надышавшись там хвоей, Набоков ностальгической песней выплакал своё сожаление о вакхической пенетрации, которая могла бы состояться среди дионисических сосен – деревьев облегчающих роды Земли, высасывающих её боль, создающих благодатный роже-

ницам микроклимат: не потому ли азиатский Дионис Праксителя, Сарданапал (естественно, с двумя «лямбдами» поперёк плаща, а спереди и со спины – по семь полных складок мраморной ткани – наисочнейшая палитра βίος-*Regenbogen'a*!) указывая идеально вертикальной линией носа в землю, соединяя, таким образом, планету со стратосферой – прикрывается одесную от нескромных взоров непосвящённых исполинской сосновой шишкой, венчающей посох, и лишь ошую оставляя место покорным вакхантам для приобщения к мистериям.

* * * * *

Предводительствовать торжественному шествию моего труда будет, конечно, Ницше. А потому настало время расставить <индийские> гермы ницшевской мысли, которые выведут нас в земли запретные, где ежегодно скрывается горящая Деметра, земли сверх-плодородные, чреватые и гением, и безумием, и раскрытием тайн.

Зададимся же следующими вопросами:

Каково наиглавнейшее отличие подхода Фридриха Ницше к философии от предшественников, а также от доктрин мыслителей более поздних эпох?

Фридриха Ницше отличает внеграницная живая архитектурная мысль, его эллинская созидательная лёгкость, воспитанная Аристофаном с Лукианом, наложенная на фундамент Аристотеля с Диогенами, крепчайшими сваями уходящая в недра планеты мощью Пиндара, Архилоха, Теогнида, Фукидида, Пифагора, Терпандра, одним словом – Гомера!

Сам Ницше в своём первом крупном труде, *Рождении трагедии* объясняет не только о решении идти по стопам Гомера, но и о своём стремлении превзойти поэта. Вот как Ницше *означает* свою волю к превосходству: «до-эллинское» слово Гомера, возвращённое в Элладу Ликиургом, было воплощено поэтами, – собранными в Афины единовластием Гиппарха – в сорока восьми песнях. Каждая песнь *Илиады*, – раннего творения Гомера, – отмечена заглавной буквой двадцатичетырёхзначного греческого алфавита; каждая песня *Одиссеи*, поэмы, уже умудрённого старостью аэда, обозначена одной из двадцати четырёх прописных греческих букв. Ницше же, на продолжении двадцати четырёх глав *Рождения трагедии* излагает перипетии мифа, воспроизводит величественный танец Аполлона с Дионисом, и двадцать четвёртую главу – «омегу» своего *Рождения трагедии* – завершает Ницше выражением надежды

¹⁰ Владимир Набоков, *Машенька*, *op. cit.*, т. 1, с. 98.

¹¹ Осип Мандельштам, *Немецкая каска – священный трофей*, *op. cit.*, т. 1, с. 137.

на дионисическое возрождение духа нации, населяющей срединную западноевропейскую землю; немцы не пожелали возвращения собственного духа-апатрида, отказались предоставить убежище заложнику, и Ницше последовал за мифом — в изгнание. Этой пророческой фразой мог бы Ницше закончить свой труд:

«Но самая мучительная скорбь для нас всех — та долгая, лишённая всякого достоинства жизнь, которую немецкий гений, отчуждённый от дома и родины, вёл на службе у коварных карлов. Вы понимаете это слово — как в заключении вы поймёте и надежды мои.»¹².

Но нет! Ницше пишет ещё одну главу, обозначает таким образом доселе невыгравированную букву греческого алфавита, разрывает этот алфавит, устанавливает свои права над «альфой и омегой» и тотчас склеивает из расчленённого буквенного туловища свой собственный, по образу и подобию своему и своего будущего творчества созданный алфавит. Ахейцы, привезя финикийские согласные через море, на континент, окрещённый именем полюбившейся Зевсу финикиянки, добавили к ним гласные и поворотили их совместный буквенный напор в противоположную сторону света, на Восток, навстречу Дионису, — отныне хор может источать богу славу, пахнущую (по воле того же случая!) коркой азиатского яблока. Какой звук, обозначил Ницше двадцать пятой буквой своего алфавита? Произносим ли он «человеческими» горловыми связками? Способна ли вывести на листе «человеческая» кисть сообразные ему очертания?

На деле же, двадцать пятая глава *Рождения трагедии* — это манифест всего будущего созидания Ницше, упреждение сверх-гомеровского рывка в неизвестное, ещё точнее: призыв к возрождению — благодаря, конечно же не «разуму», но «интуиции» — истинного древнеэллинского существования¹³, позволяющего взору провидца-философа скрестить-

¹² Фридрих Ницше, *Рождение трагедии из духа музыки*, Москва. Перевод Г. А. Рачинского, 1990, т. 1, с. 151.

¹³ «Друзья мои, вы, верующие в дионисическую музыку, вы знаете также и то, что значит для нас трагедия. В ней мы имеем трагический миф, возрождённый из музыки, — а с ним вам дана надежда на всё и забвение мучительнейших скорбей! Но самая мучительная скорбь для нас всех — та долгая, лишённая всякого достоинства жизнь, которую немецкий гений, отчуждённый от дома и родины, вёл на службе у коварных карлов. Вы понимаете это слово — как в заключении вы поймёте и надежды мои.» Ibid., с. 155.

ся со взглядом Эсхила, заново приподнесённого в дар землянам аристофановским Дионисом.

Невиданная за многовековую историю европейского любомудрия смесь поэзии с индийским гением, прошедшим сквозь точила азиатских и пелопоннесских баталий, долго бродившим в критских амфорах, разведённый в нужной пропорции на пиру в честь агафоновой победы и законсервированный тирренской водицей в пифосах — с угодившим на их дно рубиновым перстнем, — была впитана (ниже я расскажу при каких обстоятельствах) этим тихогласым немецким мудрецом, и высказана им в *Рождении трагедии*: «... взглянуть на науку под углом зрения художника, на искусство же — под углом зрения жизни ...»¹⁴.

И пусть впоследствии Ницше назовёт своё *Рождение трагедии* «невозможной книгой»¹⁵, — тактика философа, взятая им на вооружение в начале семидесятых, останется неизменной до конца его связи с миром «человеков». Она заключается в следующем: изучив доскональным образом наследие античной философии, — нет! вжившись в него, — Ницше сумел пропеть его (только уже по-немецки), да ещё и *протанцевать*¹⁶! Ведь доктрина Ницше — не что иное, как пляска златокудрого — как Мелеагр, — ахейского воина в полном вооружении античной философии над столетиями варварского, «чернокожего»¹⁷, мировоззрения.

Итак, Ницше только «протанцевал» уже существовавшие до него пируэты, совершив затем феноменальный рывок, скрывшись от взора прирученного к рамкам сцены зрителя. Этот *рывок к Дионису*, — отказывающегося

¹⁴ Ibid., с. 50. Курсив Фридриха Ницше.

¹⁵ Фридрих Ницше, *Опыт самокритики*, *op. cit.*, т. 1, с. 50.

¹⁶ «Мой стиль — танец». «Mein Stil ist ein Tanz.»: Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Briefe Kritische Studienausgabe, Januar 1880 — Dezember 1884*, „An Erwin Rohde in Tübingen“. Nizza, 22 Februar 1884, Berlin — New York, Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter, 1986, Band 6, S. 479. Перевод Анатолия Ливри. Курсив Фридриха Ницше.

¹⁷ «В слове *каκός*, как и в *δειλός* (плебей в противоположность *ἀγαθός*), подчеркнута трусость: это, по-видимому, служит намёком, в каком направлении следует искать этимологическое происхождение многозначно толкуемого *ἀγαθός*. В латинском языке *malus* (с которым я сопоставляю *μέλας*) могло бы характеризовать простолюдина как темнокожего, прежде всего как темноволосого («hic niger est»), как доарийского обитателя италийской почвы, которой явственно отличался по цвету от возобладавшей белокурой, именно арийской расы завоевателей; по крайней мере, галльский язык дал мне точно соответствующий случай — *fin* (например, в имени *Fin-Gal*), отличительное слово, означающее знать, а под конец — доброго, благородного, чистого, первоначально блондина, в противоположность тёмным черноволосым аборигенам»: Фридрих Ницше, *К генеалогии морали*, *op. cit.*, т. 2, с. 419.

от пользования *machin*'ой и ожидающего, чтобы его человекообразный двойник-актёр поверил в него настолько, чтобы броситься к нему, прочь от «человека», прочь от сатира, *блеющего* в ритме пронизывающих его вакуумных волн! — и есть этот «*Big-Bang*», — толчок к формированию зародыша ницшевского *nuance*¹⁸! Впоследствии он возмужал, преобразился под воздействием определённых событий (о которых пойдёт речь в этой книге), чтобы *быть означенным* как сверх-«человек», и принесённым персом «людям» с гор — чьи *очи* называются то ли Урми, то ли Сильваплана, то ли ещё каким гималайским именем:

«И Заратустра говорил так к народу:

Я учу вас о сверхчеловеке.»¹⁹

Создание на Земле царства вышеупомянутого сверх-«человека» (которого я, для нужд моей книги отныне стану потчевать следующей орфографией: «Сверх-человек», оставляя исконную форму русским пересказчикам *Заратустры*), согласно Ницше — цель существования планеты: «*Сверхчеловек — смысл земли. Пусть же ваша воля говорит: да будет сверхчеловек смыслом земли!*»²⁰ — цель существования его *матери* планеты, прибавлю я.

Что же касается данной книги, то в ней будет разобрано не только понятие «Сверх-человек», но и проанализирована физиология предшествующей ему более распространенной — хоть и редкой — особи, «Высшего человека», ему посвящает Ницше последнюю часть *Заратустры*. Самое главное, будет *обозначен* и описан — повсеместно встречающийся, но ещё никем не изученный, именно потому что *не названный* вид человекоподобного. Я назову его, — отталкиваясь от ницшевского текста и развивая его — «чандаловека», или «осколок человека».

В этом заключается мой «сверхницшевский демарш» — осмелиться окрестить и изучить то, что ещё никем не было названо, показано, означено. А посему поэма моя превратится и в оружие, и в *Kriegsspiele* лучших представителей «человечества» ближайших тысячелетий — станет Доброй Вестью для них. Полем же битвы станет сам «человек».

Как я поступаю конкретно? Десницей беру я моё отнюдь *невечное* перо, ошуйцей — «Путеводитель по телу с душой», составленный Фри-

¹⁸ «... горе мне! я есть nuance...»: Фридрих Ницше, *Ecce Homo*, *op.cit.*, т. 2, с. 761. „...— wehe mir! Ich bin eine nuance ...“: Friedrich Nietzsche, *Ecce Homo*, Berlin — New York, Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter, 1988, Band 6, S. 362.

¹⁹ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 8. Курсив Фридриха Ницше.

²⁰ *Ibid.*, с. 8. Курсив Фридриха Ницше.

дрихом Ницше *за сорок пять лет жизни* и принимаюсь зондировать рваные раны человекообразного, исследовать причины полученных травм, возможности выздоровления организма — склеивания разъятых частей. Таким образом, я опробую самую священную лекарственную вытяжку созиданий Фукидида и Пиндара, Феогнида и Гераклита Эфесского, некогда заинтересовавшегося не только пропорциональным соотношением сухости телец психей со здоровьем их мясистых оболочек, но и подглядевшего, ненароком, из-под портика храма и с согласия Артемиды, наличие предводителя менадовых шествий, — незримого глазу профана, — и подведшего итог своим ночным видениям дивно «тёмными» скрижалями. Взор провидца должен быть приручен ко мраку, пророк обязан отказывать в поблажках близоруким душам.

Подчас мне придётся откладывать и поэмы Ницше, и перо, запускать, по самые локти, обе руки в иную рану, чтобы затем описать её *историю* — в буквальном смысле этого слова, — а после вынести приговор больному: неизлечим и заразен.

Для того чтобы воспринять то, что я попытаюсь *означить*, а не *доказать*, — надо обладать напряжённостью физиологических процессов сродни созидателям плацдарма, с которого я отправляюсь в поход. Хрупкий, нестигаемый, обладающий мощным, жарким, благовонным *дыханием*, одним словом — брахманский (наращённое мышление во плоти), — и одновременно молниеносно ощущающий, как умолкают кволые, когда его тело приближается к ним, *взламывая* установленный их душами железный занавес *ауры нечистоплотности*, такой сверх-чувственный созидатель суть — преступник, ибо своё исконное брахманское насилие носит он в себе и вокруг себя. А потому великому множеству книга моя не скажет ничего, — они воспримут её точно также, как «разумеют» они и Пушкина, и Гомера, да и Ницше: *обезницшевленный, очандаленный* набор слов, рваные фразы, сварганенные ими по своему образу и подобию. Ибо они нетерпимы к сверх-отзывчивости души, сверх-скоростному многотраекторному полёту *душеумия* тех, кого они едино-душно отправят в дом для *душевно-больных и ума-лишённых*. Уже одно только существование моего Ницше, этого усовершенствованного философа с отточенным клинком за поясом, этого сгустка жестокой изящности и здоровья, — Ницше, отстраняющегося от «чандаловека» в неодолимом порыве отвращения к нему — будет восприниматься «чандаловеком» словно звук скольжения железа по стеклу.

Итак, почему обращаюсь я к человекообразным? Или, быть может, стоит сформулировать этот вопрос по-другому: где именно запрятан основной запас динамита ницшевской мысли?

А вот где: то что называется «человеком», по мнению онемеченного перса — несовершенно:

«Поистине, друзья мои, я хожу среди людей, как среди обломков и отдельных частей человека!»

Самое ужасное для взора моего — это видеть человека раскромсанным и разбросанным, как будто на поле кровопролитного боя и бойни.

И если переносится мой взор от настоящему к прошлому, всюду находит он то же самое: обломки, отдельные части человека и ужасные случайности — и ни одного человека.»²¹

Уж не в платоновской ли лаборатории берёт ницшевская мысль свой изначальный разгон? Под академической «лабораторией» подразумеваю я те злачные закоулки Афин и городских застав, где *оплебейный* Сократом плечистый борец-Аристокл²² фабриковал свои непоэтичские мифы. Один из них, миф о дерзком андрогине — самом совершенном представителе «людского» рода, некогда возжелавшим равенства с богами и покаранным за это Зевсом, исходившим из принципа *divide et impera*. И не случайно миф о целостности человекообразных поведал свету именно вдоволь нащекотавшийся в носу и начихавшийся Аристофан (не хватало ему диканьковской тавлинки!) — недруг и насмешник Сократа:

«Прежде всего, люди были трёх полов, а не двух, как ныне, — мужского и женского, ибо существовал ещё третий пол, который соединял в себе признаки обоих; сам он исчез, и от него сохранилось только имя. Андрогин сочетал в себе вид обоих полов: мужчины и женщины.»²³

²¹ Ibid., с. 100.

²² «В морали Платона есть нечто, собственно Платону не принадлежащее, а только находящееся в его философии, можно бы сказать, вопреки Платону: сократизм, для которого он был собственно слишком аристократичен»: Фридрих Ницше, *По ту сторону добра и зла*, *op. cit.*, т. 2, с. 310.

²³ Platon, *Συμπόσιον*, 189 d, e, Paris, Editions des Belles Lettres, 1976, Перевод С. К. Анта, т. 4, р. 29-30.

С тех пор, согласно Аристофану, стремление к воссоединению двух разрезанных перуном частей и выражает желание того, кто называет себя сейчас «человеком», — а точнее, размножившихся на протяжении веков, и ещё более расчленившихся в процессе этого размножения частей человекообразных — к воссоединению в исконное высшее существо:

«Мужчины, представляющие собой одну из частей того двуполого прежде существа, которое называлось андрогином, охочи до женщин, и блудодее в большинстве своём принадлежат именно к этой породе, а женщины такого происхождения падки до мужчин и распутны»²⁴.

Плох тот ученик, который никогда не превзойдёт своего учителя (или «воспитателя», как писал Ницше о Шопенгауэре²⁵), а потому Ницше совершенствует и углубляет мысль Академии. Он устанавливает определённую иерархию того, что обыкновенно принято называть «людским родом» ибо, как утверждает ницшевский персидский пророк:

«Я не хочу, чтобы меня смешивали и ставили наравне с этими проповедниками равенства. Ибо как говорит ко мне справедливость: „люди не равны“.

И они не должны быть равны! Чем была бы моя любовь к сверхчеловеку, если бы я говорил иначе?»²⁶.

На вершине ницшевской пирамиды находится «Сверх-человек». Ниже располагаются те, кому предназначено готовить царство «Сверх-человека» — «Высшие люди», а они, в свою очередь, являются труднодостижимым идеалом для великого множества стоящих ещё ниже «людей». Написанное следует понимать следующим образом: среди нас находятся бывшие «осколки» андрогина. Если им необычайно

²⁴ Ibid., 191 d, e, р. 33-34. Перевод С. К. Анта.

²⁵ Friedrich Nietzsche, *Unzeitgemäße Betrachtungen III, Schopenhauer als Erzieher 2*, *op. cit.*, Band. 1, S. 346. «Я принадлежу к тем читателям Шопенгауэра, которые, прочитав первую его страницу, вполне уверены, что они прочитают все страницы и вслушаются в каждое сказанное им слово... Я понял его, как если бы он писал для меня»: К. А. Свасьян, *Фридрих Ницше: мученик познания* в Фридрих Ницше, *Сочинения в двух томах*, Москва, 1990, т. 1, с. 8.

²⁶ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 72. Курсив Фридриха Ницше.

посчастливилось, и их предки смешались исключительно с себе подобными, то они могут, при определённой форме очистительного насилия над метаморфозированной божественной волей, – провидением, утравившим своё хтоническое начало (*обрахманенным* провидением!), – снова воссоединиться в андрогина.

Но острожно! Существуют ещё потомки «мужчин с женщинами» – современников андрогинов! Но в нашей «полой эре», шаром прокатившейся от молниевых разрядов, глаз профана (такого же осколочного существа) не способен отличить их от искусно залатанного Аполлоном-<Митрой> «осколком» андрогина. В этой после-молниевой эре воцарилось равенство: неискоренимая воля к скрытию с лица планеты нюансов, тирания блико-руких, в упоении предающихся деятельному самозабвению, и, – дабы продолжить наркотический эффект собственных телодвижений, – молниеносно обязующих каждого носителя *многоуслового* взора к испитию чаши с цикутой. Наложено запрещение сверх-чувствительным существам на право *обоняния* истоков происхождения особи, вдруг пересекающей его судьбу, например, ощутить пальмовое благоухание и твёрдость всякого, кто подобен ему. Невозможность развития тонкости обоняния и запрет на выражение учуянного выработали у «осколков» андрогина вместе с потомками двух обыкновенных полов (не представлявших ранее опасности Олимпийцам) смертельный для них рефлекс – *низведение к равенству человекообразных особей между собой*. По сей причине, в течении столетий происходило преступное, перед единственной целью существования человекообразного, спаривание потомков «людей» с «осколками» андрогинов: появление в венах «осколков андрогинов» несовершенной крови уменьшает количество особей, некогда сызнова способных *усложниться* в оболочке андрогина. Такой итог можно подвести последствиям описанной Платоном первой катастрофы, коей подвергнулось «человечество».

Ницше совершил нововведение – он нюансировал разряды «людей» сообразно с их сложностью, установив строгую иерархию человекообразных. Так, ницшевская предтеча «Сверх-человека» – «Высший человек» – существо гораздо более сложное, чем андрогин Аристофана. Для появления на свет «Высшего человека» необходимо единение не двух частей, как у Платона, но соитие в одном теле множества «осколков человека».

И даже говоря о самом себе (а надо признать, что философ ни в коей мере не почитал себя одним из великого множества «лишних», «разорванных людей», причислявши себя к натурам избранным), в автобиографическом *Ессе homo*, Ницше заявляет о собственной сложности, давая таким образом возможность предположить, что и он являлся (на определённом этапе прежнего своего существования) таким «Высшим человеком» – устройте царства «Сверх-человека»: *«Этот двойной ряд опытов, эта доступность в мнимо разъединённые миры повторяется в моей натуре во всех отношениях – я двойник, у меня есть и „второе“ лицо кроме первого. И, должно быть, ещё и третье...»*²⁷. Это мистическое «Und vielleicht auch noch das dritte...»²⁸ нашло своих читателей: расчленённый мир, созданный по образу и подобию своему потомками «осколков третьего пола» не по нутру Фридриху Ницше, ибо у него-то, как некогда у ещё *нерасперуненного* андрогина, оказывается имеется «и „второе“ лицо». А потому, продолжает он, быть может, я, Ницше, окажусь и посложнее тех, кого, вовсе небеспричинно, побаивался Зевс? – поставим же здесь покамест, положившись на вкус Ницше, многоочие...

И если для создания «Высшего человека» Фридриха Ницше многочисленные, некогда разлучённые части должны найти друг друга, то, следовательно, и вероятность появления на свет ницшевского «Высшего человека» куда меньше, чем возможность воссоединения всего лишь двух частей платоновского андрогина: более «случайный», «Высший человек» Ницше является существом куда более избранным, чем андрогин, – куда более аристократичным, ибо, согласно персу именно «„Случай“ – это самая древняя аристократия мира ...»²⁹.

Ницше представляет внимательному читателю такого наиблагороднейшего «Высшего человека»; его появление на страницах *Заратустры* чрезвычайно важно для философа, ибо «Высший человек» – единственный образ, благодаря коему, художники доверившись силе контраста, Ницше может *означить* что такое «Сверх-человек»:

²⁷ Фридрих Ницше, *Ессе Homo*, *op. cit.*, т. 2, с. 700. Курсив Фридриха Ницше.

²⁸ Friedrich Nietzsche, *Kommentar zu Band 6* in Friedrich Nietzsche, *op. cit.*, Band 14, S. 472.

²⁹ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 1, с. 118.

«смотрите, самые чуткие! — к вам, не к толпе, обращаюсь я, умудрённый опытом десятилетий перманентного ребячества, — смотрите внимательнее, вы, «осколки человека»! и если мои слова выжимают из ваших тел стихотворный озноб да заворачивают душу жарким валом, вы сами есть части «Высшего человека». Я указую вам на ваше собственное «осколочное» существование: я делаю для вас то, что некогда попытался свершить на стогне перс, ораторствуя под канатом, провиснувшим под тяжестью «человека». Представляю я вам и того, кем вы однажды сможете стать. Но самое главное, если взор ваш *линкеовидный*, если он способен проникнуть сквозь «человека» столь же просто, как око аргонавта пронзало туман, то вы будете способны разглядеть и образ того, о ком я *учу вас*».

Презентация «Высшего человека» состоялась в четвёртой части *Заратустры*: перс слышит крик, тотчас отзывающийся в нём и распознаваемый, как зов о помощи «Высшего человека», ещё никогда не встречаемого пророком (сверх-врач, сам однажды прошедший чрез муки и самоизлечение, чувствует *выздоровливающего!*), бежит к «Высшему человеку», дабы оказать ему помощь, полагая его — и не без оснований, — в опасности. На горной тропе Заратустре встречается немало созданий, и всех их, не исключая небезызвестного громкогласого четвероногого, изысканно вежливый перс приглашает к себе: «*Там вверху идёт дорога к пещере моей — сегодня ночью будешь ты там желанным гостем моим!*»

Мне хотелось бы также полечить тело твоё, на которое наступил ногой Заратустра, — об этом я ещё подумую. А теперь мне пора, меня зовёт крик о помощи.»³⁰

Так говорит, прощаясь, улучшатель тел тому, кто на поверку окажется одним из осколков «Высшего человека», но сомневаясь в способности того *доброкачественно* отреагировать на лечение; да и зачем ему выздоравливать, ведь цель существования всякой грозди — быть раздавленной ступнёй танцующего пророка, бляющего свою осеннюю песнь! К чему возвращать ей прежнюю форму тех времён, когда она вызревала, качаясь на лозе, будучи частью её!?

В конце концов в пещере перса собирается одиннадцать человек, и троица животных: спутник королей — осёл, а также наделённые λόγος'ом животные перса: орёл и змея, — из её кольца соорудил некогда Зевс ве-

нец, возведя Диониса в монархическое достоинство³¹, именно так впоследствии случайно произошло и с «гордостью» Заратустры³². Что же касается самого Заратустры, то он, тщетно проискав своего «Высшего человека», возвращается к своему жилищу после заката солнца, и тут снова слышит вопль, который на этот раз доносится из его собственной пещеры — крик одиннадцати «человек» и трёх зверей. Именно в этом крике пророк распознаёт голос «Высшего человека», которого он чаял повстречать в горах. Так провозвестник «Сверх-человека» Заратустра сумел *случайно* создать «Высшего человека», а стены его пещеры так же *случайно* стали оболочкой внезапно появившегося на свет совершенного туловища:

*«Лишь поздно вечером, после долгих напрасных исканий и блужданий, Заратустра опять вернулся к пещере своей. Но когда он остановился перед нею не более как в двадцати шагах, случилось то, чего он теперь ожидал всего менее: снова услышал он великий крик о помощи. И поразительно! На этот раз крик исходил из его собственной пещеры. Но это был долгий, сложный, странный крик, и Заратустра ясно различил, что он состоит из многих голосов: только издали можно было принять его за крик из одних только уст»*³³.

Так Ницше, этот аполлонический художник и гравировальщик (как можно назвать одну из его частей), занимался перенесением на холст и медные доски своих догадок, — душеведческих, испытующих *тела* — в *Так говорил Заратустра*. До этой книги вакхическое творчество не особо удавалось Ницше: слишком долго оставался он «учёным», даже его «артистическое» *Рождение трагедии* было излишне, невыносимо академично для него; Ницше, воспитанник духа одновременно Пиндара и Рембрандта, ищет выхода: слишком долго сдерживал он своё созидательное дыхание.

³¹ «Затем в назначенное судьбою время

Он [Зевс <А. Л.>] разродился быкорогим богом

И короновал его змеей»: Еврипид, *Вакханки*, в. 95 — 97.

³² «И он [Заратустра <А. Л.>] увидел орла: описывая широкие круги, несся тот в воздух, а с ним — змея, но не в виде добычи, а как подруга: ибо она обвила своими кольцами шею его. „Это звери мои!“ — сказал Заратустра и возрадовался в сердце своём.»: Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 1, с. 16 — 17.

³³ *Ibid.*, с. 200 — 201. Курсив Фридриха Ницше.

³⁰ *Ibid.*, с. 180 — 181.

Наконец прожѣг его тело вымеренный танцем в Энгадине и окрестностях Ниццы Дифирамб – «сложный» глагол пророка.

Истинно гоголевские краски прыскают на белый лист.

Молот бьёт по зубилу, вонзающемуся в основную *хвою* меди.

INCIPIT ZARATHUSTRA и, конечно, Tragoedia.

Случившееся с Ницше относительно ясно. Но Набоков! Здесь надо отметить, что в истории мировой литературы и любомудрия произошло явление редкое и занятное. Писатель поверхностный, в прозе частенько неспособный сдержаться, даже поначалу борец против истой испу-плённости поэтического бугая Белого, – этот Набоков, в юности подго-товляя себя к нелёгкой, но чарующей судьбе изгнанника случайно *от-крывает* для себя труды апатрида Ницше оказавшись на берегах Понта Эсвксинского: «Он [Владимир Набоков <А.Л.>] нашёл себе в Ялте учителя латинского языка и составил список авторов для чтения в библиотеке: энтомология, дуэльная литература, исследования, на-туралисты, Ницше.»³⁴.

Ранее, в восьмилетнем возрасте, Набоков слышал от своего отца, – издевавшего принудительное благоденствие в четырёх стенах, – о суще-ствовании немецкого философа: «Он [В.Д. Набоков <А. Л.>] воспользо-вался своим тюремным заключением, чтобы заняться Достоев-ским, Ницше, Кнутом Гамсуном, Анатодем Франсом, Золя, Гюго, Уальдом и проч.»³⁵.

После чего, чтение Шестова, Иванова, Соловьёва, Белого, вкупе (не стоит забывать!) с прозведениями восточенного исследователя юных миров, певца «воли к власти» Джека Лондона³⁶, – знакомого русским мальчикам куда лучше, чем их американским сверстникам³⁷, – посте-

³⁴ Brian Boyd, *Vladimir Nabokov, The Russian years*, London, Chatto and Windus, 1990, p. 150, Перевод Анатолия Ливри.

³⁵ *Ibid.*, p. 76, Перевод Анатолия Ливри.

³⁶ О роли Джека Лондона в творчестве Набокова см. Anatoly Livry, «Nietzsche und Nabokov und ihre dionysischen Wurzeln», *Der Europäer*, Perseus Verlag, Basel, N 2-3, décembre 2008 – janvier 2009, p. 32 – 34.

³⁷ «– Иден-Иден-Иден, – потирая лоб, быстро повторила высокая смуглая жен-щина. – Постойте, – вы имеете в виду не книгу о британском государственном дея-теле? Или её?»

Я имею в виду, – ответил Пнин, – знаменитое произведение – роман знаменитого аме-риканского писателя Джека Лондона.

– Лондон-Лондон-Лондон, – сказала женщина, держась за виски. (...)

пенно подготавливает сына петербургского барина-демократа в полной силе испытать ялтинскую страсть к древней мудрости – этому любому-дрию будущего. Продолжая знакомство с Ницше, Набоков вычитывает у него сказание о другом боге-мученике, вечно-изгоняемом, но вечно-желанном, вечно-необходимом «человечеству», не способному к дли-тельному существованию вне контакта с этим богом – а потому, отныне, стану я писать его гималайское – и, одновременно галилейское – имя с заглавной буквы. Я буду делать это вовсе не из-за ужаса, окатывающего меня трепетом и льдом при появлении одного только его лидийского си-луэта, подчас запускающего свои клыки в мою утреннюю, творящую не-зависимо от разума длань – но из восхищения Дионисической истиной, бьющей из самой червонной аорты Земли. За неё некогда приняла свою неистовую кровотокающую славу другая лучезарная Яхкова ипостась, проколота, точно ночница и воткнутая в пробковую щель Верховными Божествами, – но по сути теми же потомками Загря³⁸ и Случаем, этим Духом Святым, – на противоположную, стонушую от тетивной натуги, окончность космического лука.

Итак, Великий Ловчий опутал Набокова своей сетью, и писатель стал жрецом Диониса в Крыму тотчас насквозь пропитавшимся Персией от контакта с Богом. Как же тут Набокову не упомянуть о вакхических соснах с дубняком да о скульптурах андрогина, изваянных горным по-током!:

«Крым показался мне совершенно чужой страной: всё было не русское, запахи, звуки, потёмкинская флора в парках побережья, сладковатый дымок, разлитый в воздухе татарских деревень, рёв осла, крик муэдзина, его бирюзовая башенка на фоне персикового неба; всё это решительно напоминало Багдад, – и я немедленно окунулся в пушкинские ориенталии. И вот, вижу себя стоящим на кремнистой тропинке над белым как мел руслом ручья, отдельные струйки которого прозрачными дрожащими полосками оплетали

³⁸ [Виктор <А.Л.>] намеревался её [книгу <А.Л.>] похвалить, во-первых, потому что это подарок и, во-вторых, он думал, что книга переведена с родного языка Пни-на. Он помнил, что в Психометрическом Институте работал Яков Лондон, уроже-нец России. На беду, Виктору подвернулся абзац о Зоринке, дочери вождя юконских индейцев, и он с лёгким сердцем принял её за русскую барышню»: Владимир Набоков, Пнин, СПб, Перевод Сергея Ильина, 1993, с. 230, 237.

³⁸ См. Плутарх, *Вопросы пира*, IV, 6, 1 – 2.

яйцеподобные камни, через которые они текли, — и держащим письмо от Тамары. Я смотрел на крутой обрыв Яйлы, по самые скалы венца обросший каракулем таврической сосны, на дубняк и магнолии между горой и морем; на вечернее перламутровое небо, где с персидской ясностью горел лунный серп, и рядом звезда, — и вдруг с неменьшей силой, чем в последующие годы, я ощутил горечь и вдохновение изгнания.»³⁹.

Сын фиванской царевны приоткрыл перед ошарашенным литератором Зевесову завесу, скрывающую часть мистерий, предназначенных лишь наипреданнейшим слугам Диониса, и в течении всей жизни Набоков по мере своих творческих сил и финансовых возможностей сопровождал cortege Бога, перемещаясь по планете, и славя редчайший дар, получаемый «человеком» от Диониса — усложнение тела! Это, кстати, делает именно из Вакха (а не из какого-нибудь мягкотелого Прометея) истинного *Зевсо-маха*, разрушающего издавна заведённый уклад, но тотчас создающего нового, сверх-мощного обитателя планеты, — а не отделяющегося, как иной титан, подачкой, вовсе ненужной расчленённому после удара Зевсовой молнии «осколку человека», которого уже не согреть никакому — ни бледному, ни белому — пламени. У Диониса добрая наследственность: не его ли мать погибла, белой ручкой потянувшись за Зевесовым перуном⁴⁰?

Набоков оказался пронзён Вакхической истиной. Как? Зачем? Где? — не важно! Главное — он обращается к андрогину платоновского *Пира*, а через него — к наисложнейшему «Высшему человеку» Фридриха Ницше. Но и на этом не останавливается Набоков-ницшеанец, по-своему подготавливающий, — через идеальный *μῦθος* «Высшего человека», — царство ницшевского «Сверх-человека». Эти образы возводятся Набоковым чрезвычайно медленно: прекрасное — трудно и принадлежит немногим, ибо впитывает необходимые для повседневной жизни кровь, дух, мышечную гибкость вместе с дыханием созидателя. С трудом удаётся Набокову воспроизвести сложнейшую метаморфозу «Высшего человека» в «Сверх-человека», силится он и заглянуть за завесу того, что произойдёт после образования «Сверх-человека» — правда на этом таинственном этапе Набоков предпочитает особенно не задерживаться:

темна Марианская впадина духа, — но дело своё Набоков свершил — передал последующим поколениям вакхантов и менад описание причин и самого процесса Дионисической метаморфозы; а уж я подробно разберу всю гамму физиологических процессов, от архитектурного кровоизлияния до динамитной самореализации избранника, сопутствующей эпифании.

Начнём же с истоков, рассмотрим как Набоков подходит к *μῦθος* первого, простенького «человеческого» «усложнения», сколько почтения проявляет он, то останавливаясь, то снимая сандалии, то совершая *омовение* (не доводя, впрочем, ни себя, ни своих пророков-долгожителей до ослепления).

* * * * *

Именно Платон, этот «типичный социалист»⁴¹, этот воспитатель тиранов, этот «божественный» лакедемонифил, предавший однажды, как ницшевский «Кармазинов»⁴², своего, нашего Бога, выручит любого многознающего библиотекаря, торговца мудростью или же жреца-неофита оказавшегося в неприятном положении. Так почему бы и молодому Набокову на первых порах не обратиться к *Пир*у известному даже тенишевцу Мандельштаму, несмотря на анти-античные задумки основателя училища, Диониса вовсе не интересующие.

Итак, Зевс расчленяет андрогина. Надвое. И писатель Набоков проявляет всю свою склеивающую богоборческо-демиургическую способность тем, что силится вернуть третьему полу Платона его исконное состояние. Первая асклеиадова попытка делается Набоковым в *Соглядатае*. Вот как писатель подходит к воссоединению двух частей:

Самоубийство Смурова — его переход в новое состояние, вслед за которым протагонисту открывается новая жизнь, — является лишь

⁴¹ Фридрих Ницше, *Человеческое, слишком человеческое*, *op. cit.*, т. 1, с. 446.

⁴² Ср. перевод *Бесов* в неизданных работах Ницше: «*Wissen Sie, dass der Leibeigene sich mehr respektierte als sich Turgenjef respektirt?... Man schlug <ihn>, aber er blieb seinen Göttern treu — und T<urgenjef> hat die seinen verlassen...*»: Friedrich Nietzsche, *Nachgelassene Fragmente* in Friedrich Nietzsche, *op. cit.*, Band 13, S. 150.

Ср. в *Бесах*: «Знаете ли, что этот раб крепостной больше себя уважал, чем Кармазинов себя? Его драли, а он своих богов отстоял, а Кармазинов не отстоял.»: Фёдор Михайлович Достоевский, *Бесы*, Париж, YMCA-PRESS, 1984, с. 447.

³⁹ Владимир Набоков, *Другие берега*, *op. cit.*, т. 4, с. 268.

⁴⁰ Нонн, VIII, v. 380 — 392.

сценической суетой, цель которой скрыть от взора профана истинную мистерию – нарциссово слияние героя со своим отражением. Нарцисс *Соглядатай*, надо отметить, не какой-нибудь юнец набоковских сновидений, но – *Нарцисс* Караваджо 1609 года целиком взятый Набоковым из римской картины. Там Нарцисс изображён на чёрном фоне – чёрное небо сверху, чёрный поток снизу, – в профиль, и стоящим на коленях. Затемнённый профиль Нарцисса видится в ручье. Кисть левой руки Нарцисса погружена в воду: «Затем я напрягся и выстрелил. Был сильный толчок, и что-то позади меня дивно зазвенело, – никогда не забуду я этого звона. Он сразу перешёл в журчание воды, в гортанный водяной шум; я вздохнул, захлебнулся, все было во мне и вокруг меня текуче, бурливо. Я стоял почему-то на коленях, хотел упереться рукой в пол, но рука погрузилась в пол, как в бездонную воду»⁴³, – «всё течёт» не только вне Смурова, но, самое главное – в нём самом. Тело его сливается с пришедшей извне частью, древняя нанесённая перуном рана, наконец, заживает.

Бой Смурова с Кашмариным, от которого Смуров будто бы получает удар в бедро, конечно, не ветхозаветен. Противник Иакова не пользуется посохом, – да и не нужен он ему: уверен, в небесном «дождю» обучают неплохому «лоу-кику», – и Смуров сохраняет имя, *возвращённое* ему тем же Кашмариным в конце романа. К тому же тот, кто нанёс «гедан-гери», проиграл ветхозаветную битву, а Кашмарин Смурова побил, и профессионально. Образ Иакова, вместе с его лестницей (этой наскоро сколоченной *machin'*ой, благодаря которой *Deus* подчас предстаёт перед избранными представителями «человечества») ближе автору *Майской ночи*, или *Утопленницы*, подготавливающему читателя к сцене «феофании» Левке, который беспрестанно ускользает от *рук головы*, властвующего в селе, уже расчленяемым вакхическим вихрем. Смурову же куда более подходит судьба Энея: удар в бедро полученный камнем от кашмарного богоборца Диомеда⁴⁴, ранящего впоследствии и мать варвара, является местью ахейнина (коему по рождению доступно ἡ σφροσύνη) *ибрисовой* форме воздействия Эроса на человекообразного (уж не из-за своей ли мужественной, *à la* Ипполит, ненависти к Афродите разит Гомер варваров в пах, на протяжении всей пятой песни?); сам же теомах Диомед (знакомый Набокову, а потому

не пощаждённый литературской иронией) избегнет раны в пах, тотчас пронзив, по наущению девы-мудрости, пах хтонической формы битвы столь *ненавистно-любимой* Зевесом⁴⁵.

После произошедшего Эней-Смуров покидает варварские земли для карьеры, настойчиво предлагаемой ему тем же Кашмариным, и карьера эта должна привести Смурова на Аппенинский полуостров, к самому Тирренскому, полному дельфинов морю:

«„Вот видите, – сказал Кашмарин. – Я вам устрою службу, на которой будете получать втрое больше. Заходите ко мне завтра утром в отель Монополь. Я вас кое с кем познакомлю. Служба вольготная, не исключены поездки на Ривьеру, в Италию. Автомобильное дело. Зайдёте?“»⁴⁶.

Прощай же и ты, другой спутник Диониса, с твоим арсеналом древней, первоначально необходимой всякому вакханту мудрости, службу ты свою сослужил, Вайншток – *der Weinstock*, по немецки – «виновая лоза»! К чёрту твою книжное, самого низшего пошиба, вакхическое знание. Спаси тебя Бог – наш Бог – за мудрость, коей напитал ты меня. Теперь же я отправляюсь к единовластному Богу, в *Монополь*. Он посвятит меня в таинства своего *machin'*ного дела. А потому – *adieu*. Пора. Мне пора. Давно пора!: «Он [Кашмарин <А. Л.>], как говорится, попал в точку. Вайншток и его книги давно мне приелись. Я опять стал нюхать цветы, скрывая в них своё удовольствие и благодарность.

„Ещё подумая“, – сказал я и чихнул. „На здоровье“, – воскликнул Кашмарин.»⁴⁷ – на здоровье! Чуешь ли здоровье в этом запахе, ты, возможно-выздравливающий-человекообразный, наше великое, слёзно-дрожащее здоровье!? В весеннем запахе! Но как далеко ещё нам с тобой до осени! До Болдина! А после, до истинного вестника счастья – до ножа виноградаря! Скорее всего Смуров действительно *выздравливает* перед встречей со своим «даймоном». Ведь в конце-то концов его слияние всё-таки происходит:

⁴⁵ *Ibid.*, v. 335 – 339, 855 – 999, с. 67, 79 – 80.

⁴⁶ Владимир Набоков, *Соглядатай*, *op. cit.*, т. 2, с. 344.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴³ Владимир Набоков, *Соглядатай*, *op. cit.*, 2, с. 218.

⁴⁴ Гомер, *Илиада*, V, v. 302 – 310, Москва, 1986, с. 67.

«Взявшись за дверную скобку, я увидел, как сбоку в зеркале поспешило ко мне моё отражение, молодой человек в котелке, с букетом. Отражение со мною слилось, я вышел на улицу»⁴⁸.

И звук этого слияния — словно гром после молнии, — лишь через некоторое время нагнал Смурова:

«Влажная свежесть цветов была мне приятна, тонкая бумага местами разошлась, и, сжимая пальцами холодное тело стеблей, я вспоминал журчание, сопроводившее меня в небытие.»⁴⁹.

Стоит задуматься над тем сколько Смурову пришлось прежде испытать разочарований, сколько совершил он отчаянных попыток к единению с «осколками», одного, правда, типа; но каждая из этих попыток обозначала Смурову тень надежды, неотделимой от тени надежды Дионисической победы над расчленяющей молнией:

Ср. Перед первой ночью с Матильдой:

«Муж, спустя месяц, отбыл, и в первую же ночь, что я снова провожал Матильду, она предложила мне подняться к ней наверх, чтобы взять книжку, которую давно увещевала меня прочесть, — что-то по-французски о какой-то русской девице Ариадне. Шёл, как обычно, дождь, вокруг фонарей дрожали ореолы, правая рука утопала в жарком кротовом меху, левая держала раскрытый зонтик, в который ночь была, как в барабан. Этот зонтик, — потом, в квартире у Матильды, — распятый вблизи парового отопления капал, капал, ронял слезу каждые полминуты и так и наплакал большую лужу. А книжку взять я забыл»⁵⁰.

Ср. с тенью критской царевны, — точной копией предыдущей, — перед попаданием Смурова в спальню Вани. Супруга Диониса мелькает перед Смуровым, уводит его вдаль, от «человека» — которому, действительно, возможно суждено стать если не лучше, то злее?:

«Я перепорхнул в столовую. Изюм и орехи в вазе [иссушенный Дионис с которым мы встретимся ещё не раз у Набокова вперемешку с

«наукой» <А. Л.>], и рядом, на буфете же, распластанная, ничком лежащая книга, — приключения какой-то русской девицы Ариадны. Дальше в ваниной спальне было холодно ...»⁵¹.

Ни одна из предыдущих попыток слияния не увенчалась успехом. Смурову даже простительно нескрываемое отчаяние: стоит ли охотиться за недостающей ему частью, следопытствовать в «человеческом», слишком «человеческом» лабиринте? — обращается Смуров к самому себе, вдруг, по слабости характера, вставши на путь диалектики: «И вообще — не пора ли бросить эту затею, не пора ли прервать охоту, соглядатайство, безумную попытку изловить Смурова?»⁵².

Да! Стоило. К чёрту сомнения! Правда на этот раз ловчий попался Набокову уж какой-то вялый, трусоватый, боящийся мрака.

Что же до версии о «сексуальной левизне» героя *Соглядатая*, то она вовсе не обязательна: например автор «Путеводителя по Элладу» повествует, что Нарцисс вовсе не потерял голову от собственного отражения, он просто был влюблён в свою сестру-двойняшку: ахейская душа не примет тотального $\square\beta\rho\iota\varsigma$ 'а, перманентного состояния неистовства — артист, однажды отрешившийся в приступе безумия, должен затем упорядочить душу или на палестре упражнением в искусстве ловкости, или у царя, помогая тому в занятиях обыденным народоправлением. Павсанию инцест куда предпочтительнее $\square\beta\rho\iota\varsigma$ 'а с мужеложской атрибутикой⁵³. Ведь как бы ни восхищался Сократ гермесеобразным Алкивиадом, что бы там ни рассказывал архиплут Плутарх, однополая любовь вовсе не приветствовалась в Элладу и её окрестностях⁵⁴. Что же до Набокова, то отчего бы ему не предпочесть Павсания: эллинствующему литератору и ницшеанцу куда достойнее заставить звучать лишь греческий язык. Версия Овидия — *quasi*-энциклопедическое подспорье в руках ценителя античной литературы, да и любители *Анны Карениной* не могут не возблагодарить молдаванина Назона за вульгаризацию оленьего «внутреннего монолога», перед тем, как поэт описал оба появления Диониса на свет⁵⁵.

⁵¹ *Ibid.*, с. 324.

⁵² *Ibid.*, с. 336.

⁵³ Павсаний, *Описание Эллады*, IX, 31, 8.

⁵⁴ См. например Плутарх, *Сравнительные жизнеописания, Александр и Цезарь*, XXII, Москва, 1990, с. 382 — 383.

⁵⁵ Овидий, *Метаморфозы*, III, v. 200 — 241.

⁴⁸ *Ibid.*, с. 342.

⁴⁹ *Ibid.*, с. 343.

⁵⁰ *Ibid.*, с. 300.

Итак, страсть Кефиссого сына воссоздаёт андрогина *Соглядатая* – андрогина, скорее всего, двуполого. А образовавшиеся на вновь обретенном теле четыре положенные андрогину глаза, хоть и не превращают Смурова в Аргуса, но всё-таки послужат ему для будущих *очеловечивающих* занятий, коим тот собирается посвятить жизнь:

«Я понял, что единственное счастье в этом мире это наблюдать, соглядатайствовать, во все глаза смотреть на себя, на других, – не делать никаких выводов, – просто глазеть. Клянусь, что это счастье.»⁵⁶.

Но этот набоковский «андрогин» – недолговечен, несовершенно, незрел. Не стоит, однако, терять надежды: автору ещё только тридцать, и он не пустодум. Да и *Соглядатая* – скорее повесть, а не роман, в русском понимании. Набоков же горит желанием усложнить своё, вобщем-то, германизированное произведение, отмеченное то жёлтыми цветами, которые снова, и по-иному, окажутся у позднего и англоязычного Набокова, то Берлином, который по духу, отсветам и запахам куда более напоминает бугаевский Петербург.

И вот, наступает период – приблизительно – сорокалетней мудрости Набокова. Приходят Чердынцевы, отец и сын. Первый пережил свою «героическую стадию», насытился мудростью простанства и оплодотворил его собою в благодарность Богу за то что было. Фёдор–Неоптолем только начинает втягивать в себя дух своего родителя, собираясь «словом» продолжать его во времени.

Этого «Неоптолема» самого пушкинского романа Набокова можно, пожалуй, назвать наисовершеннейшей половинкой андрогина платоновского *Пира*, когда-либо изображённой Набоковым: Фёдор принимается за поиски утраченной части полностью вверившись случаю, веря в своё *высшечеловеческое* предназначение, и, возможно, в нечто высшее. Он – ловчий вовсе не смуровской закалки. Отправляясь на охоту («*Рифмы по мере моей охоты за ними сложились у меня в практическую систему несколько картотечного порядка.*»⁵⁷), Фёдор не видит ещё добычи, да и не прислушивается к рассказам простонародья и их «учёных» (не путать их с УЧЁНЫМ вакхического, эйнштейнового типа!) об отсутствии зверя, например, в той червоннолиственной роще, манящей его своей

трясущейся сбруей в припадке хохота над «осколочно-человечьим» неверием. Абсолютно не учитываются Фёдором и лишения, предстоящие ему в пути. Не важно также и как долго продлится преследование зверя, которому охотник не *был ещё и представлен*. Он существует, этот зверь – верится Фёдору-охотнику. И это главное. Более того, зверь этот жаждет встречи с ловчим. Надо лишь уберечь от смрада университетских пивоварен остроту чутья да не утратить лёгкости поступи необходимой для подъёма к пещере, – залога танцевального стиля и меткого выстрела на бегу: «*За последние десять лет одинокой и сдержанной молодости, [Фёдор Константинович <А.Л.> жи/л/ на скале, где всегда было немножко снега, и откуда было далеко спускаться в пивоваренный городок под горой...*»⁵⁸.

В конце концов долголетний зачин Фёдора оправдывает себя, – «*Он говорит, что я настоящий поэт, – значит стоило выходить на охоту.*»⁵⁹ – Когда Фёдор встречает Зину, он безошибочно *чувствует*: это она, его добыча, та самая недостающая ему до совершенства *половина*, которую воспекает он в стихах, отдавая одновременно должное сумеречной столице Плоскомании (Европы): «*Как звать тебя? Ты полу-Мнемозина, полу-мерцанье в имени твоём, – и странно мне по сумраку Берлина с полувиденьем странствовать вдвоём.*»⁶⁰.

Не потому ли позднее Фёдору становится ясно, что Зина – и есть половинка предназначенная для единения с ним, при котором оба они образуют одно редчайшее одно-теневоое целое, их изначально замысленное димиургом андрогиновое тело, вовсе не доступное «человеческому» понятию: «*И не только Зина была остроумно создана ему по мерке очень постаравшейся судьбой, но оба они, образуя одну тень, были созданы по мерке чего-то не совсем понятного, но дивного и благожелательного, бессменно окружавшего их.*»⁶¹, «судьба» – или русский «авось» – создаёт внезапно, в берлинском изгнании почти идеального «скифофиникийского» андрогина. А чтобы было действительно ясно, что именно платоновского андрогина он имеет в виду, Набоков подчёркивает, что

⁵⁸ *Ibid.*, с. 148.

⁵⁹ *Ibid.*, с. 18.

⁶⁰ *Ibid.*, с. 140.

⁶¹ *Ibid.*, с. 159.

⁵⁶ Владимир Набоков, *Соглядатая*, *op. cit.*, т. 2, с. 345.

⁵⁷ Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 136.

только Зина, а не какой-нибудь другой «осколок человека» может подойти Фёдору. О слиянии с другими не может быть и речи: германские, не освобождённые от мужественности женщины, сиречь обкарнанные молнией грубо, топорно — не более чем вечные фрау Стобой, «одинокие спутницы» подобных им женственных «осколков» мужчин, также к слиянию не способных: «Он [Фёдор <А.Л.>] вынес вещи, пошёл проститься с хозяйкой [фрау Стобой <А.Л.>], в первый и последний раз пожал её руку, оказавшуюся сухой, сильной, холодной, отдал ей ключи и вышел.»⁶²

Таинственный случай — один из плодов Дионисического таинства — вручил Фёдору *Божий Дар*, подготовил к слиянию с ним предназначенный ему «осколок человечины», развил в поэте на этот «осколок» охотничий нюх, неразрывно связанный с другим первичным симптомом созидания — мощнейшим утренним рвотным рефлексом. И как только «дьявол» (гордыня с глупостью и их симбиоз — пошлость), пытается подсунуть Фёдору подделку родственного ему куска, то реакцией Фёдора становится — «болезненное (sic.) отвращение», иными словами — ностальгия (*die Sehnsucht*) по блаженному состоянию *выздоравливающего*, нестерпимая жажда восстановления исконного единства, знакомого немногим, избранным «людям»:

«Навстречу Фёдору Константиновичу прошла молоденькая с бутылкой молока, девица, похожая чем-то на Зину — или, вернее, содержавшая частицу того очарования — и определённого и вместе безотчётного, — которое он находил во многих, но с особенной полнотой в Зине, так что все они были с Зиной в какой-то таинственной родственной связи, о которой он знал один, хотя совершенно не мог выразить признаки этого родства (вне которого находившиеся женщины вызвали в нём болезненное отвращение)...»⁶³.

Однако, две половины — недостаточны для истинного творца. Более сложная, и, потому совершенная структура «Высшего человека» Фридриха Ницше привлекает ницшеанца Набокова: андрогин *Пира*, ставши целью, лишь отдалит созидателя от «Сверх-человеческого» идеала, которого не может не возжаждать истинный творец. И Фёдор признаётся — воображаемому Кончееву, сверх-поэту *à la* Мандельштам, — в своей, вобщем-то, ненависти к «парности» окружающей его природы (мира,

измышленного «осколком человека» по образу и подобию своему), к рабской тяги естества человекообразного к андрогину, как к наивысшей по сложности форме человекообразного, некогда, по оплошности, дозволенной Зевсом. Ну а что будет, ежели пойти далее олимпийского позволения? Наложить на мир когтистую лапу своей воли к сотворению своего, многотуловищного, несимметричного, звероликого, насквозь пропитанного танцующей, ужасающий, пьянящей мудростью? Так будь же ты проклят, андрогин, подачка Олимпа, закон кольца, который охота преступить!

«Если к этому прибавить, что у природы двоилось в глазах, когда она создала нас (о, эта проклятая парность, от которой некуда деваться: лошадь — корова, кошка — собака, крыса — мышь, блоха — клоп), что симметричность в строении живых тел есть следствие мирового вращения ...»⁶⁴.

Дар — предстаёт изложением генезиса андрогина, но андрогина метящего куда выше персонажа платоновских басен и верящего в своё предназначение. $\psi\rho\iota\varsigma$ ’ом становится добровольное принятие низшей позиции, чем та, которая была уготовлена Мойрами.

Оставим ненадолго Фёдора и обратимся к самому Набокову. Мечта о составлении из «осколков человека» ницшевского «Высшего человека» развилась одновременно с писательским даром Набокова. «Разорванный человек» появляется уже в первом романе писателя, *Машенька*; он представлен там живописным «брик-а-браком», а для его составления Набоков взывает, конечно же, к «Вечному Возвращению» Заратустры: «Где теперь это счастье и солнце, эти рюхи, которые так славно звякали и скакали, мой велосипед с низким рулём и большой передачей?.. По какому-то там закону ничто не теряется, материю истребить нельзя, значит, где-то существуют и по сей час щепки от моих рюх и спицы от велосипеда. Да вот беда в том, что не соберёшь их опять, — никогда. Я читал о „вечном возвращении“ ...»⁶⁵ — мука ницшеанца всё та же: андрогину, однажды разорванному Зевесовой завистью и страхом потери могущества, быть может никогда более и не вернуться в своё исконное состояние. Никогда не стать человекообразному — «Высшим человеком», и — никогда не приблизиться к «Сверх-человеческому» идеалу.

⁶² *Ibid.*, с. 131.

⁶³ *Ibid.*, с. 295.

⁶⁴ *Ibid.*, с. 308.

⁶⁵ Владимир Набоков, *Машенька*, *op. cit.*, т. 1, с. 59.

Это очень даже возможно, — мыслится Ганину, который, подчёркивает Набоков, уже посвящён в немало Дионисовых мистерий: известно ему, например, чувство расставания с собственной тенью; впрочем, может статься, просвечивает в душе Ганина и надежда на далёкую встречу с тенью да возвращение её собственному телу: *«Не брезговал он [Ганин <А.Л.>] ничем: не раз даже продавал свою тень подобно многим из нас. Иначе говоря, ездил в качестве статиста на съёмку, за город ...»*⁶⁶. Ганин у ницшеанца Набокова заприметил окраску всей истории «человечества» и тотчас выбалтывает её: *«...с мистическим писком закипали светом чудовищные фацеты фонарей, наведённых, как пушки, на мертвенно-яркую толпу статистов, палили в упор белым убийственным блеском, озаряя крашеный воск застывших лиц, щёлкнув, погасали, — но долго ещё в этих сложных стёклах дотлевали красноватые зори: наш человеческий стыд.»*⁶⁷, Ганин — ницшеанец молодой, а потому не научился ещё скрытничать:

«Но сам человек называется у познающего: зверь, имеющий красные щёки.

Откуда у него это имя? Не потому ли, что слишком часто должен был он стыдиться?

*О друзья мои! Так говорит познающий: стыд, стыд и стыд — вот история человека!»*⁶⁸.

Ганин собственными ступнями изведаль да измерил вдоль и поперёк злачное место, где впервые был представлен андрогин — Пир: *«... знал [Ганин <А.Л.>] тоже, как ноют ноги после того, как десять извилистых вёрст пробежишь с тарелкой в руке между столиков в ресторане „Pir Gogoi“ ...»*⁶⁹. А потому, ужас познавшего захлёстывает Ганина: *«А что если этот сложный пасьянс никогда не выйдет во второй раз? Вот ... чего-то никак не осмыслю... Да: неужели всё это умрёт со мной?»*⁷⁰.

Те же самые карты — подменяющие у Набокова кости, бросаемые божественным отроком на высушенный раскалёнными лучами эфесского солнца храмовый мрамор, — символизируют у Набокова возможность

воссоединения. Случай должен перелиться в идеальную схему карточных рисунков — «пасьянс», — говорит нехорошо, с полу-мюнхенской примесью (*«от коньяка и пива»*⁷¹), охмелевший Ганин. «Пасьянс», да ещё и *выходящий редко*, — добавляет шесть лет спустя, в *Подвиге*, мать другого ницшеанского героя. Софья пытается сложить пасьянс, а её несовершенный сын ожидает вердикта Мойр:

*«Дядя Генрих, отложив газету и подбоченясь, смотрел на карты, которые раскладывала на ломберном столе Софья Дмитриевна. В окна и в дверь напирала с террасы тёплая, чёрная ночь. Подняв голову, Мартын вдруг настораживался, словно был какой-то смутный призыв в этой гармонии ночи и свеч. „Последний раз он у меня вышел в России, — проговорила Софья Дмитриевна. — Он вообще выходит очень редко“. Расставя пальцы, она собрала рассыпанные карты и принялась их вновь тасовать. Дядя Генрих вздохнул.»*⁷².

Не удался! Пройдёт ещё немного времени, и Мартын направит свои стопы в Россию, страну, где некогда *пасьянс удался* и — сгинет там, несмотря на своё «горно-Ригведийское происхождение» — от Роберта Эдельвейса с Индрой (ох, уж эти арийские наклонности Набокова, *quasi*-равные пра-арийской восторженности Мандельштама!): *«Эдельвейс, дед Мартына, был, как это ни смешно, швейцарец с пушистыми усами, воспитывавший в шестидесятих годах детей петербургского помещика Индрикова и женившийся на младшей его дочери.»*⁷³. Не удался Мартын, несмотря на свою чреватость ницшеанско-великим, воспитанную той же верой в *«... какие-то далёкие круглые острова, на которые смотрит с берега девушка в развевающихся одеждах, держащая на кисти сокола в клубочке ...»*⁷⁴, — что является откликом громогласного утверждения перса, начитавшегося, видно, Лукиана, о существовании кольцеобразных островов Блаженства:

«Так вздыхал прорицатель; но при последнем вздохе его сделался Заратустра опять весел и уверен, как некто из глубокой пропасти выходящий на свет. „Нет! Нет! Трижды нет! — воскликнул он

⁶⁶ Ibid., с. 40.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 62.

⁶⁹ Владимир Набоков, *Машенька*, *op. cit.*, т. 1, с. 40.

⁷⁰ Ibid., с. 59.

⁷¹ Ibid.

⁷² Владимир Набоков, *Подвиг*, *op. cit.*, т. 2, с. 187.

⁷³ Ibid., с. 155.

⁷⁴ Ibid., с. 158.

твёрдым голосом и погладил себе бороду. — Это знаю я лучше! Существуют ещё блаженные острова! Не говори об этом, ты, вздыхающий мешок печали!»⁷⁵.

Да и если припомнить хорошенько: когда Ницше впервые приезжает в Сильс-Марию, то поселяется он в этом месте очной ставки с Заратустрой⁷⁶ в гостинице под названием *Edelweiss* — в те времена самом шикарном и самом старинном отеле села. Как же ницшеанцу горнолыжнику Набокову не знать этого!

Набоков принимает решение уничтожить, *срезать* Эдельвейса — несостоявшегося мага русского слова, которому не представилось случая раскрыть бутон своего гения. Но уже на месте Мартына, в Европе, появляется другой герой, предназначенный горному существованию, только более цельный, качественнее сложенный, азиатски, точнее сверх-азиатски воспитанный, следовательно, более приспособленный к созиданию, а потому — и только потому! — имеющий право на редчайшее долгожительство, об одном из коих речь пойдёт далее. И Кончеев, сидящий внутри Фёдора, отдаёт должное *анти-Ноеву* акту (акту анти-ковчегу, сиречь вызванному строением уха недостаточно чуткого к Слову Божьему) своего предшественника, славя отчаянную храбрость этого осколка андрогина не нашедшего не только своего обрубка, но даже Эротова клея, — а потому, Кончеев подменяет исконный пушкинский «Эрот» рамками существования Мартына — «подвигами»:

Ср. описание Пушкиным одного из мгновений осеннего «високосного дня», — как два года спустя Гуаф окрестил свой ночной монолог, навеянный чарами Диониса:

«Поговорим о бурных днях Кавказа,

⁷⁵ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 174. Курсив Фридриха Ницше.

⁷⁶ «Сильс-Мария

Здесь я засел и ждал, в беспроком сне,
По ту черту добра и зла, и мне
Сквозь свет и тень мерещились с утра
Слепящий полдень, море и игра.
И вдруг, подруга! Я двоиться стал —

И Заратустра мне на миг представал...»: Фридрих Ницше, Песни принца Фогельфрай, Человеческое, слишком человеческое, op. cit., т. 1, с. 718.

*О Шиллере, о славе, о любви.»*⁷⁷.

Ср. в *Даре*: «„Сойдёмся на плутнях звательного падежа, — и поговорим лучше „о Шиллере, о подвигах, о славе“, — если позволите маленькую амальгаму.»⁷⁸.

Перед тем же как созидатель Фёдор не появится на страницах романа, двойное кольцо «Вечного Возвращения» Заратустры прикоснётся к нему самым таинственным образом: «*Стрелки его [Фёдора <А.Л.>] часов с недавних пор почему-то пошаливали, вдруг принимаясь двигаться против времени, так что нельзя было положиться на них ...*»⁷⁹. Итак, вот он, смотрите: Годунов-Чердынцев-младший — Фёдор — Θεόδωρος — «Дар Бога», Θεοδώρητος романа *Дар*. Какого именно «Бога», спрашивается?..

* * * * *

В *Даре* не увидим мы ни «мае-гери» Фёдора в дверь щеголевской квартиры, ни полёта щепок, сопровождаемого треском вышибаемых досок. Не увидим мы и слияния Фёдора со своей частью — даже простенькое единение в андрогина невозможно без присутствия и волеизъявления Диониса. А Бог, изгнанный «разумной» диалектикой Сократа (диалектика есть дробление Λόγος□а) с трагической сцены Европы предпочёл возвращению азиатскую летаргию. И до тех пор, пока сам европеец блуждает по планете полу-бесплотной тенью, бесноватый буйвол-Якх останется запертым льдом азиатской реки, — путь в Европу ему заказан:

«Как-то зимой, переходя по льду через реку, я издали приметил расположенную поперёк неё шеренгу тёмных предметов, большие рога двадцати диких яков, застигнутых при переправе внезапно образовавшимся льдом; сквозь его толстый хрусталь было ясно видно оцепенение тел в плывущей позе; поднявшиеся надо льдом прекрасные головы казались бы живыми, если бы уже птицы не выклевали им глаз...»⁸⁰.

⁷⁷ Александр Сергеевич Пушкин, *19 октября в Собрании сочинений в трёх томах*, Москва, Издательство Художественная литература, 1986, т. 1, с. 356.

⁷⁸ Владимир Набоков, *Дар, op. cit.*, т. 3, с. 65.

⁷⁹ *Ibid.*, с. 27.

⁸⁰ *Ibid.*, с. 110.

Разлученные с вышеозначенным *Яком* склеивающим «человечьи осколки» другие «разорванные» персонажи *Дара*, все эти *Яковлевичи*, *Яковлевны*, пьяницы и буяны *Яковлевы*, или же *Яковы* — естественно Александровичи! — мечутся в бесплодных поисках оторванных от них кусков. Существование их абсурдно: всех этих *Яков* как бы запирает в кольцо единый, счастливый детской неразумностью *Як*, упоминаемый при обращении к Богу, но распадающийся на части при *понимании* молитвы; после чего необходим трудный трёхступенчатый путь духа, назад, к составлению, к метаморфозе *Яка* в некоего расслабившего мускулы и спрятавшего когти льва. Вот упоминание *Подвига* о *Якове*, предшествующее ночному таинственному бегу — знакомству с гераклитовыми менадами да вакхантами: «*Мартына волновала мысль, что мать [Мудрость! <А.Л.>] может заметить сходство между акварелью на стене и картинкой в книжке: по его расчёту, она, испугавшись, предотвратила бы ночное путешествие тем, что картину бы убрала, а потому и всякий раз, когда он в постели молился перед сном (сначала коротенькая молитва по-английски — „Иисусе нежный и кроткий, услышь маленького ребёнка“, — а затем „Отче наш“ по-славянски, причём какого-то Якова мы оставляли должником нашим), быстро лепеча и стараясь коленями встать на подушку ...*»⁸¹. А вот описание последствий расшифровки, которое сродни лишению дара стихосложения применением «сократической добродетели»: «*Эту молитву я помнил и повторял долго, почти до юности, но однажды я вник в её смысл, понял все её слова, — и как только понял, сразу забыл, словно нарушил какие-то невосстановимые чары. Мне кажется, что тоже самое произойдёт с моими стихами, — что если я начну о них осмысленно думать, то мгновенно потеряю способность их сочинять*»⁸².

Что же до духовного отпрыска отца «русского Сократа»⁸³ и одновременно его однофамильца, Александра Яковлевича Чернышевского,

то он сходит с ума, — постепенно, а вовсе не молниеносно-поэтически, — после чего умирает, и даже факт снятия перегородки между ним и миром Потусторонников не предоставляет ему иллюзии телесного воссоединения. Вдова его, *Яковлевна*, ссылается на север⁸⁴, куда *Набоков*, по обыкновению, отправляет сыгравших свою роль, уже бесполезных персонажей. Что же до их сына, *Якова Александровича*, то, испытавши фиаско в своей попытке воссоединения с двумя «осколками человека», также явно не предназначенных слиянию, он добровольно, раньше всех, сходит в царство *Аида*, с возведённых в *Даре* трагедийных подмостков Европы, в чей «закат», — без всякой надежды на Дионисийское её возрождение, — «бедный *Яшенька*» так пошло поверил всем своим неудавшимся тельцем: «...его [Яшины <А.Л.>] безвкусовые тревоги („неделю был как в чаду“, потому что прочитал Шпенглера) ...»⁸⁵.

Описанному выше «семейству диалектиков», *Набоков* противопоставляет Чердынцевых, например, супругу Константина, мать поэта. Она насквозь пронизана вакхической субстанцией, постоянно прорывающейся наружу сквозь её оболочку. Летаргия этой *Елизаветы*, тёзки сестры *Фридриха Ницше* (для которого и мать и сестра — едино тело) — не есть грезящее состояние безвыходного отчаяния какой-нибудь Чернышевской. Чердынцева ждёт-не-дождётся возвращения вакханта своего Бога с Востока: при встрече с *Фёдором* она мычит, как и положено супруге *яка* («...она [Елизавета Павловна <А.Л.>] сошла по железным ступенькам вагона, поглядывая одинаково быстро то себе под ноги, то на него, и вдруг, с лицом, искажённым мукой счастья, припала к нему, блаженно мыча, целуя его в ухо, в шею...»⁸⁶), лучшей, если верить *Заратустре*, представительнице «осколков человека» женского пола: «ещё не способна женщина к дружбе: женщины всё ещё кошки и птицы. Или в лучшем случае, коровы»⁸⁷.

миссионерствовать среди евреев и впридачу к духовному благу дававший им свою фамилию)...»: *Ibid.*, с. 37. См. также Анатолий Ливри, *Набоков ницшеанец*, *op. cit.*

⁸⁴ «Через день она [Александра Яковлевна <А.Л.>] уехала к родственникам в Ригу, — и уже теперь её образ, рассказы о сыне, литературные вечера в её доме, душевная болезнь Александра Яковлевича, всё это отслужившее, само собой смоталось, кончилось, как накрест связанный свёрток жизни, который будет храниться долго, но которого никогда не развяжут опять ленивые, всё откладывающие на другой день, неблагодарные руки.»: Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 303.

⁸⁵ *Ibid.*, с. 35.

⁸⁶ Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 78.

⁸⁷ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 41.

⁸¹ Владимир Набоков, *Подвиг*, *op. cit.*, т. 2, с. 157.

⁸² Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 306.

⁸³ «... (деда его [Александра Яковлевича <А.Л.>] в царствие Николая Первого крестил, — в Вольске, кажется, [город названный в честь вольсков, противников Рима, давших фамилию непокорной героине пушкинского отрывка *Гости съезжались на дачу...*, которая в свою очередь одарила именем невесту Фёдора Годунова-Чердынцева? <А.Л.>] — отец знаменитого Чернышевского, толстый, энергичный священник, любивший

Прирученная вакхантом-мужем к виноградной зрелости, к ощущению налитой грозди, в ожидании возвращения супруга, Елизавета продолжает насыщать своё тело виноградом, но уже виноградом сухим, будучи готовой перейти, при первой возможности, на краденые её сыном свежие кисти; вместе с тем, избавившись на время от власти «роскошных колец», Елизавета сознаётся перед собой и Фёдором, в том, что она осмысливает весь «таинственный ужас» возможности подобной встречи, — соитие с одним из вернейших мистов Бога тьмы есть преступление перед «людьми», невыносимое «человеческому» сознанию! Вот как ницшеанец Набоков описывает одно из «постоянных возвращений» Елизаветы Чердынцевой к мысли о контакте с телом супруга:

«У Фрау Стобой нашлась свободная комната, и там, в первый же вечер (раскрытый несессер, снятые кольца на мраморе умы-вальника), лежа на диване и быстро-быстро поедая изюм, без которого не могла прожить ни одного дня, она [Елизавета Павловна <А.Л.>] заговорила о том, к чему постоянно возвращалась вот уже скоро девятый год, снова повторяя — невнятно, угрюмо, стыдливо, отводя глаза, словно признаваясь в чём-то таинственном и ужасном, — что всё больше верит в то, что отец Фёдора жив, что траур её нелепость...»⁸⁸.

* * * * *

Многочисленные неодушевлённые символы «человеческой» разорванности рассеяны по страницам набоковских романов. От них, постепенно усложняя их, автор переходит к самим «человеческим осколкам», натренировавшись перед тем обращением с предметами. Вот, например, мученица-мебель квартиры первого набоковского рамана, «расчленённая» вдовой, сожалеющей о невозможности «окончательно отпилить» отправившегося к Персефоне мужа: *«Столы, стулья, скрипучие шкафы и ухабистые кушетки разбрелись по комнатам, которые она собралась сдавать и, разлучившись таким образом друг с другом, сразу поблекли, приняли унылый и нелепый вид, как кости разбросанного скелета. Письменный стол покойника, дубовая громада с железной чернильницей в виде жабы и с глубоким, как трюм, средним ящиком, оказался в первом номере, где жил Алфёров, а вертящийся*

табурет, некогда приобретённый со столом этим вместе, сиротливо отошёл к танцорам, жившим в комнате шестой. (...) Но вот кровати пришлось прикупить, и это госпожа Дорн сделала скрепя сердце, не потому что была скупа, а потому что находила какой-то сладкий азарт, какую-то хозяйственную гордость в том, как распределяется вся её прежняя обстановка, и в данном случае ей досадно было, что нельзя распилить на нужное количество частей двухспальную кровать, на которой ей, вдове, слишком просторно было спать.»⁸⁹ — вот ещё раз неудачно брошенные кости! — скелета, — быть может даже и «человеческого», а не те, коими игравали в бабки гераклито-мандельштамовы дети⁹⁰.

А вот и берлинский забор Дара: изображения *выдрессированных* животных разъятых на части неизвестно где и «перетассованных» руками таинственного плотника (как некогда карты — Софьей Дмитриев-ной) — *искорёжившего космос*. У этого забора, противопоставляя свой счастливый случай чужой неудаче, назначали друг другу свидание Фёдор с Зиной в первые дни своей любви — у истоков процесса «склеивания» обоих «осколков»:

«...был, между прочим, замечательный забор, составленный по-видимому из когда-то разобранных в другом месте (может быть, в другом городе), ограждавшего до того стоянку бродячего цирка, но доски были теперь расположены в бессмысленном порядке, точно их сколачивал слепой, так что некогда намалёванные на них цирковые звери, перетасовавшись во время перевозки, распались на свои составные части, — тут нога зебры, там спина тигра, а чей-то круп соседствует с чужой перевернутой лапой...»⁹¹.

* * * * *

Однако, наиважнейшим является то, что однажды, на короткий момент, ницшеанец-Набоков создаёт некое подобие сложного «Высшего человека» Ницше, слепленного уже не из двух, но трёх частей. Это происходит в романе *Ада или страсть*.

⁸⁹ Владимир Набоков, *Машенька*, *op. cit.*, т. 1, с. 38, 39.

⁹⁰ Гераклит in Hermann Diels, Walther Kranz, *Frangmente der Vorsokratiker*, 52, Berlin-West, Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, Перевод Андрея Лебедева, 1951. См. также Диоген Лаэртский, *Жизнь Гераклита*, XI, 3.

⁹¹ Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 158.

⁸⁸ Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 78.

Пожилой, умудрённый опытом, — а потому, экономящий оставшуюся энергию, — Набоков приступает к этому трудному склеиванию неспеша, методично, постепенно повторяя абсолютно все предыдущие жизненные этапы персонажей своего творчества, начиная с попыток воссоздания платоновского андрогина: склеивания двух половинок. Дабы облегчить себе задачу, пользуется Набоков теми же самыми *склеивающими препаратами*, что и прежде: двоих, юных Вана с Адой, как почти за сорок лет до этого Смурова, Набоков склеивает с помощью... Караваджо:

«Учащийся живописи, глядя сквозь них [волосы Ады <А.Л.>], смог бы постичь вершину мастерства trompe-l'œil, монументальность многоцветия, простирающегося на тёмном фоне, отлитого в профиль сгущением света Караваджо ...»⁹².

Долго же, однако, подготавливается это изысканное слияние, о котором перед смертью писала Аква своему, ещё несмышлёному «сыну»: *«Так и человек (chelovek) должен знать своё место, в противном случае он даже и не kлок (малость) от chelovek'a, не „он“ и не „она“, а „мороза одна“, как, мой маленький Ван, бедняжка Руби называла свою пражу, не щедрую на молоко грудку»⁹³.*

Начнём с описания греческих истоков этого многоязыкого, — словесный символ желанной многотелесности! — романа *Ада или страсть*. Набоков выпускает свою мысль путешествовать по той самой эпохе, и в те самые земли, когда и где македонский царь, одним ударом меча расчленил узел, дотоле удерживающий запад на западе — восток на востоке, и завещанный потомкам, в качестве символа нерушимости евразийского равновесия отцом Мидаса — даже тут постарался Дионис, истинный «Прометей» Земли!

И вот, устремляется Александр — последний «человечий» динамит «эллинского» (да простит меня Демосфен!) мира вслед за Дионисом. Он жаждет загнать Бога в угол исполинского континента, дабы отвратить «Сверх-человеческого» единения с ним в дальневосточных странах, омываемых морями, где уже не найдётся *милосердных к Богам* фетидовых объятий. Вакхическое чутьё не подводит бывшего аристотелева ученика — там скрывается Дионис, изгнанный из Эллады, — да и как мог не

⁹² Владимир Набоков, *Ада или страсть*, Киев, Издательство Атика, перевод О.Кириченко, 1995, с. 140.

⁹³ *Ibid.*, с. 39 — 40.

ощущать присутствия своего Бога этот македонец, наследник царства, где иссушённый демократическими амбициями Еврипид наконец-то попросил убежища, сумев вымолить наисочнейшее прощение у Диониса для вящей Божьей славы. Погоне Александра за Якхом по территории трёх континентов — Европы, Африки и Азии, — посвятил я концовку *Набокова нищиеанца*, которую будет уместно процитировать, с незначительными изменениями, здесь:

«... первое, азиатское цветение арийской культуры также произошло благодаря Дионису. Ведь однажды Бог уже пришёл туда с Запада и завоевал Индию: «До Александра, согласно давней и широко известной традиции, Дионис предводительствовал завоеванию индийцев и подчинил их себе.»⁹⁴, — пишет Арриан. Тот же Арриан даёт дату этого завоевания — LXIV-ый век до нашей эры⁹⁵: «Считая с завоевания Диониса до Садракотта у индийцев было 153 царя, и с тех пор минуло 6042 года.»⁹⁶.

Следовательно, это Дионис одарил индийцев седьмого тысячелетия до нашей эры духом трагедии, и оставил им в цари своего соратника, самого совершенного вакханта — Спатембаса, чей сын Будда продолжил властвовать над Индией:

«Когда он [Дионис <А.Л.>] покинул Индию, устроив там всё по своему, он поставил там царём Спатембаса — самого посвящённого в вакхическое таинство из своих спутников. После смерти Спатембаса, его сын Бодиах наследовал власть»⁹⁷.

Если обратиться к теософу-Плутарху — на время оставившего вверенного его попечению Дельфийца ради южных и восточных божеств, — то становится ясно какое имя носил этот совершеннейший вакхант, Спатембас. Уж не Заратустрой ли звали его? Ведь, если параллельно изучить азиатские традиции, переданные Аррианом в

⁹⁴ Arrian, *Inde*, Paris, Éditions des Belles Lettres, 1968 (1927), p. 29. Перевод Анатолия Ливри.

⁹⁵ Садракотт — противник Александра в Индии (см. Плутарх) жил в первой половине 4-го века до нашей эры. По мнению Арриана, поход Диониса в Индию предшествовал войнам Александра на 6042 года. Следовательно произошло в 64-ом веке до нашей эры. См. Pierre Chantraine, *Note in Ibid.*, p. 33.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

Индии и Плутархом в его труде *об Изиде и Осирисе*, оказывается, что плутархов Заратустра был не только современником Спатембаса (самая активная деятельность Заратустры пришлась на тридцатые годы шестдесят четвёртого столетия до нашей эры), но и апостолом Дионисического культа в Азии⁹⁸.

* * * * *

«Война (Полемос) — отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других — людьми, одних творит рабами, других — свободными»⁹⁹, так считал Гераклит, которого Ницше признавал наиболее близким себе мыслителем:

«Сомнение оставил во мне Гераклит, вблизи которого я чувствую себя вообще теплее и приятнее, чем где-нибудь в другом месте. Подтверждение исчезновения и уничтожения, отличное для дионисической философии, подтверждение противоположности и войны, становление, при радикальном устранении самого понятия «бытие», — в этом я должен признать при всех обстоятельствах самое близкое мне из всего, что до сих пор было помыслено. Учение о «вечном возвращении», стало быть, о безусловном и бесконечно повторяющемся круговороте всех вещей, — это учение Заратустры могло бы однажды уже существовать у Гераклита.»¹⁰⁰.

Да и ницшевский Заратустра не перестаёт вторить Гераклиту:

«Вы говорите, что благая цель освящает даже войну? Я же говорю вам, что благо войны освящает всякую цель.

Война и мужество совершили больше великих дел, чем любовь к ближнему.»¹⁰¹.

Высказывания обоих философов объясняют почему именно войной «Высший человек» пытается настигнуть Диониса. Становится

также понятным почему буквально через столетие после удавшегося еврипидо-сократовского заговора против власти Бога трагедии, Александр во главе гигантской армии устремляется вслед за Вакхом, на Восток.

Вообразим юного полководца неким сверхчувствительным вакхантом, который *чувствует* где надо искать Диониса. И ничем другим не объяснимое стремление Александра к Восточному морю — Тихому океану — надо понимать исключительно как необоримую, вакхическую жажду Александра «загнать» Диониса в угол континента, откуда Богу уже не спастись, как некогда от враждебного Ликурга, — возратить Диониса в Европу, а вместе с ним вернуть эллинам утраченный трагический дух. Отчаяние полководца перед Гангом, когда индийские цари выставили на восточном берегу реки чудовищное войско — страдание одного из лучших представителей кавказской расы, понявшего, что жестокий Бог насмеялся над ним, что ему уже не настичь Диониса, и чувствующего, что арийцы Европы обречены на долгую агонию и смерть:

«Сражение с Пором охладило пыл македонян и отбило у них охоту проникнуть дальше вглубь Индии. Лишь с большим трудом им удалось победить этого царя, выставившего только двадцать тысяч пехотинцев и двух тысяч всадников. Македоняне решительно воспротивились намерению Александра переправиться через Ганг: они слышали, что эта река имеет тридцать два стадия в ширину и сто оргий в глубину и что противоположный берег весь занят вооружёнными людьми, конями и слонами. Шла молва, что на том берегу их ожидают цари гандраритов и пресиев с огромным войском из восьмидесяти тысяч всадников, двухсот тысяч пехотинцев, восьми тысяч колесниц и шести тысяч боевых слонов. И это не было преувеличением. Андрокотт, который вскоре вступил на престол, подарил Селевку пятьсот слонов и с войском в шестьсот тысяч человек покорил всю Индию.

Сначала Александр заперся в палатке и долго лежал там в тоске и гневе. Созная, что ему не удастся перейти через Ганг, он уже не радовался ранее совершённым подвигам и считал, что возвращение назад было бы открытым признанием своего поражения. Но так как друзья приводили ему разумные доводы, а воины плакали у входа в палатку, [И снова, уже у Плутарха, „разумность”

⁹⁸ Плутарх, *Об Изиде и Осирисе*, 46.

⁹⁹ Гераклит, D. K. 53 [44].

¹⁰⁰ Фридрих Ницше, *Ессе homo*, *op. cit.*, с. 731. Курсив Фридриха Ницше.

¹⁰¹ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 34.

и плач противятся доброй бойне и воссоединению вакхантов с Дионисом! <А.Л.>] *Александр смягчился и решил сняться с лагеря.*»¹⁰².

Именно написанное мною выше и объясняет, наконец, непонятые шестьдесятю поколениями историков глубокое убеждение Александра в том, что он является жертвой гнева Диониса, и что все его несчастья происходят исключительно из-за мстительного характера Бога. Об этом факте также упоминает Плутарх:

*«Говорят, что впоследствии Александр не раз сожалел о несчастье фиванцев и это заставляло его со многими из них обходиться милостиво. Более того, убийство Клита, совершённое им в состоянии опьянения, и трусливый отказ македонян следовать за ним против индийцев (sic.), отказ, который оставил его поход незавершённым (sic.), а славу неполной (sic.), – всё это Александр приписывал гневу и мести Диониса (sic. sic. sic.).»*¹⁰³.

И сейчас нам остаётся только уверовать в слова одного из последних европейских пророков, – ведь в *Рождении трагедии* артист Ницше¹⁰⁴ проявляет себя также и пророком. Он предчувствует, что власть чандал в Европе подходит к концу, что пришёл момент возвращения Диониса с Востока и предупреждает об этом своих первых апостолов:

*«Да, друзья мои, уверуйте вместе со мной в дионисическую жизнь и в возрождение трагедии. Время сократического человека миновало: возложите на себя венки из плюща, возьмите тирсы в руки и не удивляйтесь, если тигр и пантера, ласкаясь, прильнут к вашим коленям. Имейте только мужество стать теперь трагическими людьми: ибо вас ждёт искупление. Вам предстоит сопровождать торжественное шествие Диониса из Индии в Грецию! Готовьтесь к жестокому бою, но верьте в чудеса вашего бога!»*¹⁰⁵.

¹⁰² Плутарх, *Сравнительные жизнеописания, Александр и Цезарь*, *op. cit.*, LXII, с. 422 – 423.

¹⁰³ *Ibid.*, XIII, с. 373.

¹⁰⁴ «... взглянуть на науку под углом зрения художника, на искусство же – под углом зрения жизни ...»: Фридрих Ницше, *Рождение трагедии из духа музыки*, *op. cit.*, т. 1, с. 50. Курсив Фридриха Ницше.

¹⁰⁵ *Ibid.*, с. 138 – 139.

И вот, по прошествии всего лишь одного века после написания этих строк мы становимся свидетелями редчайшего феномена: Восток начинает, – всего только начинает! – ополчаться на Запад, и миллионы, всё менее и менее миролюбивых оккупантов устремляются в Европу, чтобы осесть здесь.

Они являются лишь предвестниками великого противостояния Восток-Запад. Но, как я уже показал выше, подобные войны – не просто бесцельное и необъяснимое передвижение народов, о котором писал ненавистник случая Лев Толстой¹⁰⁶, но неистовое желание евразийца настигнуть Диониса, скрывшегося на другом конце исполинского континента. А потому, настало время задаться вопросами, которые, надеюсь, не будут мне стоить прекращения университетской карьеры на Западе вкупе со смертоносной «фетвой» очередного последователя осквернителя персидских земель. А именно: не был ли Муххамед той натянутой между Землёй и космосом *сверхтетиной*, затрепетавшей четырнадцать веков назад от «снизошедшего» на неё Диониса, скрывшегося на Востоке; не завещал ли этот купец из Мекки Дионисический дух – бешеный и убийственный, – тем, кто сейчас, подобно фиванским вакхантам легко и безнаказанно рвет в клочья мягкие, белые и рассыпчатые тела созерцательных, – излишне созерцательных! – западных аполлонических государств.

А главное – уж не *вслед* за нашим ли Богом рвутся через Европу, вроде бы назад, в Мекку (на самом же деле, обманутые Дионисом, в Низу – место окончательного рождества Диониса) эти новые бесноватые вакханты с менадами, боготворящие Вакхову лозу настолько, что *причаститься* к ней губами им дозволено лишь в раю, одновременно со слиянием с десятками разнополых «осколков человека», сиречь: не

¹⁰⁶ «Только отрешившись от знаний близкой, понятной цели и признав, что конечная цель нам недоступна, мы увидим последовательность и целесообразность в жизни исторических лиц; нам откроется причина того несообразного с общечеловеческими свойствами действия, которое они производят, и не нужны будут нам слова случай и гений.

Стоит только признать, что цель волнений европейских народов нам неизвестна, а известны только факты, состоящие в убийствах сначала во Франции, потом в Италии, в Африке, в Пруссии, в Австрии, в Испании, в России, и что движение народов с запада на восток и с востока на запад составляют сущность и цель этих событий, и нам не только не нужно будет видеть исключительность и гениальность в характерах Наполеона и Александра, но нельзя будет представить себе эти лица иначе, как такими же людьми, как и все остальные ...»: Лев Толстой, *Война и мир*, *Эпизод*, Москва, 1993, с. 301 – 302. Курсив Толстого.

вернулся ли *уже* Дионис на Запад, принеся с собой свой драгоценный дар — дух трагедии. А потому — не стала ли Европа вновь местом, где вскоре предстоит распуститься редчайшему и прекраснейшему из цветков Земли — *сверхчеловеку*?».

Так завершил я мой первый крупный труд о Дионисе — ибо воспевание «Сверх-человека» было, есть и будет гимном Якху! Но сейчас я посвящаю Богу куда более неистовую «научную поэму», где речь пойдёт о другой, куда более тонко и мощно звучащей струне Божественной кифары.

* * * * *

В процессе погони за Дионисом — повествует Плутарх, — встречается Александр-вакхант с Адой, девушкой царских кровей и преподносит ей в дар Карию, которой прежде Ада управляла вместе со своим братом-мужем¹⁰⁷. Так, под эгидой вакхического таинства описанного Плутархом — похода Александра, — начинается у Набокова слияние двух частей. Наконечник стрелы — ардис Эроса Афродиты-Урании, ртутно-тяжкого, пригибающего к Земле, растворяющего в мясистом теле планеты, — пронзил их рано, а потому у Ады и Вана Вин было время попривыкнуть к своему новому сложному телу и даже попытаться подманить третью часть, Люсетт, дожидаться пока она подрастёт, проявит свою сущность «девчонки». Люсетт превратилась в нимфу (понесла от Вакха трагический плод!), и затем покинула родные сверх-европейские леса, ставши океанидой-Офелией, частью истинно познавшего — *действующего* «человекообразного», *сызнова навешивающего дверь на петли*, воссоздавая, таким образом, свой «вечный, вековечный дом», свою исконную целостность. Это новое существо не подвержено тошноте присущей «чандаловеку», — *la Nausée* в буквальном смысле слова! — оно не теряет активности, несмотря на волны Океана, инстинктивно следуя совету тени кифареда-Ахилла.

Слияние Вана с Люсетт преподносится Набоковым как нечто само собой разумеющееся: даже мать двух первых половинок проявляет однажды беспокойство лишь касательно возраста Люсетт:

¹⁰⁷ См. Плутарх, *Сравнительные жизнеописания, Александр и Цезарь*, *op. cit.*, XXII, с. 383.

«— Причём здесь Ада, дурачок! — сказала Марина, едва заметно фыркнув, склонившись над чашкой. (...) Ада уже большая девочка, а у больших девочек, увы, свои заботы. Разумеется, мадемуазель Ларивьер имела в виду Люсетт. Необходимо прекратить эти нежные игры, Ван! Люсетт — наивная двенадцатилетняя девочка, и хотя я знаю, что всё это чистое озорство, всё же (однако) в отношении ребёнка, становящегося маленькой женщиной, вести себя *delikatno* никогда не помешает.»¹⁰⁸.

Набоков сам готовится к подвигу будущего единения троицы в изрядно упрощённого, ибо троякого, ницшевского «Высшего человека». Параллельно с этим Набоков никак не надивится на человекообразного; писатель изучает его, как Гулливер жителей Лилипутии: то рассматривает стоящего на ногах «человека», то переворачивает его ногами к небесам (чреватый усложнением, тот тотчас принимается имитировать «парус», эту необузданную познавательную волю Заратустры), и анализирует этого «Векчело», «Vekchelo»¹⁰⁹, или «животное», мол — долго ли выдержит это создание в подобном положении? У чудовищного Калибана Мирводова сказывается опыт зоолога:

«Грациозно выгибая перевёрнутое тело с воздетыми кверху, точно тарантийский парус, ногами и сведёнными вместе, балансирующими лодыжками, Ван расхаживал туда-сюда на расставленных, едва фиксирующих центр тяжести руках, меняя направление, ступая то вправо, то влево с открытым опрокинутым ртом, престранно моргая в своём перевёрнутом положении, когда глаз попадает в веко, точно шарик в чашечку бильбоке. Поражало даже не разнообразие и скорость движений, напоминавших перемещение животного (sic.) на задних лапах; поражала та лёгкость, с которой Ван это проделывал; ...»¹¹⁰.

Да и раньше, начиная Ганина, Набоков ставит «человека» с ног на голову. В *Машеньке* хождение на руках — есть признак утверждения

¹⁰⁸ Владимир Набоков, *Ада или страсть*, *op. cit.*, Перевод Оксаны Кириченко, с. 223.

¹⁰⁹ Vladimir Nabokov, *Ada or ardor: a family chronicle*, New York, First Ventage International Edition, 1990, p. 82.

¹¹⁰ Владимир Набоков, *Ада или страсть*, *op. cit.*, с. 86.

сверх-европейской, над-граничной воли, её сухой мощи. Напротив, в момент расслабления воли упруго-парусное передвижение макушкой к Земле невозможно (ещё в двадцать шесть лет зачарованный песнями перса, онищешаенный Набоков расстилает на страницах своего первого романа «парус» Заратустры), а вялый Ганин начиная уподобляться «горбатому», — предводителю и глашатаю калек из *Заратустры*¹¹¹, — теряет вместе с волей пол и способность насыщаться аполлоническими образами. Причина внезапного страдания — неспособность Ганина расстаться с непредназначенным ему «осколком человека» — Людмилей. Верблюд благополучно стал Львом <Ганиным>, но на стадии превращения его в «ребёнка» произошёл срыв:

«За последнее время он [Ганин <А.Л.>] стал вял и угрюм. Ещё так недавно он умел, не хуже японского акробата, ходить на руках. Стройно вскинув ноги и двигаясь, подобно парусу, умел зубами поднимать стул [то чего не удаётся совершить несостоявшемуся палачу Цинцинната <А.Л.>] и рвать верёвку на тугом бицепсе. В его теле постоянно играл огонь, — желание перемахнуть через забор, расшатать столб, словом — ахнуть, как говорили мы в юности. Теперь же ослабла какая-то гайка, он стал даже горбиться, и сам признался Подтягину, что „как баба“, страдает бессонницей.»¹¹²

Из героя *Машеньки*, — чью фамилию с самого начала мне стоило оградить кавычками, ибо, на самом деле, он вовсе и не «Ганин», хоть и *Лев*, — действительно может выйти нечто толковое! Не случайно вымышленная, сиречь выбранная самим героем, фамилия этого одногодка Владимира Набокова происходит от «*gagner*»¹¹³, и обозначена она, конечно, в *фальшивом, польском паспорте*¹¹⁴ — документе исторической родины апатрида пана Ницки. Паспорт этот, как оказывается, вовсе не

¹¹¹ «Однажды, когда Заратустра проходил по большому мосту, окружили его калеки и нищие, и один горбатый так говорил ему ...»: Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 99.

¹¹² Владимир Набоков, *Машенька*, *op. cit.*, т. 1, с. 39 — 40.

¹¹³ выиграть (фр.)

¹¹⁴ «— А у меня целых два паспорта, — сказал с улыбкой Ганин. — Один русский, — стоящий только очень старый, а другой польский, подложный, По нему-то я и живу. (...)

— Что это вы говорите, Лев Глебович. Подложный?

— Именно. Меня, правда, зовут Лев, но фамилия вовсе не Ганин.»: Владимир Набоков, *Машенька*, *op. cit.*, т. 1, с. 91.

понадобится «Ганину» для незаконного пересечения галльского рубежа на пути к южным морям, винограднейшему Провансу, куда, для выздоровления, «Ганин» уносит, впитавши его, образ некогда пришедшейся ему по нутру части. Ведь «Ганин» ещё и *преступник* — «вор образов»¹¹⁵, — таким впоследствии, кстати, будет чувствовать себя и Фёдор Годунов-Чердынцев, внезапно покинутый в столовой берлинской квартиры своей «половинкой»¹¹⁶. Для того чтобы достигнуть идеального Средиземноморья «Ганину» для начала нужно освободиться, перейти в новую стадию, избавившись от своего «духа тяжести» — Людмилы: «*Завоевать себе свободу и священное Нет даже перед долгом — для этого, братья мои, нужно стать львом.*»¹¹⁷. Недаром же выздоровление «Ганина» от Людмилы приветствуется рычанием африканского хищника:

«Стараясь ступать тихо, он [«Ганин» <А.Л.>] быстро прошёл по длинному коридору, ошибся дверью, попал с размаху в ванную

¹¹⁵ «„Унесло... — подумал он [Ганин <А.Л.>], покусывая губы. — а чёрт... рискну“. Судьба так захотела, чтобы минут пять спустя Клара постучалась к Алфёрову, чтобы спросить, нет ли у него почтовой марки. Сквозь верхнее матовое стекло двери желтел свет, и потому она решила, что Алфёров дома.

— Алексей Иванович, — сказала Клара, одновременно стуча и приоткрывая дверь, — нет ли у вас...

Она с изумлением запнулась. У письменного стола стоял Ганин и поспешно задвигал ящик. Он оглянулся, блеснув зубами, толкнул ящик бедром и выпрямился.

Ах, Боже мой, — тихо сказала Клара и попятилась из комнаты.

Ганин быстро шагнул за ней, на ходу выключив свет и захлопнув дверь. Клара прислонилась к стене в полутёмном коридоре и с ужасом гладела на него, прижав пухлые руки к вискам.

— Боже мой... — повторила она так же тихо. — как вы могли...

С медленным грохотом, словно отдуваясь, поплыл вверх лифт.

— Возвращается... — таинственно шепнул Ганин.

— О, я не выдам вас, — горько воскликнула Клара, не сводя с него блестящих, влажных глаз, но как вы могли? Ведь он не богаче вас... Нет, это кошмар какой-то.»: *Ibid.*, с. 59 — 60.

¹¹⁶ «Итак, изобретателем кифары является именно Гермес, бог-вор, символизирующий собой преступление par excellence: „... разбойник, угонщик быков, проводник снов, ночной соглядатай...“. А набоковский герой Фёдор Годунов-Чердынцев, как истинный поэт не мог не чувствовать свою близость бандиту-Гермесу и преступнику-Заратустре. Не потому ли, противниками вора-Фёдора, якобы таскающего хозяйский сахар («... а когда Щёголева вошла в столовую, то получилось так, словно он [Фёдор <А.Л.>] крал сахар из буфета.»), как бы ненароком становятся люди, принадлежащие к миру репрессивного и юридического аппарата, например, бывший прокурор Щёголев и адвокат Чарский.»: Анатолий Ливри, *Набоков ницшеанец*, *op. cit.*, с. 217.

¹¹⁷ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 19.

комнату, откуда хлынула волосатая рука и лвиный рык, круто повернул и, столкнувшись опять с коренастой горничной, которая тёрла тряпкой бронзовый бюст в прихожей, стал спускаться в последний раз по отлогой каменной лестнице»¹¹⁸.

Теперь дело лишь за девятым валом детской невинности!

* * * * *

Однако, как «человека» не крути, как не превозноси его телесное превосходство над прочими «осколками», он остаётся неизменным, «осколком», частью части; проходит время, и великое кольцо «Вечного Возвращения» принуждает его вернуться в своё изначально нормальное телесно-буквенное состояние: «Кинг Уинг говорит, что Великий Векчело опять превратился в простого chelovek в моём теперешнем возрасте, так что это вполне нормально.»¹¹⁹.

В течение набоковского их изучения, наша троица — Ван, Ада, Люсетт — уже начинает представлять странное для «человеческого» разума многоформенное тело, каждая из частей которого вбирает в себя другую его часть, и босховы картинки возникают на страницах *Ада или страсть*. Отныне, телесное завершение «Высшего человека» — не более чем вопрос времени: «И потому, будет гораздо удобнее пристроиться внутри Вана, тогда как Ада пристроилась внутри Вана, тогда как Ада пристроилась внутри Люсетт и обе они — у Вана внутри (как и все трое — во мне, уточняет Ада).»¹²⁰.

Во время люсеттино отрочества происходит первая попытка «слияния» брата и двух сестёр, в описании которой Набоков не может не настаивать, и достаточно прямолинейно (в отчаянии ожидая прихода вакхического сверх-читателя, и одновременно не веря в столь скорое его появление, Набоков вынужден вербализировать священные символы), именно на «двух половинках», сливающихся с Ваном. Автор слагает с себя всякую ответственность за происходящее, предоставляя право го-

лоса обоим упомянутым выше «половинкам» — надолго законсервированным «половинкам» персидского плода:

«— Перестань! — сказал Ван обвинявшей ему шею Люсетт. — ты холодная, как льдышка, неприятно.

— Неправда, вовсе я не льдышка! — вскрикнула она.

— Холоднющая, как две половинки консервированного персика. Давай-давай, скатывайся, прошу тебя!

— Почему две? Почему?

Да-да, почему? — проурчала со сладостной дрожью Ада, потянувшись и поцеловала его в губы.

Ван попытался подняться. Обе девочки принялись поочерёдно целовать его, потом друг дружку, и снова принимались за него, — Ада подозрительно молча, а Люсетт тихонько вскрикивая от восторга. (...) Ада, полоща своей шелковистой гривой по соскам и пупку Вана, казалось, с наслаждением делает всё, чтобы сейчас дрогнуло в моей руке перо, а в тот до смешного далёкий момент — чтоб её маленькая бесхитростная сестричка заметила и приняла к сведению то, с чем Ван совладать уже не мог. Двадцать весёлых, щекоцущих пальчиков теперь запихивали смятый цветок под резиновый пояс его чёрных плавок. В качестве украшения — мало приглядно; как игра — неуместно и опасно. Стряхнув с себя своих очаровательных мучительниц, Ван удалился от них на руках: чёрная маска на длинном карнавальном носу. И как раз в этот момент на сцене появилась гувернантка, тяжело дыша и выкрикивая:

— Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, ton cousin?»¹²¹, — первый разрыв! «Векчело», «осколки человека», «животные» размётываются в стороны и не важно на каких конечностях удаляются они друг от друга.

Наступает первая долгая разлука троицы, завершающаяся поднебесной попыткой единения: «Звуки имеют цвета, цвета имеют запахи. Огонь янтаря Люсетт струится через ночное благоухание и пылание Ады и теряется у основания лавандового козерога Вана. Десять страстных, злоносных, любящих пальцев, принадлежащих двум различным молодым демонам, ласкают беспомощную постельную малышку.»¹²² — Набоков так и пишет: «two different

¹¹⁸ Владимир Набоков, *Машенька*, *op. cit.*, т. 1, с. 56.

¹¹⁹ Владимир Набоков, *Ада или страсть*, *op. cit.*, Перевод А.Н. Гиривенко, с. 377.

¹²⁰ *Ibid.*, перевод Оксаны Кириченко, с. 271.

¹²¹ *Ibid.*, с. 199 — 200.

¹²² *Ibid.*, перевод А.Н. Гиривенко, с. 394.

young demons»¹²³, настаивая на эллинском корне ὁ δαίμων, — то есть два божества ещё недостигшие стадии верховного Δαίμων'а, и коим, при благоприятном случае — нисхождении к Дионису-Адесу (если верить Гераклиту), — предстоит превзойти его, получив, возможно, власть над космосом.

И снова происходит разрыв: «Сойду с ума, если останусь ещё на одну ночь буду кататься на лыжах с другими шерстистыми червячками недельки три несчастная — Pour Elle.»¹²⁴, — полная извинений телеграмма Люсетт, адресованная не Вану с Адой, но Зевсу, мол, покусилась я на твою власть, прости, — так можно охарактеризовать стиль записки.

Ужас «человека» считает знаки препинания. Крушит ритм фразы.

Ван и Ада остаются друг с другом, открывая, таким образом, «эпоху андрогина» — период, до которого не додумался кулак аскрийский Гесиод. Существование тела подобной сложности невыносимо верховному божеству, которое само некогда, по недосмотру, создало этого андрогина. А потому «эпоха андрогина» недолговечна, и отец Вана с Адой, Демон-жизнь (Δαίμων-Δία-Ζεῦς-Ζωή), вознеся их перед этим в quasi-олимпийское поднебесье, расчленяет андрогина Вану молнией лишь только прознаёт про его неслыханную дерзость:

«— Хорошо, — сказал Демон, — я беру назад это прилагательное, дабы спросить: разве слишком поздно прервать твои отношения с сестрой и перестать ломать ей жизнь?»¹²⁵.

И снова начинается «Одиссея» троякого «Высшего человека» Владимира Набокова: ему нестерпимо хочется заново пережить то, что его три «осколка» испытали однажды. То в одной точке планеты, то в другой, ищут они возможности соития:

Ада и Люсетт: «Она целовала мой krestik, а я её, наши головы смыкались в таких причудливых комбинациях, что Бригитта, маленькая горничная, которая входила ощупью, неся свечу, думала на мгновение, хотя и сама была непоседой, что мы обе одновременно

рожали малышей, твоя Ада — une rousse, и никакую иную, а ничья Люсетт — une brune. Вообрази.»¹²⁶.

Ван и Ада: «О дорогой Ван, это последняя попытка, которую я делаю. Ты можешь назвать это документом безумия или ростком отчаяния, но я хочу приехать и жить с тобой, где бы ты ни был, навсегда, навсегда.»¹²⁷.

Нередко в романе один из трёх «осколков» высказывает своё стремление к окончательному единению втроём, описывая, со всеми подробностями, как произойдёт слияние — Вану, естественно, отводится роль двойника яка, заточённого покамест, в Азии:

«— Послушай, Ван, — сказала она [Люсетт <А.Л.>] (расправившись с четвёртой рюмкой). — Почему бы нам не рискнуть? Всё очень просто. Ты женишься на мне. Станешь хозяином моего Ардиса. Мы будем там жить, ты будешь писать. Я совершенно исчезну из твоего поля зрения, никогда не буду тебе надоедать. Мы пригласим Аду — одну, разумеется, — погостить у нас в её имении, ведь я всегда думала, что мать завещает Ардис ей. И пока она будет жить там, я уеду в Аспен или Гстаад, или в Шиттау, ты останешься с ней, забыв обо всём на свете, словно навсегда заточённый в глыбе горного хрусталя, и будет падать снег, и всё вокруг вас исчезнет, pendant que je буду кататься на лыжах в Аспенисе. А потом я неожиданно вернусь, но она может остаться, я ничего не имею против, я буду ошиваться поблизости, на тот случай, если вам захочется увидеть меня»¹²⁸.

После — краткое единение Вана с Адой в Швейцарии, и — снова разрыв. Причина? Сострадание! Да! Сострадание «осколка человека предназначенного сверх-единению» испытываемое им к своему собрату по мукам — «маленькому», вечно возвращающемуся «человеку», не способному на слияние в высшее тело: «Ne ricane pas! — воскликнула Ада. — Бедный бедный маленький человечек! Как ты смеешь глумиться над ним?»¹²⁹.

¹²⁶ Ibid., с. 353. Курсив Набокова.

¹²⁷ Ibid., с. 362.

¹²⁸ Ibid., с. 437. Курсив Набокова.

129 Ibid., перевод А.В. Дранова, с. 502.

¹²³ Vladimir Nabokov, *Ada or ardor: a family chronicle*, op. cit., p. 420.

¹²⁴ Владимир Набоков, *Ада или страсть*, op. cit., перевод А.Н. Гиривенко, с. 395.

¹²⁵ Ibid., с. 414.

Ну что ж! Хотя из-за этого «The poor, poor little man!»¹³⁰ Ады «Высший человек» Набокова чуть было *не удался*, не оказался стёртым с лица планеты. Ибо любое преступление каждого из «осколков человека» (а «преступление» это — не что иное как отступление от текстов запечатлённых на ницшевских скрижалях о взращивании «Высшего человека», о наполнении его Великим здоровьем) завершается крахом прекрасного начинания, которому, как и всему Божественному, приходится уповать лишь на случай.

А случай вынес. Ибо после разлуки происходят события интереснейшие: Набоков предоставляет трём «осколкам» возможность *артистического единения*. Пусть один из «осколков человека» — Люсетт — гибнет, но и верховный Даймон не выдерживает тяжести своей олимпийского мощи и, как и подобает очередному стирающемуся из космоса молниеносно, растворяется в небесах. О Рагнарёке узнаёт Ван окружённый не для него предназначенными, хоть и многочисленными, «осколками человека». Можно начинать первое восстание против столетиями сложившегося миропорядка:

*«Как-то мартовским утром 1905 года, проводя время в праздности на террасе виллы Армина, где он, подобно султану, восседал на ковре в окружении четырёх или пяти голых, обольстительно ленивых красоток, Ван раскрыл ежедневную американскую газету, выходящую в Ницце. В ней сообщалось, что в результате одной из тяжелейших авиационных катастроф (четвёртой или пятой по счёту), которыми ознаменовалось начало нового столетия, гигантский воздушный корабль по необъяснимой причине рассыпался в воздухе на высоте пятнадцати тысяч футов над Тихим океаном между островами Лисянского и Лясанова. Список „видных деятелей“, погибших во время взрыва, включал менеджера по рекламе одного из универсальных магазинов, исполняющего обязанности заведующего отделом тонкого листового металла в одной фотокорпорации ... (...) только на следующее утро Ван узнал, что один из президентов банка, упомянутый среди прочих где-то в самом хвосте списка, был его отец»*¹³¹.

Даймон умер — теперь может жить «Высший <простенький, по сравнению с ницшевским> набоковский человек»! И здесь-то, балансируя на изощрённом лезвии отчаяния, Набоков-артист восполняет «телесный

пробел» героев: Ван соединяется с Адой, вобравшей в себя черты своей сводной сестры. Набоков подчёркивает этот факт трёхкратным закливанием. Тело, цвет, запах — всё здесь. Титаническая работа по единению человекообразного завершена. «Маленький человек», коим, уже истинно «осколочным», Дионис со своим вакхантом Набоковым вдоволь натешились, сиречь повертевши им, то так, то эдак (подразумевая бесчисленность возможных комбинаций), стёрт, наконец, с поверхности Семелы. А перед физической смертью Набоков изымает у Андрея его «осколочный» λόγος:

*«Состояние Андрея неуклонно, хотя и очень медленно, продолжало ухудшаться. Последние два или три года своего пребывания в неподвижном положении на различных шарнирных кроватях, любую плоскость которых можно было повернуть бесчисленное число раз под любым углом и в каком угодно направлении, он лишился дара речи, хотя и мог ещё кивать или трясти головой, сосредоточенно хмурия брови, или слегка улыбаясь, когда до него доносился запах пищи ...»*¹³².

Теперь Дионис может отсечь часть своей небриды (жест, воспроизведённый плагиатором — Св. Мартином), покрыв ею новое существо — предоставить ему право причаститься к вакхической мудрости:

*«Её [Ады <А.Л.>] ещё более потемневшие волосы были зачёсаны назад и вверх, образуя лоснящийся шиньон, и напоминающая Люсетт линия её обнажённой шеи, тонкой и стройной, производила неожиданное и тягостное впечатление.»*¹³³, и далее:

*«... в следующее мгновение он [Ван <А.Л.>] уже смотрел сквозь тёмные очки на тени, симметрично лёгшие по обеим сторонам сверкающей спины с лёгкими тенями между рёбрами — спина эта принадлежала то ли Люсетт, то ли Аде, которая сидела на полотенце на некотором расстоянии от него.»*¹³⁴, и в третий раз, упорно превозносит Набоков Вакха с его мистериями:

¹³² Ibid., с. 503.

¹³³ Ibid., с. 482.

¹³⁴ Ibid., с. 492.

¹³⁰ Vladimir Nabokov, *Ada or ardor: a family chronicle*, op. cit., p. 530.

¹³¹ Владимир Набоков, *Ада или страсть*, op. cit., с. 475 — 476.

«Сине-зелёно-оранжевая вещица, казалось, смотрела на него [Вана <А.Л.>] так, словно хотела уверить его в том, что она всё семнадцать лет ждала, пока её не нащупает сонно-медлительная рука улыбающегося, погружённого в свои думы искателя: подлый обман, фальшивый возврат законному владельцу, жульническое совпадение — и грубая ошибка, ведь это именно Люсетт, ставшая русалкой в куцах Атлантики (а не Ада, ставшая чужестранкой, едущей, где-то поблизости от Моргеса в чёрном лимузине), предпочитала эту пудру.»¹³⁵.

Точно валы строф трагического хора, повторяются Адой заклинания: она вызывает из царства Аида Люсетт, столь необходимую их с Ваном единящемуся телу. Коммос Ады — не что иное, как эхо парижского соло, пропетого ранее самой Люсетт перед тем как заказать каюту на «Табаккоффе» — только что не бьёт себя в грудь кулаком, вопя Вану:

«О Ван, о Ван, мы недостаточно её любили. Вот на ком тебе следовало бы жениться, на ней, сидящей, приподняв ступни, в чёрной балетной пачке, на каменной баллюстраде, и тогда всё было бы хорошо — я жила бы вместе с вами в Ардис-Холле, в место этого счастья, которое само валилось в руки, мы задрали её насмерть!»¹³⁶.

Что же до заключительного единения Вана с Адой-Люсетт, то оно происходит, и не как-нибудь, а именно под эгидой, которую собственно-телесно держит Фридрих Ницше, — его философии и биографии:

Над Землёй властвует закон кольца. Его вечная струя обволакивает, священнодействуя и покоряя её своими мистериями, планету, подобно водам пятой реки — Океана, омывающего Евразию. В этой круговерти, вместе с прочими тварями, заключён «осколок человека», или, как с горечью назвал его некогда перс, — «маленький человек», раб притяжения Земли, щепка в струе, уносящей его в русле кольца, а потому инстинктивно ненавидящий всё что бросает вызов и потоку, и тяготению планеты: «Маленький человек вечно возвращается!»¹³⁷.

Но законы существуют отнюдь не для того, чтобы подчиняться им! Они — лишь вежи, вбитые к скалу и обозначающие сверх-преступникам

следующее: а в силах ли ты добраться до меня, преодолеть меня и подняться ещё выше!?

Ницшевский «Высший человек» — один из тех, кто способен получить свободу: содеяв преступление, во время которого «человечество», возможно, преобразится, совершив преопаснейший скачок в сторону и вверх — к Дионису. Усложнившееся тело «Высшего человека» разрывает кольцо уже неспособное удержать его. Всё это происходит лишь в течении молниеносного мгновения, и в ожидании тех «осколков человека», которым суждено *влиться* в то создание, коему предназначено «закон кольца» уничтожить — навсегда! — в ожидании «Сверх-человека», по которому, изнывая от ностальгии, стонет Земля.

Именно подобное кратковременное освобождение из кольца «Вечного Возвращения» происходит с Ваном, *склеивающимся* с Адой-Люсетт. Вот как Набоков описывает путь к окончательной, швейцарской встрече Винов, благославляемых Винным Богом, после долгих и многочисленных расставаний:

«В этой головокружительной гонке он [Ван <А.Л.>] каким-то образом проскочил дорогу на Оберхалбштайн на Сильвапланской развилке (150 километров к югу от Альвены), повернул назад, на север, через Кьявенну и Шплюген, чтобы в совершенно апокалиптической ситуации выехать на шоссе n°-19 (ненужный крик длиной в 100 километров) по ошибке свернул на восток, к Шюру.»¹³⁸.

В приведённой выше цитате из *Ады*, или *страсть* отсыл к Ницше очевиден: «сильвапланская развилка» символизирует попытку Вина вырваться из кольца «Вечного Возвращения», означает его желание создателя стать, — хоть на мгновение! — неподвластным закону кольца, превратиться в эдакого <принца> *Vogelfrei*, как называли подобных беспредельщиков древние германцы.

Ван Вин едет к месту встречи с Адой-Люсетт через Верхний Энгадин, где Набоков бывал не раз — впервые Владимир Набоков приезжает в Санкт-Мориц в декабре 1921 года, и пишет там рассказ *Удар крыла*,

¹³⁸ Владимир Набоков, *Ада или страсть*, *op. cit.*, [необычайно дурной <А.Л.>] перевод А. Дранова, с. 524. «Traveling too fast and too wildly, he somehow missed the Oderhalbstein road at the Sylva plana fork (150 kilometers south of Alvena); wriggled back north, via Chiavenna and Splügen, to reach in apocalyptic circumstances Highway 19 (an unnecessary trip of 100 kilometers); veered by mistake east to Chur.» Vladimir Nabokov, *Ada or ardor: a family chronicle*, *op. cit.*, p. 552.

¹³⁵ *Ibid.*, с. 532.

¹³⁶ *Ibid.*, с. 554. Курсив Набокова.

¹³⁷ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 159.

чей герой калечит крылатого «андрогина», тотчас скатываясь прочь из жизни, не будучи в силах выдержать своего антиолимпийского преступления.

Набоков хорошо знал и любил Граубюнден. В июле 1965 года, за четыре года до публикации *Ада или страсть*, писатель возвращается в этот <сверх>швейцарский кантон, и создаёт в Санкт-Морице стихотворение *Средь этих лиственниц и сосен*, посвящая его благовонным вакхическим деревьям, иссушающим и облагораживающим Землю *выжи-манием из неё и влаги, и Пенфея*, — и воспевая величественную красоту места, названного Фридрихом Ницше «кусочком высшей земли»¹³⁹.

Исходя из топографии местности описанной престарелым Набоковым, Ван Вин проезжает по шоссе ведущему к озеру Сильваплана и посёлку Сурлей, где находится пирамидальный блок камней, у которого Фридриху Ницше пришла мысль о «Вечном Возвращении». Вот как философ повествует о произошедшем в автобиографическом *Ecce homo*¹⁴⁰:

«Я шёл в этот день вдоль озера Сильваплана через леса; у могуче-го пирамидально нагромождённого блока камней, недалеко от Сур-лея, я остановился. Там пришла мне эта мысль»¹⁴¹.

Таким образом воссоединение Вана и Ады, — но лишь после долго-летнего приручения Ады к роли и Ады и Люсетт, — превращает Вана

¹³⁹ „Stück Ober-Erde“: Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Briefe Kritische Studienausgabe, Januar 1880 – Dezember 1884*, An Franz Overbeck in Basel (Postkarte) (Sils-Maria, 23.Juli 1881), *op. cit.*, Band 6, S. 110. «кусочек высшей земли». Перевод Анатолия Ливри.

¹⁴⁰ Отчёт о «сильвапланской находке» Анатолия Ливри был зачитан в Петербурге на «Набоковских чтениях» 2001 года профессором Борисом Авериним, который прекратил всяческое общение с писателем после издания в Петербурге *Выздоравливающего*. С тех пор (вот уже более семи лет) организаторы конференции так и не удосужились сообщить Анатолию Ливри о публикации статьи. Надеемся, что их забывчивость не объясняется тем, что какой-нибудь потомок александрийского библиотекаря, жадный до чужих находок щекасто-перхотный сыч, приютил бездомную *сверхевропейскую* мысль Анатолия Ливри под своим добротным пост-социалистическим кровом. Если так, то я не в обиде, ведь, как писал другой мой воспитатель в области классицизма, Шарль Моррас: «*Les biens spirituels sont indivisibles et communs à l'esprit humain. Seraient-ils divisibles, il ne faut pas en faire plus de cas que des autres.*» „Notre Père“, *disaient autrefois nos pêcheurs de Provence*, „donnez-nous du poisson assez pour en manger, en donner, en vendre et nous en laisser dérober”».

¹⁴¹ Фридрих Ницше, *Ecce homo*, *op. cit.*, т. 2, с. 743. „Ich gieng an jedem Tage am See von Silvaplana durch die Wälder; bei einem mächtigen pyramidal aufgethürmten Block unweit Surlei machte ich Halt. Da kam mir dieser Gedanke.“: Friedrich Nietzsche, *Ecce homo*, *op. cit.*, Band 6, S. 335.

и Аду в тройственном «Высшего человека». Это существо настолько совершенно, его страсть оторваться от Земли, не потеряв связи с нею так великодушна, его желание вобрать в себя недостающие до ещё большего сверх-совершенства части столь по-отрочески наивно, что существо это получает право на доброжелательное вмешательство *единящего Бога* — Диониса. Поэтому, тотчас после склеивания, умножается пронизательность Вано-Адо-Люсеттино вглубины космоса и Земли. Пенетрационно-линкеевы глазные способности набоковского «Высшего человека» возрастают прямо пропорционально его *усложнившейся телесности*; да и сам умудрённый Богом Набоков — точно Тиресий — уже не в силах удержаться, и не воскликнуть, прямо указав на Дионисовы чудеса: глядите, вот оно, *über*-существо доселе незнаемого «человеком» вида! О явлении «Высшего человека» сообщаем вам, близоруким, «мы, <ницшевские> писатели» — ведь как это «we, writers» Набокова¹⁴² отзывается эхом базельского, «*Wir Philologen*»! — а будущем, может стать, предстоит нам пронзительно крикнуть, взором и воплем пронизавши сократический туман: «Вот он, «Сверх-человек» — твой творец Война, — Мир!».

Позволь же нам, Боже, дожить до этого! Дай нам в дар вековые, нерушимые тела — тела гераклитовых богов!

«На самом деле вопрос, кому принадлежит приоритет смерти, вряд ли сейчас имеет какое-либо значение. Я считаю, что герой и героиня так тесно прильнут друг к другу, когда наступит ужасный час, так органически тесно, что частично сольются друг с другом, превратятся в существа нового вида, будут жадно стремиться к единению, и даже если конец Ваниады будет описан в эпилоге, мы писатели, не сможем выяснить (близорукость, близорукость), кто именно останется в живых, Дава или Вада, Анда или Ванда»¹⁴³.

* * * * *

Однако, в чём же причина повышенной пронизательности Вана, сообразной неимоверному взлёту нефтяных акций после открытия новым Александром персидских, набухших от чёрного золота скважин — их тут же и поджёт вакхант, не помня себя от счастья, инстинктивно

¹⁴² Vladimir Nabokov, *Ada or ardor: a family chronicle*, *op. cit.*, p. 584.

¹⁴³ Владимир Набоков, *Ада или страсть*, *op. cit.*, с. 552. Курсив Набокова.

выполняя свою изначальную роль подачи <огненных> сигналов Духу Святому, некогда поочерёдно рождённому Семелой и Зевсом: мол, я разведал наиотзывчивейшие зоны, где червонное сердце планеты пульсирует, в то же время сообщая моему вездесущему Богу о находке.

Инцестуальный характер связи Вана с Адой придаёт большую мощь «андрогину», теснее связывает его со Вселенной. Когда же третья частица, Люсетт, присоединяется к «андрогину» — в процессе полукровосмешения, — космос чувствует раздувшуюся мощь нового тройственного существа, а вместе с тем и укрепление собственной связи с «Высшим человеком» Набокова, и, точно по вновь обрётённой *гордеевой пуповине*, переливается в «Высшего человека» весь смысл части мира пропорционально соразмерной сложности его тела.

Отведав в юности краткого слияния с Адой-Люсетт, мысль Вана направлена по ту сторону завесы Майи, к Терре — другой половине Земли. Долог поиск. И проникает за покрывало Парок уже взор не «осколка» — Вана, но «Высшего человека», и, что самое главное для ницшевской абсорбции текста, — взор преступника! — перед законом установленным для «людей» Верховным Даймоном, который повсеместно преследует героев романа. Вот как уста пронизательного «Высшего человека» голом Ады означают создавшуюся ситуацию, её нюансы вместе со всеми опасностями исходящими от «осколков человека», чья цель присутствия на Земле состоит в расчленении высшего существа. Бойтесь шакалей хитрости «маленького человека», вы, «Высшие люди»!:

«С физической точки зрения, — продолжала она [Ада <А.Л.>], — мы с тобой скорее близнецы, чем двоюродные, а близнецам, даже просто брату с сестрой, нельзя вступать в брак, разумеется, нет, иначе им грозит тюрьма или, если они будут стоять на своём, их „выхолостят“»¹⁴⁴.

* * * * *

Некогда Ницше — на примере Зигфрида — дал одно из объяснений истоков мифа об Эдипе; оно облегчает восприятие произошедшего с трояким персонажем Набокова. Предрасположение к кровосмесительской связи — которое само по себе есть нарушение общепринятых норм слияния «осколков человека», — позволило фиванцу одолеть многоумного монстра: «... уже его [Зигфрида <А.Л.>] возникновение есть объяв-

ление войны морали — он рождается от прелюбодеяния, от кровосмешения ...»¹⁴⁵.

Если Вану удаётся заглянуть в святая святых *надземного*, то он обязан этому именно инцестуальным *ниансам* своего единения, преступлением законов «осколков человека», дозволением себе Зевсового, верховно-Божьего слияния. Ещё в *Рождении трагедии*, обратившись к персидскому сказанию, Ницше так прямо и заявит о превосходстве, коим инцест наделяет «осколков человека» с избранной судьбой. Там же философ, впервые обозначает *limes*, разделяющий сложного, — но недостаточно, ибо только двоякого, а потому потерпевшего поражение! — Сфинкса и тройственно-судебного Эдипа-победителя. *Рождение трагедии* — не что иное, как один из черновиков сказаний о мудром маге — *Заратустре*:

«Существует древнее, по преимуществу персидское, народное верование, что мудрый маг может родиться только от кровосмешения; по отношению к разрешающему загадки и вступающему в брак со своей матерью Эдипу можем мы тотчас же истолковать себе это в том смысле, что там, где пророческими и магическими силами разбиты власть настоящего и будущего, неизменный закон индивидуации и вообще чары природы, — причиной этому могла быть лишь необычайная противоестественность, так же в том персидском поверье кровосмешение; ибо чем можно было бы понудить природу выдать свои тайны, как не тем, что победоносно противостоит ей, т. е. совершает нечто неестественное? Это познание выражено, на мой взгляд, в упомянутой выше ужасающей тройственности (sic.) судеб Эдипа: тот, кто разрешил загадку природы — этого двубразного (sic.) сфинкса, — должен был нарушить и её священнейшие законоположения, как убийца своего отца и супруг своей матери»¹⁴⁶.

Эдип, познавший *сверхтайну*, получает беспредельную власть над Вселенной. Эта власть чрезмерна — невыносимо тяжка для смертного. А потому я осмеливаюсь настаивать на моём объяснении названия, данного Софоклом своей трагедии: Эдип — не простой фиванский βασιλεύς! Нет! Причина выбора Софоклом этого названия, — *знание* (οἶδα) полученное правителем Фив, а вовсе не метрическая форма слова τῆρανός более пригодная для трагедии, и не незаслуженные оскорбления, брошенные Эдипом в лицо Тиресию

¹⁴⁵ Friedrich Nietzsche, *Der Fall Wagner*, op. cit., S. 20. «... уже его [Зигфрида <А.Л.>] возникновение есть объявление войны морали — он рождается от прелюбодеяния, от кровосмешения ...»: Фридрих Ницше, *Казус Вагнер*, op. cit., перевод Н. Полилова, т. 2, с. 533.

¹⁴⁶ Фридрих Ницше, *Рождение трагедии из духа музыки*, op. cit., т. 1, с. 90.

¹⁴⁴ Владимир Набоков, *Ада или страсть*, op. cit., перевод Оксаны Кириченко, с. 147.

или Креону, а также не сложные взаимоотношения, существовавшие между Софоклом и Периклом¹⁴⁷. Благодаря своей *сверхмудрости-υβρις* Эдип превращается в *τύραννος* космоса: природы, царства Аида, Олимпа, а впридачу и – *вакханочек*-Муз, живущих в сенях божественного чертога. *Тиранния* Эдипа внезапно стала представлять угрозу миропорядку установленному Зевсом. Οἰδίπους τύραννος – *Эдип тиран* (а не *Царь Эдип*) – такое название носит первая из полностью сохранившихся трагедий Софокла, повествующая о судьбе фиванского властителя.

А обе трагедии Софокла об Эдипе – не есть ли они идеальное воспроизведение в образах биографии раскаявшегося и изгнавшего из себя демократического беса Еврипида смогшего в конце концов воспеть рождение вечно возвращающегося Дифирамба!? Ведь Дифирамб не мог не родиться, несмотря на препоны! Ревность законной супруги (и сестры!) Зевса – интригантское убийство ею матери Диониса, – и вот Бог наг и беспомощен перед Жизнью-отцом, не способен к самостоятельному симбиозу с ней. Таков и Эдип в момент разрешения верховной энигмы детективной истории, происходящей в зачумлённом городе. Истина обнаружилась. Мать – Йокаста гибнет. Тут-то и появляются на свет золотые зажимы её платья. Рrrrrраз! – и тьма окружает Эдипа¹⁴⁸!

Эти золотые зажимы фиванской царицы, землячки и родственницы Семелы (пра-правнучки её сестры), – не что иное, как червонные зажимы (χρυσέαισιν ... περόναις), некогда, согласно хору *Вакханок*, закрепившие Диониса в бедре Кронида¹⁴⁹.

После этого мы переходим к *Эдипу в Колоне* Софокла: странствия Эдипа с *дочерью-сестрой* в трагедии соответствуют вызреванию Бога в теле отца – процессу, над которым впоследствии осмелился издеваться

«нечестивец» Лукиан. А благодатная смерть Эдипа в царстве Тезея – *облегчение от бремени жизни* – не что иное, как разрешение Жизни от бремени, окончательное рождение ею Дифирамба.

«Неопровержимое предание [уж не персидское ли? <А.Л.>] утверждает, что греческая трагедия в её древнейшей форме имела своей темой исключительно страдания Диониса и что в течении довольно продолжительного времени единственный сценический герой был именно Дионис. Однако с той же степенью уверенности можно утверждать, что никогда, вплоть до Еврипида, Дионис не переставал оставаться трагическим героем, но что все знаменитые фигуры греческой сцены – Прометей, Эдип и т.д. – являются только масками этого первоначального героя – Диониса»¹⁵⁰, – считал, не без основания, Ницше.

В *Эдипе тиране* и в *Эдипе в Колоне* Софокл воплощает определённую стадию перипетий Бога – эмбрионную; или другими – набоковскими – словами, в обеих трагедиях выражается как «Эдип-Дионис» *avait ressenti les affres de sa mère*, Семелы-Зевса – Земли-Жизни.

Еврипид же, проносивший всю жизнь зародыш поклонения Дионису, разродившись им лишь под старость, исподволь добавляет, естественно под пение семитского хора, что и появился-то Эдип на свет лишь благодаря хитрости Диониса – вакхическому заговору против Аполлонова декрета¹⁵¹.

А Набоков настаивает на появлении Вана с Адой из чрева ницшевского *Рождения трагедии*, стучит писательско-боксёрским кулаком по столу, мол, обратите внимание на мой *μίμησις* ницшевского *Рождения трагедии*! Глядите как я, движимый Дионисом, возрождаю его в детях Марины Дурмановой! В самом деле, на генеалогическом дереве семейства (воплощённой «генеалогии имморали») мы видим годы жизни Марины – матери Вана с Адой: 1844 – 1900, даты, выгравированные на могильном камне Фридриха Ницше в Рёкене. А родилась Марина в поместье «Радуга»¹⁵², по-ницшеовски – *der Regenbogen*, – символе избавления

¹⁵⁰ Фридрих Ницше, *Рождение трагедии из духа музыки*, *op. cit.*, т. 1, с. 93.

¹⁵¹ См. Еврипид, *Финикиянки*, в. 21 – 22.

¹⁵² «Однако любимым поместьем Дурмановых было имение „Радуга“, располагавшееся близ городка с тем же названием уже за пределами самой Эстотиландии на полоске побережья Атлантики между элегантной Калугой в Нью-Чешире, США, и не менее элегантной Ладогой в Майне; там был у них свой загородный дом и там появилось на свет трое детей: сын, умерший юным, но знаменитым, и пара есных девочек»

¹⁴⁷ См. V. Ehrenberg, *Sophocles and Pericles*, Oxford, 1954.

¹⁴⁸ «Ἀποπάσαν γὰρ εἰμάτων χρυσηλατοῦς περόνας ἀπ' αὐτῆς, αἷσιν ἔξεστέλλετο, ἄρα ἔπεισεν ἄρθρα τῶν αὐτοῦ κύκλων ...». Sophocle, *Œdipe Roi*, v. 1268 – 1270, Paris, Belles Lettres, 1972 (1958), p. 118.

¹⁴⁹ «λοχίοις δ' αὐτίκα νιν δέ- ξατο θαλάμαις Κρονίδα Ζεῦς'· κατα μηρῷ δὲ καλύψας χρυσέαισιν συνερίδει περόνας κρυπτον ἀφ' ἧρας». Euripide, *Les Bacchantes*, v. 94 – 98, Paris, Belles Lettres, 1972 (1961), p. 246.

рода «человеческого» от рефлекса чандалей мести «осколков человека»: «Ибо да будет человек избавлен от мести — вот для меня мост, ведущий к высшей надежде, и радуга после долгих гроз.»¹⁵³

Ван рождается в 1870 — в этом бряцающем саблей году зачатия *Рождения трагедии* Фридрихом Ницше:

«Что бы ни лежало в основании этой сомнительной книги, это должен был быть вопрос первого ранга и интереса, да ещё и глубоко личный вопрос; ручательство тому — время, когда она возникла, вопреки которому она возникла, тревожное время немецко-французской войны 1870 — 1871 годов.»¹⁵⁴

А сестра и возлюбленная Вана, — как странен этот *случай!* — появляется на свет как раз в год первой лейпцигской публикации *Рождения трагедии* — 1872!

Даты смерти Вана и Ады неизвестны. Они живы вечно. Ницшеанец-Набоков *означает* сокровенное для людей его касты; кисть моя дрогнула, испрашивая тело: «а имею ли я право перенести это на бумажный лист!?». Да, сделай милость! Итак: *Трагедия возродилась, чтобы никогда более не прекращать своего существования.*¹⁵⁵

* * * * *

Познание троякого «Высшего человека» урывчато, краткосрочно, подобно *недолговечной Дионисической забаве* — виноградной лозе, чья кровь не удостоилась случаем расплескаться хмельной мудростью: его не-«Сверх-человеческая» сущность давит над ним. Однако, одним из

блезняшек.»: Владимир Набоков, *Ада или страсть*, *op. cit.*, перевод О. Кириченко, с. 14. «The Durmanous' favorite domain, however, was Raduga near the burg of that name, beyond Estotiland proper, in the Atlantic panel of the continent between elegant Kaluga, New Cheshire, U.S.A., and no less elegant Ladoga, Mayne, where they had their town house and where their three children were born: a son, who died young and famous, and a pair of difficult female twins.»: Vladimir Nabokov, *Ada or ardor: a family chronicle*, *op. cit.*, p. 4.

¹⁵³ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 71. Курсив Фридриха Ницше. Антоновский переводит *ein Regenbogen* Фридриха Ницше как *радужное небо*. Но *der Regenbogen* — означает не более чем *радуга*. Cf. Friedrich Nietzsche, *Also sprach Zarathustra*, *op. cit.*, S. 128.

¹⁵⁴ Фридрих Ницше, *Опыт самокритики*, *op. cit.*, т. 1, с. 48. Курсив Фридриха Ницше.

¹⁵⁵ О роли ницшевских дат в творчестве Набокова см. также Anatoly Livry, «Nabokov le Bacchant», *Nietzscheforschung*, Akademie Verlag, Berlin, 2009, Band 16, p. 305 — 319.

своих несовершенных членов такой «Высший человек» исхитрится нащупать вибрацию далёкой и столь желанной планеты — другой половинки Земли. Сладость этого контакта превыше любого оргазма, удовольствие причиняемое им превосходит наслаждения даруемые любым наркотиком, и вот, Ван Вин уже не в силах оторваться от поиска, прильнувши к познанию жадными устами, точно истомлённый жаждой Силен, — как всё это отлично от потного сократического усилия кряжистого мула-«учёного»! Некогда Набоков опишет процесс другого над-«Высше-человеческого» познания, перманентного слияния со сверх-чувственной матрицей космоса — сверх-далёкой Землёй, *Ultime Thule*, и можно будет воочию убедиться как по широченному каналу, от Бога, переливается таинственнейший Дионисов генофонд существу, вобравшему в себя неисчислимое количество частей благодаря над-«человеческому» вакхическому единению.

Срок, на который Ван Вин вырывается из кольца прямо пропорционален времени его удавшегося ранее и уже упомянутого на страницах этой книги слияния с двумя «осколками человека» — Адой и Люсетт¹⁵⁶. И всё-таки, как ни кратко это единение, Ван выносит из него способность к сверхпознанию — к «Семелологии», изучению Терры — так в романе названа *Ultima Thule*, кою Набоков, преследовал, хоть и не вполне успешно, — всю жизнь. Однажды, в конце тридцатых годов, Набоков окажется в географическом центре постэллинского мира. Момент этот будет соответствовать также середине жизненного пути Набокова. Почти идеальное, доступное «человеку» равновесие, случайно завоёванные совершенные условия для творчества, разреженный воздух Европы, замершей после пролёта над ней Диониса, но уже ужаснувшейся в предчувствии и осознании того, что обычно происходит с ней после смертоносного контакта с Богом, — всё это подвигает Набокова на создание образа «Сверх-человека».

¹⁵⁶ «Ван попытался подняться. Обе девочки принялись поочерёдно целовать его, потом друг дружку, и снова принимались за него, — Ада подозрительно молча, а Люсетт тихонько вскрикивая от восторга. (...) Ада, полоща своей шелковистой гривой по соскам и пупку Вана, казалось, с наслаждением делает всё, чтобы сейчас дрогнуло в моей руке перо, а в тот до смешного далёкий момент — чтоб её маленькая бесхитростная сестричка заметила и приняла к сведению то, с чем Ван совладать уже не мог. Двадцать весёлых, щекоцущих пальчиков теперь зажимали смятый цветок под резиновый пояс его чёрных плавок. В качестве украшения — мало приглядно; как игра — неуместно и опасно. Стряхнув с себя своих очаровательных мучительниц, Ван удалился от них на руках: чёрная маска на длинном карнавальном носу. И как раз в этот момент на сцене появилась гувернантка, тяжело дыша и выкрикивая:

— *Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, ton cousin?*»: Владимир Набоков, *Ада или страсть*, *op. cit.*, Перевод Оксаны Кириченко, с. 199 — 200.

Часть первая

РЕКОНКИСТА ТЕЛА

«Птичка „встрепенулась и поёт” потому, что её связывает „естественный договор” с Богом — честь, о которой не смеет мечтать самый гениальный поэт ...»

Осип Э. Мандельштам

Набоков, описавший немало «осколков человека», ищущих и не ищущих возможности воссоединения, не прошёл и мимо образа персонажа, которого назову я «Сверх-человеком» поневоле, — того, кто благодаря принадлежности к «доброй касте», благодаря усердно скрываемой гениальности и неразбазаренной попусту мощи, а самое главное — благодаря Дионисическому, сверх-случайному императиву, однажды внезапно превратился в сверхсущество. Им является Адам Фальтер из *Ultima Thule* — самого таинственного произведения Набокова. И, заявляю без ложной скромности, — я проник за завесу тайны этого текста!

Но оставим ненадолго бабочку-Фальтера кружить над «Адамой» в провансальской ночи и обратимся к тому, кого наш нищееанец-Набоков изображает для контраста, в *Ultima Thule*, рядом со своим «Сверх-человеком», а именно — художника Синеусова, — одного из потомков млавочисленных частей разорванных некогда андрогинов.

Ценность этого персонажа состоит именно в том, что его существование подчёркивает различие между состоянием «осколка человека» и описанного выше троякого «Высшего человека»: «осколок»-художник из *Ultima Thule* жаждет заполучить имажинативную «тройственную телесность»! — максимальную форму усложнения, на которую способен человекообразный без Божественной поддержки. Безымянная «жена» Синеусова была создана для него (также как прежде Зина Мерц для Фёдора), предрасположена к слиянию с ним; по *стиранию* «жены» с

поверхности планеты, остаётся рядом с Синеусовым дыра, куда неумолимо затягивается сам художник:

«Милая твоя голова, ручёк виска, незабудочная серость косящего на поцелуй глаза, тихое выражение ушей, когда поднимала волосы, как мне примириться с исчезновением, с этой дырой в жизни, куда теперь всё осыпается, скользит, вся моя жизнь, мокрый гравий, предметы привычки ... и какая могильная ограда может помешать мне тихо и сытно повалиться в эту пропасть.»¹⁵⁷

Знакомство с Синеусовым начинается в момент его беседы со своей мёртвой женой. «Диалог» этот, — поскольку персонаж обращается к отколотой от него части, — превращается, скорее, во внутренний монолог, по мере развития коего становится известно, что умерла жена художника при родах, сиречь — при изъятии из неё третьей части. Перун Зевеса прошёлся по телу, грозящему единением точно, и опасный для Олимпа «осколок» андрогина запрыгал — чуть ли не на одной ножке!

Ср. *Пир* Платона: «А если они [«человеки» <А.Л.>] и после этого не уgomонятся и начнут буйствовать, я, сказал он [Зевс <А.Л.>], рассеку их пополам снова, и они запрыгают у меня на одной ножке.»¹⁵⁸

Ср. с тем, как в *Ultima Thule* художник, уже «один», по спиралевидной тропинке, пробирается меж тирсов — «сосен», и матерей Пенфея — «Агав», этих обломков прежней, Дионисической надежды на великое. А всецело подвластная Зевсу Вселенная чурается опального во избежание опалы — *заболевания*. Для физиолога «Сверх-человека» (специальности, которую самое время освоить) показания Синеусова драгоценны:

«Помнишь, как тотчас после твоей смерти я выбежал из санатория и не шёл, а как-то притоптывал и даже пританцовывал (прищемил не палец, а жизнь), один на той витой дороге между чрезвычайно чешуйчатых сосен и колючих шитов агав, в зелёном забронированном мире, тихонько подтягивавшем ноги, чтобы от меня не заразиться.»¹⁵⁹ — частенько, выходит, Набоков перечитывал Платона!

¹⁵⁷ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 439.

¹⁵⁸ Платон, *Пир*, 190 d, *op. cit.*, т. 2, с. 117.

¹⁵⁹ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 439 — 440.

Синеусовская страсть к имажинативному единению мощна настолько, что он, «красноносый», но не хмельной, жаждет воссоздать обе утраченные «человеческие» части — *вытянуть* ребёнка, только не из мёртвого тела жены, но выцарапать его из-под эпидермы Земли:

«А как мне хотелось, сообщил красноносый вдовец стенам, иметь от неё ребёнка. Êtes-vous tout à fait certain, docteur, que la science ne connaît pas de ces cas exceptionnels où l'enfant naît dans la tombe? И сон, который я видел: будто этот чесночный доктор (он же не то Фальтер, не то Александр Васильевич) необыкновенно охотно отвечал, что да, как же, это бывает, и таких (то есть посмертно рождённых) зовут трупсиками.»¹⁶⁰.

Термин «имажинативное единение» — необходим для оттенения художнической страсти к *μίμησις*’у, подменяющей желание к подлинному слиянию; «имажинативное единение» — страсть, утягивающая подражателя на обочину презируемого им *corps réel*. Действительно, какое телесное единение возможно с новорождённым? Хотя республиканские солдаты, хоть марзиза де Сада вряд ли читывали, пользовались в Вандее штыками дабы расширять отверстия для слияния, естественно через сталь, с младенцами.

Осмелюсь предположить, что истинным-то предметом страсти — боли, ненависти, зависти, восхищения — нашего вдовца является не «жена» с «трупсиком», но настоящая виновница разъединения — Земля, подлинная Семела. «Жена» же художника — не что иное, как копия кадмовой дочери, Семела в миниатюре, рядом с которой в нужный момент *случайно*, не оказалось широкобедрого Зевса. К ней обращается Синеусов как к «ангелу» — этому андрогину *κατ’ἑξοχήν*, образ которого разрабатывался Набоковым со времени его первых санкт-морицевых, послевоенных полётов над Землей — *μίμησις*’а Дионисовых траекторий, предвестниц мировых боен. Воспроизводит Синеусов призыв к утраченному «осколкам» трижды, точно заклиная возвратить себе отнятые у него Зевсом части:

«Ангел мой, ангел мой, может быть, и всё наше земное ныне кажется тебе каламбуром, вроде „ветчины и вечности“ (помнишь?), а настоящий смысл сущего, этой пронзительной фразы, очищенной от странных, сонных, маскарадных толкований, теперь звучит

*так чисто и сладко, что тебе, ангел, смешно, как это мы могли сон принимать всерьёз (мы-то, впрочем, с тобой догадывались, почему всё рассыпается от прикосновения исподтишка: слова, житейские правила, системы, личности, — так что, знаешь, я думаю, что смех это какая-то потерянная в мире случайная обезьянка истины)»*¹⁶¹.

Оставим же ещё ненадолго в покое самого Фальтера, и приглядимся попристальнее к Синеусову да прислушаемся к тому, что происходит внутри «осколка человека».

По мере развития действия *Ultima Thule* чуткое ухо ницшеанца внешне принимается распознавать перманентное использование Синеусовым ницшевских формул. Речь идёт не о нескольких фразах персидского пророка! Нет! Все рассуждения художника, от первой до последней страницы *Ultima Thule* — есть парафразы произведений Ницше, но парафразы столь удачно вплетённые в текст, что создаётся впечатление, будто эти *ницшеизмы* были впитаны и переработаны в мозгу сорокалетнего Набокова, загнаны им в *Ultima Thule* с усердием и азартом доброго шопенгауэровского выжлятника.

Начнём хотя бы с первого внутреннего монолога художника:

«Если ты не помнишь, то я за тебя помню: память о тебе может сойти, хотя бы грамматически, за твою память и ради краешнего слова вполне могу допустить, что если после твоей смерти я и мир ещё существуем, то лишь благодаря тому, что ты мир и меня вспоминаешь.»¹⁶².

Так, уже частично сгнившая часть Синеусова становится неким заместителем солнца из «Предисловия» ницшевской поэмы, когда Заратустра по-шопенгауэровски обращается к встающему *для него* «посреднику» между ним и космосом — к Митре¹⁶³:

«Великое светило! К чему свелось бы твоё счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь!

¹⁶¹ Ibid., с. 441 — 442.

¹⁶² Ibid., с. 438.

¹⁶³ О роли Митры в европейской литературе XIX-XX веков см. Anatoly Livry, «Claudel contra Nietzsche ou l'Ultime tentative de Mithra», Walter de Gruyter Verlag, Berlin — New York, 2009, p. 135 — 150, а также Anatoly Livry, «Tête d'Or et Hélios Roi, la rupture du Cercle de l'Eternel Retour», *Bulletin Guillaume Budé, l'Association d'Hellénistes et de Latinistes français*, Paris, 2008 — 2, p. 167 — 193.

¹⁶⁰ Ibid., с. 440.

В течении десяти лет подымалось ты к моей пещере: ты пресытилось бы своим светом и этой дорогою, если б не было меня, моего орла и моей змеи.

Но мы каждое утро поджидали тебя, принимали от тебя преизбыток твой и благославляли тебя.»¹⁶⁴

Идентичное обращение к ангелу завершает, кстати, *Ultima Thule* («Но всё это не приближает меня к тебе, мой ангел.»¹⁶⁵), образуя тем самым кольцо, — запирающее в него, да, опять же запирающее, но всё-таки не одаривающее сверх-мудростью «осколка человека», так и не сумевшего вымолить её у Фальтера. А кольцообразность *Ultima Thule* необходима ницшеанцу Набокову для $\mu\iota\mu\eta\sigma\iota\varsigma$ 'а кольцообразной структуры *Заратустры*: «Знамение» — заключительная глава поэмы также начинается восходом солнца и повторением властного обращения к *своему* светилу:

«Но поутру, после этой ночи, вскочил Заратустра с ложа своего, опоясал чресла свои и вышел из пещеры своей, сияющий и сильный, как утреннее солнце, подымающееся из-за тёмных гор.

„Великое светило, — сказал он, как некогда говорил он, — ты, глубокое око счастья, к чему свелось бы счастье твоё, если бы не было у тебя тех, кому ты светишь!..»¹⁶⁶

Заратустра переполнился «солнцем», его лучезарной мудростью, которую некогда также успел, но ненадолго, заполучить у «Гелиоса-царя» предтеча Тэна, Юлиан. Но по окончании приведённого выше приветствия, возвращается перс уже не в пещеру, — как ему приходилось поступать ранее (дабы быть поднятым там насмех непостоянными и прикованными цепями зрителями-рабами платоновского театра теней), — Заратустра покидает несовершенного «Высшего человека». Только вот, куда и к кому уходит перс?

Пояс же Заратустры, наложенный им чуть ниже живота своего — это Дионисова корона-змея, обвившаяся кольцом вокруг того места «человеческого» туловища, где, у пророков и бойцов собирается в кулак

жаркое дыхание. И Заратустра может окольцевать себя. Постепенно, в течении восьмидесяти глав, *вернулся* он к своему утру, которое в свою очередь — предтеча великого полдня, вбирающего осчастливленного перса: по мере того, как развивалось действие поэмы, часовая стрелка отступала. Ибо если «Предисловие Заратустры» начинается одновременно с утренней зарёй, то вторая часть начинается ночью, задолго до захода солнца:

«Но в одно утро проснулся он [Заратустра <А.Л.>] ещё задолго до зари, долго припоминал что-то, сидя на своём ложе, и наконец заговорил в своём сердце: „Что же так напугало меня во сне, что я проснулся?..»¹⁶⁷

Третья часть — ровно в полночь:

«Была полночь, когда Заратустра пустился в свой путь через горный хребет острова, чтобы ранним утром достичь противоположного берега: ибо там хотел он сесть на корабль.»¹⁶⁸

А заключительная, четвёртая — безоблачным днём, чтобы, уже медовокровый Заратустра, смог разглядеть далёкое море, лёжа на своей горной вершине в «лазорево озеро счастья» (уж не Сильвапланой ли называется это *himmelblauen See von Glück?*):

«И снова бежали месяцы и годы над душой Заратустры, и он не замечал их; но волосы его побелели. Однажды, когда он сидел на камне перед пещерой своей и молча смотрел вдаль — ибо отсюда далеко было видно море поверх вздымавшихся пучин, — звери его задумчиво ходили вокруг него и наконец остановились перед ним»¹⁶⁹.

Круг замкнут.

Цикличность *Ultima Thule* показывает как Набоков любил водить за нос «литературоведов». *Ultima Thule* — вовсе не глава из какого-то незаконченного романа¹⁷⁰, а цельное, классическое, «по-эллински» задуманное и сработанное произведение. Что же касается объявленного

¹⁶⁷ *Ibid.*, с. 58.

¹⁶⁸ *Ibid.*, с. 108.

¹⁶⁹ *Ibid.*, с. 170.

¹⁷⁰ См. заявления Владимира Набокова; а также Олег Дарк, *Примечания* in. Владимир Набоков, *op. cit.*, т. 4, с. 476.

¹⁶⁴ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 6.

¹⁶⁵ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 462.

¹⁶⁶ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 235. Курсив Фридриха Ницше.

и воспроизведённого «многоточия», завершающего *Ultima Thule*, то это ни что иное, как ещё одна ипостась кольца, из которого, когда-нибудь предстоит вырваться человекообразному, если позволит ему то тёмный, как Гераклит, Λυαῖος.

Принявши решение о кольцеобразной структуре *Ultima Thule*, ницшеанец Набоков берётся за монолог Синеусова. Произведение Набокова ницшеанское, следовательно, почему бы не начаться ему с истоков ницшевского творчества, а именно, парафразом первого крупного труда Ницше – с *Рождения трагедии*.

Ср. у Набокова в *Ultima Thule*:

«... и как же ничтожны перед ним [Фальтером <А.Л.>] все прозорливцы прошлого: пыль, оставляемая стадом на вечерней заре, сон во сне (когда снится, что проснулся) ...»¹⁷¹.

Ср. у Ницше в *Рождении трагедии*:

«Если мы представим себе грезящего, как он среди иллюзии мира грёз, не нарушая их, обращается к себе с увещанием: „Ведь это сон; что ж, буду грезить дальше“ ...»¹⁷².

Ну хорошо, хорошо, согласен! Пусть *Рождение трагедии* юношеская самонадеянная книга, пусть «неуклюжая, пересахаренная до женственности и, даже, в какой-то степени, логически неопытная»¹⁷³, – эдакая Лолита, зачатая в Галлии, под стенами Меца. А потому, оставим её и вернёмся-ка к самому главному в творчестве ницшеанца Набокова – <вос>созданию наисложнейшего по своей структуре сверхсущества. Об этом, ещё задолго до 1939 года (когда было поставлено заключительное многоочие *Ultima Thule*) Набоков писал в *Машеньке*, – о чём я уже упоминал выше¹⁷⁴.

¹⁷¹ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 439.

¹⁷² Фридрих Ницше, *Рождение трагедии из духа музыки*, *op. cit.*, т. 1, с. 68.

¹⁷³ См. Фридрих Ницше, *Опыт самокритики, Рождение трагедии из духа музыки*, *op. cit.*, т. 1, с. 50.

¹⁷⁴ «Где теперь это счастье и солнце, эти рюхи, которые так славно звякали и скакали, мой велосипед с низким рулём и большой передачей?.. По какому-то там закону ничто не теряется, материю истребить нельзя, значит, где-то существуют и по сей час цепки от моих рюх и спицы от велосипеда. Да вот беда в том, что не соберёшь их опять, – никогда. Я читал о „вечном возвращении“...»: Владимир Набоков, *Машенька*, *op. cit.*, т. 1, с. 59.

И именно там, где одна из частей Синеусова вытягивала свои «золотые ноги» (лидийско-мидасовые, сверх-пушкинские ножки, сиречь из страны, откуда началась Дионисова экспансия¹⁷⁵; цвет ножек столь любимый Набоковым, ибо «золотые» они у обоих Лид, и *Подвига*¹⁷⁶, и *Отчаяния*¹⁷⁷. Последняя прячет ноги под розовыми чулками – *тёзками* чеховской Лиды Сомовой, своим почерком предвосхитившей название набоковского романа¹⁷⁸), видит Синеусов целую коллекцию, – самую большую в набоковском творчестве! – разорванных частей. Вот оно художническое воспроизведение внутреннего коньячно-пивного монолога «Ганина»:

«Днём же, напротив, я был смел, я вызывал тебя на любое проявление отзывчивости, пока сидел на камушках пляжа, где когда-то вытягивались твои золотые ноги, – и как тогда волна прибегала, запыхавшись, но, так как её нечего было сообщить, рассыпалась в извинениях. Камни, как кукушкины яйца, кусок черепицы в виде пистолетной обоймы, осколок топазного стекла, что-то вроде мочального хвоста, совершенно сухое, мои слёзы, микроскопическая бусинка, коробочка из-под папирос, с желтобородым матросом в середине спасительного круга, камень, похожий на ступню помпеянца, чья-то косточка или шпатель, жестянка из-под керосина, осколок стекла гранатового, ореховая скорлупа, безотносительная ржавка, форфоровый иверень ...»¹⁷⁹.

И тут же, сделавши *quasi*-гомеровский перечень, Набоков задаётся исконно ницшевскими вопросами – куда же всё-таки подевались недостающие части? А самое главное – что же собственно произойдёт, если вдруг снова составить, воссоздать разъятую на части вещь? И, самое главное – тут мы позволим себе взять быка за золочёные рога: у кого позаимствовать клей?! Вперёд-забегающая-мысль Набокова это подлинный

¹⁷⁵ См. Еврипид, *Вакханки*, v. 13 и проч.

¹⁷⁶ «Он [Мартын <А.Л.>] подумал о завтрашнем пикнике, о залитых ровным, рыже-золотым загаром Лидиных ногах ...»: Владимир Набоков, *Подвиг*, *op. cit.*, т. 2, с. 164.

¹⁷⁷ «... она [Лиды <А.Л.>] выходила из воды, ноги у неё делались волосатыми, но потом высыхали и только слегка золотились.»: Владимир Набоков, *Отчаяние*, *op. cit.*, т. 3, с. 335.

¹⁷⁸ «Это не почерк, а отчаяние!»: А. П. Чехов, *Розовый чулок* в *Собрании Сочинений* в двенадцати томах, Москва, 1985, т. 5, с. 297.

¹⁷⁹ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 440 – 441.

стон всё-понявшего нищезанца — жажда сверх-редчайшего лотерейного билета (случайность выигрыша — одна сотая часть процента!), поиск энгадинского табачного ларька, где можно его приобрести:

«... и где-то ведь непременно должны быть остальные, дополнительные к нему части, и я воображал вечную муку, каторжное задание, которое служило бы лучшим наказанием таким, как я, при жизни слишком далеко забежавшим мыслью, а именно: найти и собрать все эти части, чтобы составить опять тот соусник, ту супницу, — горбатые блуждания по дико туманным побережьям, а ведь если страшно повезёт, то можно в первое же, а не триллионное утро целиком восстановить посудину — и вот он, этот наимучительнейший вопрос везения, лотерейного счастья, — того, самого билета, без которого может быть не даётся благополучия в вечности.»¹⁸⁰.

И последнее, на что несомненно стоит указать, представляя Синеусова и раскланиваясь с ним — это его «*unter-Фальтерова*» созидательность. Синеусов художник, — и, как я уже отметил, художник нищезанский, знающий, например, что «*смех — это* <пусть даже потерянная в мире, но конечно же — *случайная* (sic.)> обезьянка истины»¹⁸¹; художник, уверенно, с нищевско-шопенгауэровской гордостью заявляет о себе, как о *дилетанте*¹⁸², и, наиглавнейшее — он в своём дилетантизме схож с Фальтером. Верно замечено: смердящему пропотевшему «профессионалу» сверх-истина не откроется, ему к ней даже и не подступиться —

¹⁸⁰ *Ibid.*, с. 441. Курсив Набокова.

¹⁸¹ *Ibid.*, с. 442.

¹⁸² «Дилетанты, дилетанты! — так пренебрежительно называют тех кто занимается наукой или искусством из любви к ним, из-за доставляемой ими радости, *per il loro diletto*, — называют те, кто отдал себя им ради выгоды, так как этим людям *diletto* [удовольствие (итал.) <А.Л. >] доставляют только деньги, которые наука и искусство могут им принести. Это пренебрежительное отношение основывается на низком убеждении, что никто не станет серьёзно заниматься каким-нибудь делом, если его не побуждает к тому нужда, голод или ещё какой-нибудь вид животной жадности. Публика — детище того же духа, и потому она того же мнения; отсюда её непоколебимое уважение перед «людьми специальности» и её недоверие к дилетантам. В действительности же для дилетанта дело является целью, а для специалиста, как такового, только средством. Но только тот и занимается делом вполне серьёзно, кому оно важно непосредственно, кто занимается им из любви к нему, *con amore*. От таких людей, а не от наёмников всегда исходило всё наиболее значительное.»: Артур Шопенгауэр, *Paralipomena* в Сочинениях в шести томах, Москва, Перевод с немецкого А. Чанышева, 2001, т. 5, с. 373. См. также Анатолий Ливри, *Набоков нищезанец*, СПб, Алетейя, 2005, 239 с.

пройдёт мимо, так ничего и не увидев: «... *ибо по своей человеческой сути мы делимся на профессионалов и любителей*, — *Фальтер*, как и я [Синеусов <А.Л.>], *был любитель...*»¹⁸³, но не «человек».

И вот Синеусов принимается за своё дело, подступая к оному, подобно пушкинскому Моцарту как не-профессионал, и уже вовсе не надеясь получить в качестве гонорара «иностранные деньги» — драхмы иной северной Эллады, вроде Винланда, или ещё какой датской территории¹⁸⁴. Именно процесс *бескорыстного*, в буквальном смысле слова дилетантского, влюблённого в своё дело созидания, и приближало Синеусова-артиста к его утраченным частям, истинной, но недостижимой цели этого «осколка человека»:

«Но когда ты умерла, когда ранние утра и поздние вечера стали особенно невыносимы, я с жалкой болезненной охотой, сознание которой вызывало у меня самого слёзы, продолжал работу, за которой, я знал, никто не придёт, но именно потому она мне казалась кстати, — её призрачная беспредметная природа, отсутствие цели и вознаграждения, вводила меня в родственную область с той, в которой для меня пребываешь ты, моя призрачная цель (sic.), моё милое, моё такое милое земное творение, за которым никто никогда не придёт ...»¹⁸⁵.

Цель творчества артиста — наилучшее уподобление божественному Зевсису; чем вернее *μίμῃσις* — тем более совершенен он как созидатель¹⁸⁶, а потому — горе «современным» малярам-кубистам и их последователям-бесформенникам да разбрызгивателям краски по холстам! Если же их, как Поллока, ведёт Божественная ошуйца, то происходит это с единственной целью — издевается над «человеком» Бог, как некогда над Пенфеем, отказавшимся прислушаться к старцам. Но

¹⁸³ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 445.

¹⁸⁴ «Ты помнишь, не правда ли, этого странного шведа или датчанина, или исландца, чёт его знает, словом этого длинного, оранжево-загорелого блондина с ресницами старой лошади, который рекомендовался мне „известным писателем“ и заказал мне за гонорар, обрадовавший тебя (ты уже не вставала с постели и не могла говорить, но писала мне цветным мелком на грифельной дощечке смешные вещи вроде того, что больше всего в жизни ты любишь „стихи, полевые цветы и иностранные деньги“), заказал мне, говорю я, серию иллюстраций к поэме Ultima Thule, которую он на своём языке только что написал.»: *Ibid.*, с. 449.

¹⁸⁵ *Ibid.*, с. 450.

¹⁸⁶ *Περὶ ποιητικῆς*, XXXVI, 3.

чтобы подражать природе, артисту сначала необходимо потратить десятилетия на изучение её повадок, изловить, эту, как говаривал один *Vor-Aristotiker*, любительницу спрятаться.

Вместе с тем, уж слишком ограничен артист: художник — красками, скульптор — гранитом. Материя налагает рамки, сдерживает прыщущую эякуляцию созидания. Не на то ли некогда жаловался Фидий — этот владелец *очарованного резца* — словами битинийского Златоуста¹⁸⁷? Сверхтворцу же требуется пространство безграничное. Его творение не должно сдерживать ни один рубеж, ни одна тюремная решётка, ни один запрет «моралинового» полиция. Таким беспредельным искусством — и со мной несомненно согласится, сидя сейчас в Радамантовых, пахнущих лавром да наливающейся энгадийской мускусной лозой, кущах, автор трактата *О возвышенном*¹⁸⁸ — является искусство слова. Неприменные условия — надо *хорошо* для этого родиться, впитать ёмкое наследие немногочисленных поэтов, самому расчленив и заново, на свой лад, вымерить ритм, и пуститься в беспредельный, архилохо-пиндаровый смертоносный для олухов «учёного» охлоса *пирриховый* пляс. Пусть твой вихрь увлекает тебя и вперёд и в стороны и, при случае, под землю. Не бойся, поэт!

Но самое главное — даже если ты и не принимаешь предназначенный тебе Мойрами сверх-дар, отталкиваешь его, *случайного*, неприкаянного с капризной гримасой ленивца, называешь его *напрасным*, зарываешься от него в комфорт да лицом в женскую юбку или забираешься под неё, — всё равно он настигнет тебя казацкой дланью, опутает сетью. Недаром боги ломали головы над твоей формой, недаром бандит-Прометей с титанической печенкой неумеренного любителя Дионисового зелья крал для тебя огонь у рогоносца-инвалида. А потому, нет у тебя выбора. Слово, твоё *сверх-слово*, всюду настигнет тебя.

Именно так метящий в бюргеры Фальтер становится, и вдруг, единственным «Сверх-человеком» творчества Набокова. Поэтому он, в продолжении *Ultima Thule* будет выкручиваться, ускользать от неловких объятий художника, пока обезумевший от горя Синеусов жаждет заключить в них самого Фальтера с его тайной, смертоносной для чандал пост-сократического мира.

Оставим же его наконец и от «осколка человека» перейдём к «Сверх-человеку» — Фальтеру.

Первое удивление ницшеведа прошло, и он, всё ещё поражённый количеством подлинных или же немного переиначенных цитат первоисточника (как это прежде выделявали «писатели-хулиганы» вроде Лукиана, Плутарха, Лонгуса, или того же ритора Иисуса с его противоречивыми скрибами), задаётся вопросом — зачем же Набоков доходит до того, чтобы придать Адаму Фальтеру внешние черты Фридриха Ницше? Однако, какова бы ни была причина того, Набоков делает это. А потому, оставим в покое венско-сновиденческие загадки и обратимся к описанию внешности юного Фальтера, ещё в те времена, когда будущий богачей вынужден был зарабатывать себе на жизнь репетиторством. В набоковском описании находим мы и большой белый нос, и лаковый пробор вкупе с неутраченной «жилистостью»¹⁸⁹ — одним словом всё то, что Набоков мог видеть на одной из знаменитых фотографий каноника Ницше с обнажённой саблей в руке¹⁹⁰.

Но Фальтер-Ницше Владимира Набокова изначально избирает осторожность. Ему вовсе не хочется судьбы Фридриха Ницше — быть разорванным взрывоопасной селитровой истиной, — ведь можно планировать стать филологом, автором занимательных книг *хох-модерн* о Дионисе и его боевом тирсе (разгневавши при этом, конечно же в рекламных целях, благополучно потом состарившихся и многознающих функционеров эллинистики «поразумнее»), можно желать, — почему бы и нет? — стать самым молодым профессором Университета, чтобы впоследствии свысока поглядывать на пожилых соискателей докторской степени¹⁹¹. Но ни в коем случае невозможно предвидеть Дионисической метаморфозы! Из «человека» — в динамит! Тем паче, что всё происходит, вроде бы, без всякого насильственного вмешательства со стороны: особи, становящейся «Сверх-человеком» кажется, что она соответствует нормам сообщества «чандаловеков», что они способны вынести её смертоносный для них гений. Но необратимые процессы протикают, подготавливая сверхсущество к вихрю сверхмудрости, который в любой момент подхватывает соискателя-наичутчайшего-знания-*malgré-lui*. Так проходит первая стадия — вбирания в себя духа планеты.

¹⁸⁹ См. Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 441.

¹⁹⁰ Снята к 24 годам Фридриха Ницше, в августе 1868. GSA 101 / 9.

¹⁹¹ См. К. А. Свасьян, *Фридрих Ницше: мученик познания* в Фридрих Ницше, *op. cit.*, т. 1, с. 6.

¹⁸⁷ Дюн Хризостом, *Двенадцатая Олимпийская речь*, 25 — 26.

¹⁸⁸ *Περὶ τοῦ ὑψηλοῦ*, XXXVI, 3 — 4.

После наступает второй этап — взрыв Дионисического динамита. Это невыносимо человекообразному, у которого из памяти не истёрлось ещё *человеколюбие* — пыльный закут у батареи, где, подражая эмбриону, можно свернуться кольцеобразно, — необходимо отказаться от земных благ: семьи, карьеры, благополучия. Должно превратиться в изгоя, от которого, в припадке ужаса шарахаются бывшие коллеги эллинисты, отравившие уже брюшко немалых размеров, и напечатавшие целый ворох никому, даже Дьяволу, не нужных книжек, и, конечно же, ни на йоту не отклоняющихся от генеральной линии «современников». Уверен, что Фридриху Ницше надо было немало выстрадать, дабы *принять* факт того, что «Сверх-человеческий» дар обрушился на него, как сеть, которую некогда ревнивый пролетарий-олимпиец накинуд на Ареса и свою неверную жёнушку. Ницше должен был ощущать, как этот сверх-дар осфинксовал его, водит его пером, или же уносит его к горной вершине вслед за вечно-юным Божеством, недавно снова нелегально вернувшимся в Европу — этот континент, чья граница теряется не в Рифейских скалах, и не в Московии, где насаждали свою власть отпрыски королей германских; рубеж Европы и Азии трепещет натянутой тетивой недалеко от города, где некогда воцарился наивосточнейший из французских принцев — в Кракове. А потому, если Ницше, пишущий два первых крупных труда, ещё скован цепями университетских условностей — хоть и чувствуется, что кандалы филологу не по нраву, — по прошествии некоторого времени Ницше уже воспринимает как должное факт своей сверх-избранности. Положение провинившегося титана-мученика перед старым ревнивым отцеубийцей ему более не по вкусу. Стены темниц обрушиваются. Оковы падают. Искорёженные кольца разлетаются. Появляется письменное прощание с «человекообразными» — *Человеческое, слишком человеческое* и возрождённая древняя *La gaya scienza* — аппенинская пощёчина определённому наследию Сократа воплощённому в современном подёнщике-«учёном». После чего Фридриху Ницше понадобится ещё немалый срок, чтобы вновь созданное существо смогло соразмерить движения обрётённого тела с ритмом Дионисического танца (и обрывки цепей, подражая звону тетивы аполлонова лука, звеня, отбивают такт), приучиться слушать и наловчиться предчувствовать его разрывы, останавливаться, переводить дыхание и снова пускаться в пляс — пером по белому листу. Приручить вихрь! Но до этой второй, взрывной стадии надо ещё дожить. Только в 1883 году будет напечатана первая часть *Так говорил Заратустра* — поэмы, сочинённой тем,

кто уже навсегда отказался от надежды снова упроститься до уровня «осколка человека», а значит — и отрёкся от «человеческой» судьбы ради состояния перманентного оргазма, в котором, как в горном озере счастья, плещется созидатель, и за который *quasi*-молниеносно приходится расплачиваться окончательным разрывом со всем земным — третьей стадией метаморфозы, — постепенным расставанием с миром. В этом признаётся Ницше через несколько лет устами перса:

«„О Заратустра, — сказали они, — не высматриваешь ли ты счастья своего?“ — „Что мне до счастья! — отвечал он. — Я давно уже не стремлюсь к счастью, я стремлюсь к своему делу“. — „О Заратустра, — снова заговорили звери, — это говоришь ты, как тот, кто пресыщен добром. Разве не лежишь ты в лазоревом озере счастья?“ — „Плуты, — отвечал Заратустра, улыбаясь, — как удачно выбрали вы сравнение!“»¹⁹².

Вернёмся же теперь в начало *Ultima Thule*, где описывается первая стадия — становление волевой машины, способной противиться ниагарской струе Дионисического потока, изливающегося внутрь ещё-«человека». Ницшеанец Набоков понимает это: именно таким механизмом является его юный, ещё-*Menschliches-Allzumenschliches* создание — Фальтер-Ницше:

«Адам Фальтер тогда был ещё наш, и если ничто в нём не предвещало — как это сказать? — скажу: прозрения, — зато весь его сильный склад (не хрящи, а подшипники, карамбольная связность телодвижений, точность, орлиный холод) теперь, задним числом, объясняет то, что он выжил: было из чего вычитать»¹⁹³.

В до-динамитной жизни Фальтера присутствовали все элементы ницшевской судьбы, например, когда «... он сидел в окне ...»¹⁹⁴ (готовясь тотально жить «со взведённым курком»¹⁹⁵ — *il vivere risotulamente*), и в фальтеровом мозгу зарождается некое подобие *Рождения трагедии*, ненаписанное им, но всё-таки пережитое, а потому неминуемо приведшее к более позднему взрыву.

¹⁹² Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 170.

¹⁹³ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 439.

¹⁹⁴ *Ibid.*, с. 443.

¹⁹⁵ *Ibid.*

Ср. у Ницше: «Что бы ни лежало в основании этой сомнительной книги, это должен был быть вопрос первого ранга и интереса, да ещё и глубоко личный вопрос; ручательство тому — время, когда она возникла, вопреки которому она возникла, тревожное время немецко-французской войны 1870–1871 годов.»¹⁹⁶

Но главное, что выделяет Набоков в своём персонаже — это отличительная ницшевская и ницшеановская характеристика Фальтера, значащая более физической мощи — его воля.

Воля эта поначалу используется Фальтером для достижения финансового благополучия: в подражание Фридриху Ницше, тратившему свою драгоценнейшую духовную взрывчатку на подготовку лекций базельскими студентам, — и вскоре поплатившемуся за метание бисера перед «осколками человека»¹⁹⁷. Позже я посвящу несколько страниц изучению реакции «чандаловека» на появление нарождающегося сверх-существа, и объясню генеалогию мгновенно возникающей и необоримой жажды массы «осколков человека» физического уничтожения этого отличного создания, не располагающего, к сожалению, химическим оружием для молниеносного паралича врагов. Не отсюда ли у Набокова восхищение способностями иной сверх-мощной бабочки¹⁹⁸, обездвиживающей «муравьёв-пролетариев»¹⁹⁹ на время своей метаморфозы.

Фальтер, как и Ницше, достигает материального благополучия, стабильности, дающей возможность тратить не считая — беспредел тела, необходимый для развития духа:

«Он [Фальтер <А.Л.>] поцеловал твою ручку, не наклоняя головы, и благожелательно засуетясь, явно наслаждаясь тем, что

¹⁹⁶ Фридрих Ницше, *Опыт самокритики* в Сочинениях в двух томах, *op. cit.*, т. 1, с. 48. Курсив Фридриха Ницше.

¹⁹⁷ См. К. А. Свасьян, *Фридрих Ницше: мученик познания* в *Ibid.*, с. 10.

¹⁹⁸ «Но сильная гусеница одного экзотического вида до этого обмена не снисходит, запросто пожирая муравьиных детей, и затем обращаясь в непроницаемую куколку, — которую наконец, к сроку вылупления, муравьи (эти недоучки опыта) окружают, выжидая появления беспомощно сморщенной бабочки, чтобы броситься на неё; бросаются, — а всё-таки она не гибнет: „Никогда я так не смеялся, — говорил отец, — как когда убедился, что её снабдила природа клейким составом, от которого слипались усики и лапки рьяных муравьёв, теперь уже валившихся и корчившихся вокруг неё, пока у неё самой, равнодушной и неуязвимой, крепи и росли крылья.“»: Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 99 — 100.

¹⁹⁹ См. Владимир Набоков, *Юбилей*.

я, бывший человек, теперь застал его в полном блеске его жизни, которую он сам создал силой своей ваятельной воли...»²⁰⁰, — и этот «бывший человек», из стилистической неточности сразу попадает в вокабуляр касты познавших.

Теперь Фальтер может расслабиться; повседневный труд, контакт с «осколками человека» для поддержания жизни в теле ему не требуется; и в один из моментов, когда Фальтер отворачивается от своего тела — Дионис улавливает его в силки — начинается первая стадия превращения духа.

И если в молодости, конечно по неопытности, ещё не умея обращаться с доставшейся ему диковинной машиной, Фальтер позволяет прорываться наружу врождённой таинственной мощи, то впоследствии он приучается скрывать её, направляет дар на более близкие к коже нужды, пытается банальностью заглушать вой, знаменующий будущее присутствие Вакха:

«...[Фальтер <А.Л.>] работал экономно, ибо метил невысоко и точно знал границу своих возможностей. Его главная заслуга перед собой та, что он сознательно обходил собственные таланты, делая ставку на дюжинное, общепринятое, а ведь он был одарён странными, чем-то обаятельными способностями, которые другой, менее осмотрительный, постарался бы практически применить.»²⁰¹ — как бы не так!

То применение, которое Ницше, а вслед за ним и герой *Ultima Thule*, находят для своей воли — педагогика с бизнесом, — можно сравнить разве что с реактивным двигателем, приспособленным для выделки ничтожных катушек; не потому ли Вагнер, которому не откажешь ни в чувствительности в искусстве и в саморекламе, ни в чувственности к своей венгерке, советовал другу Фридриху, — на свою же голову, — похерить педагогику да полностью обратиться к духу музыки.

Об этих нескольких годах, проведённых рядом с «учёными», а скорее над ними, вспомнит Ницше и признается устами Заратустры: «И когда я жил у них, я жил над ними. Оттого и невзлюбили они меня.»²⁰², а позже, перед тем, как быть навсегда вобранным Дионисом, позволит

²⁰⁰ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 442 — 443.

²⁰¹ *Ibid.*, с. 443.

²⁰² Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 91.

себе Ницше те слова военного тактика, что можно подумать, будто он – соавтор моей поэмы: *«Моя мудрость выражается в том, чтобы быть многим и многосуцим для умения стать единым – для умения прийти к единому. Я должен был ещё некоторое время оставаться учёным.»*²⁰³ – подлинное же соавторство, однако, принадлежит нашему Господу! Единому и единственному созидателю всего!

Потому и дизайнер Набоков, принимаясь «декорировать» созидательную волю Фальтера, предпочтёт, для вящего сходства с подлинником, позаимствовать фотографии из семейного альбома Фридриха Ницше.

Набокову вообще по душе описание ухода созидателя в коммерцию, воспроизведение мощных витков двигателя, работающего вхолостую – проявление у Набокова литературской смеси мазохизма с любопытством: «А не пронесёшь ли ты и мимо меня, Боже, чашу сию?» – или же это подготовка *части* удавшегося человекообразного к восприятию учения Диониса-философа: *«Последнюю черту к портрету сводомыслящего философа добавляет Стендаль, и я не могу не подчеркнуть её ради немецкого вкуса – ибо она противна немецкому вкусу.»* Pour être bon philosophe, – говорит этот последний великий психолог, – il faut être sec, clair, sans illusion. Un banquier, qui a fait fortune, a une partie de caractère requis pour faire des découvertes en philosophie, c'est-à-dire pour voir clair dans ce qui est.”²⁰⁴

Не потому ли Фальтер – смесь самого Ницше с владельцем гостиницы Паулем Ленски, – не единственный погрязший в бизнесе *чреватый* «человек» Набокова. Таков например и «латентный творец-ницшеанец» – Курт Драйер. Он, *чуёт* свою непригодность для коммерции, но всё-таки продолжает, покамест, «уворовывать», – как сказал бы иной радетель «равенства и справедливости», – миллионы «труженников»-«осколков» благодаря своей ковбойско-коммерческой смекалке. Деньги, да и сама торговля, – не более чем одно из средств для дальнейшего артистического, покамест ещё непредвиденного совершенствования. А главное – *adieu*, Плоскомания Европы! И тотчас, ненароком, вспыхнув *пёстро* (как корова!), проскальзывают образы: обиталище Муз, за-индийская империя, скрытая гималайским горбом и скатывающаяся в Тихий океан,

к которому устремлялся прежде македонец-вакхант. Бррааааммм! И он, тут как тут – взрыв брахманской ностальгии по художническому взору, жаждущего отыскать тропический тренажёр своему духу в землях, где исполинский Дионис дико соглядатайствует за вакхантом *увеличенным* Митрой:

«Он [Драйер <А.Л.>] втайне признавал, что коммерсант он случайный, ненастоящий, и что в сущности говоря, он в торговых делах ищет то же самое, – то летучее, обольстительное, разноцветное нечто, что мог бы он найти во всякой отрасли жизни. Часто ему рисовалась жизнь полная приключений и путешествий, яхта, складная палатка, пробковый шлем, Китай, Египет, экспресс, пожирающий тысячу километров без передышки, вилла на Ривьере для Марты, а для него музеи, развалины, дружба со знаменитыми путешественниками, охота в тропической чаще. Что он видел до сих пор? Так мало, – Лондон, Норвегию, несколько среднеевропейских курортов... Есть столько книг, которых он не может даже вообразить. Его покойный отец, скромный портной, тоже мечтал бывало, – но отец был бедняк. Странно, что вот деньги есть, а мечта остаётся мечтой. И иногда Драйер думал, что если с таким волнением он воспринимает всякую мелочь жизни, которой сейчас живёт, то что же было бы там, в сиянии преувеличенного солнца, среди баснословной природы?.. Вот даже этот обычный летний отъезд слегка его волновал, хоть он уже побывал на том пёстром пляже»²⁰⁵.

Да и не для выздоровления ли от своего «бизнесменства» жаждет Драйер вырваться прочь из Германии – в сверхевропейские просторы?! Слышится истошный вопль распирающей его тело жажды сочленения в более высшее существо. Слияние это должно произойти там, вдали от старой Европы, сырой и тоскливой, где-нибудь по пути в страну Кармен или в Россию из стольного града Персии, неминуемой в судьбе всякого не-комми-воаяжёра. Путешествие своё – *обнять* Семелушку, то так, то эдак – Драйер мечтает совершить, конечно же поездом, надеясь, невероятное, на ночную дискуссию в купе с тенью *Нитче*, – уж кто-кто, а Драйер не далеко ушёл от *Herr Anton Tschekhoff*:

«Шёл он [Драйер <А.Л.>] неторопливой, чуть подпрыгивающей походкой, заложив руки за спину и выпятив сигару. Между прочим

²⁰³ Фридрих Ницше, *Ессе homo*, *op. cit.*, т. 2, с. 736. Курсив Фридриха Ницше.

²⁰⁴ Фридрих Ницше, *По ту сторону добра и зла*, *op. cit.*, т. 2, с. 271 – 272. Курсив Фридриха Ницше.

²⁰⁵ Владимир Набоков, *Король, дама, валет*, *op. cit.*, т. 1, с. 250 – 251.

он подумал о том, что хорошо бы так прогуливаться под сводами незнакомого вокзала где-нибудь по пути в Андалузию, Багдад, Нижний Новгород... Можно хоть сегодня пуститься в путь: земной шар огромен и кругл, — и денег достаточно на пять, а то и больше полных обхватов. Марта бы, впрочем, ни за что не поехала. Никак даже не скажешь ей: поедем, дела подождут. Купить что ли газету: биржа, пожалуй, любопытная вещь. И надо узнать, перелетел ли этот молодчик через океан? Америка, Мексико, Пальмовый пляж. Вот Вилли Грюн там побывал, звал с собой. Нет её не уломать...»²⁰⁶, — куда уж тебе, Драйер, в персидские-то дали со вцепившимся в твою мякоть «осколком человека»?! А он при тебе, на пару с ему подобной тварью, а они не понимают ни тебя самого, ни приступов твоей, ставшей хронической, «сверхевропейской» ностальгии, повторяющейся чуть ли не в каждой главе романа (подлинный плач по Дионису!) вкупе с твоим судорожным поиском десницей художницкой кисти, с жаждой хмеля, с презрением к нецепкой памяти «осколков» прошлого: «Эрика, небось, забыла всякие смешные поговорки, песенки, и Мими в розовой шляпе, и фруктовое вино, и движение солнечного пятна на ступени. Хорошо бы поехать в Китай.»²⁰⁷.

А потому ни один из этих «осколков человека», паразитов Драйера, не не выносит физического присутствия его на поверхности планеты. «Смерть брахману!», — таков приговор, цедят сквозь судорожно сжатые челюсти чандалы. Вот он, чандалией порыв Марты, этой личинки Цинцинатовой Марфиньки:

«... — Удавить, — пробормотала она [Марта <А.Л.>]. — Если б можно было просто удавить... Голыми руками.

Ей казалось иногда, что сердце у неё лопнет, не выдержав чувства ненависти, которое ей внушало каждое движение, каждый звук Драйера. Бывало, когда он, ночью, гладил её по обнажённой руке, неуверенно посмеиваясь, ей до тошноты, до обморока, хотелось вцепиться ему в шею и сжимать, сжимать изо всех сил.»²⁰⁸.

Сразу после высказанной Драйером ностальгии по круглой, как андрогин Аристофана, как самокатящееся колесо, Земле, которую он чувствует себя способным обхватить, обнять, как яблоко простое, которое

тот же ребёнок приносит в дар (иль не даёт) пятижды — проявление самонедовольства созидателя! — первый симптом усложняющегося, или уже ставшего сложным тела: запечатлеть! Неминуемо при запечатлении переиначив мир, на свой лад:

«Нет, её [Марту <А.Л.>] не уломать... Где же, в сущности говоря, газетный лоток... Этот велосипед с завёрнутыми лапками сейчас так отчётлив, а забуду его навсегда, забуду, что смотрел на него, всё забуду.»²⁰⁹.

Другой же, усложняющийся созидатель Набокова знает наверное как именно надо бороться с приступами подобной амнезии демиурга. В отличие от Драйера, случай открыл Фёдору как конкретно подхватить падающий космос, тотчас переделавши его по-своему. Ибо изначально Фёдор хорошо родился, получив в наследство азиатские, — и даже сверхазиатские! — просторы, лишь подозреваемые Драйером, этим гениальным отпрыском немецкого портняжки. Вот он, тотальный всё-упорядочивающий рефлекс творчества владельца Божьего дара. И реанимированный Великий Пан подвигает Фёдора на вакхический демарш преодоления замкнутости Кольца Великого Возвращения: «Его [Фёдора <А.Л.>] охватило паническое желание не дать этому замкнуться так и пропасть в углу душевного чулана, желание применить всё это к себе, к своей вечности, к своей правде, помочь ему произрасти по-новому. Есть способ, — единственный способ.»²¹⁰. Какой именно «способ»? Да тот, когда Божество ведущее созидателя, научает самую сочную начинку его тела — душу! — спасительным жестам:

«„Вот так бы по старинке начать когда-нибудь толстую штуку“, — подумалось [Фёдору <А.Л.>] мельком с беспечной иронией — совершенно, впрочем, излишнюю, потому что кто-то внутри него, за него, помимо него, всё это уже принял, записал и припрятал»²¹¹.

Драйер заключён Дионисом в кольцо, и ему уже не вырваться! Бог ведёт его, заигрывая с ним, а сам неисправимый художник-игрок Драйер — уже до самой своей смерти навсегда сформировавшийся дух-ребёнок. Теперь он играет в ожидании Бога («Было холодно, неинтересно без

²⁰⁶ Ibid., с. 125.

²⁰⁷ Ibid., с. 223.

²⁰⁸ Ibid., с. 235 — 236.

²⁰⁹ Ibid., с. 125.

²¹⁰ Владимир Набоков, *Дар, op. cit.*, т. 3, с. 303.

²¹¹ Ibid., с. 6.

солнца. Но это не могло ослабить приятное чувство, которое он [Драйер <А.Л.>] испытывал при мысли о том, что жена согласилась с ним поиграть и не отказалась в последнюю минуту – из-за дурной погоды, как он втайне боялся.»²¹²), резвится с Дионисом, как сын возлюбленный вступает в борьбу со стрелянными отца, сам силится накинуть сеть на охмелевшего Силена, уже заготавливая заветный вопрос...: «„Физиономию его я осмотрел основательно, – думал он [Драйер <А.Л.>] под нежное мурлыканье мотора. – И всё-таки ничего ещё нельзя решить. Глаза, конечно, весёленькие, мешочки под ними, – но это может быть от природы. Щёки, нос в красных жилочках, одного зуба не хватает, – тут тоже греха нет, бывает со всяким. В следующий раз надобно его хорошенько понюхать”.»²¹³.

Загрей же не прост! Оно и не таких, как Драйер видывало, это много-ликое неуловимое Божество дающее даже расчленив себя, чтобы избежать насилия, неизменно склеивающееся на свой лад, дабы восторжествовать над недругами. И в набоковском романе Загрей не позволяет своим кромешникам контакта с драйеровыми силками, – именно Λόγος-ом баррикадирует Загрей путь к своей тайне любопытному до мистерий, но ещё недозревшему Драйеру, – предпочитая утянуть прочь с лица Земли своего вакханта (не брезговавшего, оказывается, и шампанским пушкинской молодости – «подобием того-сего»), только бы не выдавать миллионщику секретов: «Икар» разбивается. Дедал улетает к новым, постоянно совершенствуемым попыткам μίμησις а быкорогого Божества. Венгерка-Ариадна созрела, дабы принять на лемноском ложе своего суженого:

«Заметив, что у ограды стоит садовник (он же сторож), Драйер подумал, что хорошо бы хоть теперь, путём прямого вопроса, разрешить тайну, занимавшую его так давно. (...)»

– Да, – кивнул Драйер, – ему проломило голову, грудную клетку, – все. (...) Послушайте (...), вы случайно не заметили... – дело в том, что я сильно подозреваю...

Он запнулся. Пустяк, время глагола остановило его. Вместо того, чтобы спросить „он пьёт?“, надобно было спросить „он пил?“.

Благодаря этой перестановке времени получалась какая-то логическая неловкость. Труп не может быть пьяницей; а что было раньше – много ли, мало ли пролилось того-сего в несуществующую теперь глотку, – нет, это перестало быть забавным...

– ... я насчёт садовой дорожки. Сильно подозреваю, что можно тут поскользнуться. Вы бы её песком посыпали...

„Финис... – усмехнулся он про себя, сидя в таксомоторе. Икар продам без ремонта. Ну его...»²¹⁴.

Точно также, как позже юный Ван Вин будет выделять азиатские фокусы с изначально данным ему телом, забавляется Драйер, уподобляя себя демиургу; при содействии вне-национального, сверх-границного артиста с цветом кожи давнего жреца Бахуса, руководит Драйер созданием человекообразных из ещё невиданного материала:

«Началось с того, что как-то в среду, в первых числах ноября, к нему явился незнакомый господин с неопределённой фамилией и неопределённой национальностью. Он мог быть чехом, евреем, баварцем, ирландцем, – совершенно дело личной оценки. (...) Подробно и вкрадчиво мадьяр – или француз, или поляк – изложил своё дело.

– Отнюдь. Вот это один из секретов. Упругое, эластичное вещество, окрашенное в розоватый или желтоватый цвет, – по выбору. Я особенно напирал на его эластичность, на его, так сказать, подвижность.»²¹⁵, и спустя несколько месяцев после курсивной фразы изобретателя: «Но младенец должен был вырасти. Следовало создать не только подобие человеческих ног, но и подобие человеческого тела, с мягкими плечами, с гибким корпусом, с выразительным лицом. (...) Вскоре мастерская приобрела такой вид, будто в ней только что аккуратно нарезали дюжины две человеческих рук и ног, а в углу, с независимым выражением на лицах, столпилось несколько голов, на одной из которых кто-то раздавил окурки»²¹⁶.

Наскучивши потехой демиургии, Драйер решает спровадить своих первенцев за океан, в противоположную Азии сторону, что, кстати, и спасает, Драейра от его ущерботных убийц:

²¹⁴ Ibid., с. 195.

²¹⁵ Ibid., с. 168 – 169. Курсив Набокова.

²¹⁶ Ibid., с. 232 – 233.

²¹² Владимир Набоков, *Король, дама, валет*, *op. cit.*, т. 1, с. 258.

²¹³ Ibid., с. 161 – 162.

«— Честное слово, протянул он [Драйер <А.Л.>] жалобно; это удивительная штука. Прямо сенсация. Продаю американцам»²¹⁷.

Более того, Драйер, согласно показаниям вдруг вводимой Набоковым свидетельницы, — некогда льнувшему к телу Драйера «осколку», одной из «женщин-птиц»²¹⁸, которой далеко до высшей, «коровьей стадии»²¹⁹, — в любви всегда был слаб и к «осколкам человека», абсолютно ненужным ему для единения, относился как к предметам неорганическим, неизменным: изучил да и отставил навеки. Словом, Драйер, инстинктивно, не стыдясь и не думая себе в ницшевский ус, отказывался проникать вглубь «человека», скользил по поверхности его малоинтересного тела:

«— ...Ведь ты всё тот же, — лепетала Эрика промеж его [Драйера <А.Л.>] слов. — Я так и вижу, что ты делаешь со своей женой. Любишь и не замечаешь. Ты всегда был легкомысленен, Курт, и в конце концов думал только о себе. О, я хорошо тебя изучила. В любви ты не был ни силен, ни очень искусен. (...)

— Ты знаешь, Курт, по правде сказать, были минуты, когда ты меня делал попросту несчастной. Я понимала, что ты только... скользишь (sic.). Не могу объяснить это чувство. Ты сажаешь человека (sic.) на палочку и думаешь, что он будет так сидеть вечно, а он сваливается, — а ты и не замечаешь, — думаешь, что всё продолжает сидеть, — и в ус себе не дуешь ...»²²⁰.

Может быть это происходит потому, что Драйер ожидает дополнительного единения с другими; ему необходимы другие куски, дабы сформироваться в «Высшего человека», состоящего из трёх владетельных частей, одним словом — *Drei-in-«Herrn»*, если мне будет позволено окликнуть героя романа с ветхозаветным базельским придыханием. Оно произойдёт, это «утроение». Однако, решение о нём принимает только Дионис; после чего, Драйер, не додумавшись до того своим многознанием ещё-бизнесмена, инстинктивно ожидает решающего закордонного слияния, одарить которым его также может лишь тот, другой, наш, Всевышний. Ха!

Этого Драйера — уже-«Высшего человека» оставляет Набоков. Единение в высшее тело, вбирание Драйером двух «осколков человека» помимо их воли, помимо воли его самого, но по велению Бога, произошло под эгидой «Вечного Возвращения» Фридриха Ницше: всё подготовлено для слияния, исподволь, как бы ненароком Бог разъедает для этого оболочку Драйера своей дневной ипостасью — посредником-Митрой²²¹ («*Накануне солнце, под видом нежности, так растерзало ему [Драйеру <А.Л.>] спину, что, пожалуй, несколько дней нельзя будет ходить в купальном костюме.*»²²²), тотчас пропадающим, ибо совершил требуемое («*День был бессолнечный, белёсое небо, серое море, барашки, невесёлый ветерок.*»²²³), и по тропинке, по тропинке, по тропинке, к ницшевскому пирамидальному и остроконечному нагромождению камней, приближается, как все хорошие вещи — не спеша, выгибая <выгоревшую> спину — Драйер, к своему избавлению, вытанцовывая непритворный свой танец, разогреваясь, меж андрогинных *par excellence*, но всё-таки снабжённых пенисом, улиток в форме, естественно, писательского пера — орудия будущего Драйера; меж паразитного растения *Cuscuta*, питающегося, через гаустории, соками хозяина — Драйера-супруга, уже почти принадлежащего прошлому. По пути к ницшевскому остроконечному валуну мечтается Драйеру о тех же сверх-европейских просторах, покуда «осколки человека», на свою прибыльную для Диониса погибель, не посадят насильно его в лодку (о которой в моей поэме также будет сказано немало), где Драйеру, поневоле вампиризирующему «куску человека», станет более всего важен — ритм, налагаемый им на продвижение по воде его обновлённого, но ещё не полностью, с непривычки, ощущаемого им тела. Трижды, закликает Драйер Бога, требуя ритма, лада, вакхической вибрации:

«Ты в лад, в лад... Она тебя не забыла. Ты ей, надеюсь, оставил свой адрес? Раз, раз... Я уверен, что сегодня будет тебе письмо. Ритм, — соблюдай ритм. (...)

— Ах, дети, — как было забавно в лесу! — говорил голос. — Буки, темнота, повилика. На дорожке такие чёрные голые улитки, с продолговатой резьбой. Прямо самопишущие ручки. Очень забавно. Соблюдай ритм»²²⁴.

²¹⁷ Ibid., с. 263.

²¹⁸ «Ещё мельче стали черты её подвижного, умного, птичьего лица.» Ibid., с. 220.

²¹⁹ «Ещё не способна женщина к дружбе: женщины всё ещё кошки и птицы. Или в лучшем случае, коровы.» Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, op. cit., т. 2, с. 41.

²²⁰ Владимир Набоков, *Король, дама, вает*, op. cit., т. 1, с. 222.

²²¹ См. например Ιουλιανου αυτοκρατορος, Εἰς τὸν βασιλέα □λιον, 148 d.

²²² Владимир Набоков, *Король, дама, вает*, op. cit., т. 1, с. 256.

²²³ Ibid., с. 257.

²²⁴ Ibid., с. 261.

Подлинной, скрываемой от близорукого читателя, концовкой романа является тотальное *выздоровление* тела Драйера от «осколков человека»: поняв в музее преступлений, что от свидетелей надобно избавляться, Драйер, узнав из бреда отщепенца *с индусоглазым* студентом – вот истинно ницшеовское издевательство! – «дамы» о её связи с «валетом», спроваживает последнего в Берлин («человечий» прах в золотом, заокеанском саркофаге!), дабы иметь возможность придушить жену подушкой, благо *случайно* оказавшийся поблизости врач зафиксировал факт учащённого, почти псиного, дыхания и наличия у Марты странного сердца:

«– У вашей супруги – странное сердце.

– Да, – сказал Драйер.

– Дыхание сейчас дошло до пятидесяти движений в минуту.»²²⁵.

А ведь оставалось ещё так немного, чтобы Драйер, это наихрупчайшее, чреватейшее великим создание, сгинул от рук «осколков человека», подготавливавших своё *адюльтерное* убийство на курорте, в близком соседстве однофамильца (а может и отпрыска!) основателя «Славянского базара», около которого скрывался от жены Гуров со своим кинологом, и чья любовная связь, кстати, – вспомним «философа»-Толстого, – не возникла бы без Фридриха Ницше²²⁶:

«Драйер читал список курортных гостей, изредка произнося смешную фамилию. (...)»

По-ро-кхов-штиши-коф, – вслух прочёл Драйер и рассмеялся»²²⁷.

После совершённого убийства Драйер отгораживается от Франца газетой – скрыть праарийское, наружу рвущееся злорадство! И уже, конечно, готовит расправу племянничку. Драйера ожидают – сверхевропейская свобода, покой, созидание, и быть может – более сложное, вакхическое сомообразование.

Но оставим же теперь Драйера и вернёмся к наизыгоднейшей фальтеровой скрытности: тут и уже упомянутая жизнь «*со взведённым курком*»²²⁸, – чтобы ленивец читатель не забывал об арсенале воина-Заратустры; тут и «холодок поэзии», оставляемый юным Фальтером в классной комнате Синеусова²²⁹ – температура, несомненно, идентичная аудитории базельского факультета классической филологии семидесятых годов XIX-го века. При заочной презентации Фальтера упоминается даже «*бедный Адольф*»²³⁰ – незабвенный вождь немецких национальных социалистов, который чрезвычайно успешно пользовался вытяжками из «ницшеанства» в своих, сугубо пост-демократических целях, и которому так полюбилась трость философа, – уже перекочевавшего к Семеле, – полученная из цепких ручек престарелой Элизабет.

И вот мы медленно приближаемся к ночи, когда Божественное откровение, – откровение Бога Диониса, – снизошло на Фальтера. Но покамест герой только старел, постепенно превращаясь в копию 38-39 летнего Ницше, которого можно видеть на фотографиях, то есть:

«... осанистого, довольно полного господина, сохранив при этом и живость взгляда, и красоту крупных руку, но только я бы никогда не узнал его со спины, т. к. вместо толстых гладких, в скобку остриженных волос, виднелась посреди чёрного пуха коричневая от загара плешь иезуитской формы.»²³¹ – вспомним!: «Ты, недоделанный иезуит и музыкант, – почти немец!»²³², так льстит Фридриху Ницше Дионис.

И всё же, в ожидании пока Дионисическое откровение не обрушится на него, Фальтер не разрывает связи со своим Богом. Происходит это как и все «добрые» вещи – случайно – виноторговля, оказывается, просто

²²⁸ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 443.

²²⁹ «Пожалуй, только ещё в самой молодости он не всегда умел сдержаться и мешал казённое натаскивание гимназиста по казённому предмету с необыкновенно изящными проявлениями математической мысли, остававшимися в моей классной какой-то холодок поэзии, когда он, спеша, уходил.»: *Ibid.*

²³⁰ *Ibid.*

²³¹ *Ibid.*, с. 442.

²³² Friedrich Nietzsche, *Nachlass 1882-1884* in Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Werke*, *op. cit.*, Band 14, SS. 61, 392 – 393. Русский перевод по К. А. Свасьян, *Фридрих Ницше: мученик познания* в Фридрих Ницше, *op. cit.*, т. 1, с. 20 – 21.

²²⁵ *Ibid.*, с. 273 – 274.

²²⁶ «Люди, не выработавшие в себе ясного мирозерцания, разделяющего добро и зло. Прежде робели, искали: теперь же, думая, что они по ту сторону добра и зла, остаются по сю сторону, т.е. почти животные.»: Л.Н. Толстой [о Даме с собачкой <А.Л.>], *Полное собрание сочинений*, т. 54, с. 9.

²²⁷ Владимир Набоков, *Король, дама, валет*, *op. cit.*, т. 1, с. 277, 258. «„Славянский Базар“ – ресторан при гостинице того же названия, открытый в 1873 г. А. А. Пороховиковым в Москве на Никольской улице (ныне ул. 25-го Октября).»: *Примечания* в А.П. Чехов, *Полное собрание сочинений*, *op. cit.*, т. 9, с. 432.

прибыльна: «... кроме не очень доходной гостиницы у него [Фальтера <А.Л.>] были виноторговые дела, шедшие весьма успешно»²³³.

* * * * *

Обратимся же теперь к ритуалу подготовки контакта с Дионисом. Ницшеанец Набоков описывает своего Фальтера так, будто ему знакомо каким именно образом Бог подкрадывается к избранному человекообразному. Подивимся сноровке, с которой Великий Ловчий подманивает своего вакханта дабы набросить на него сеть:

«Как-то прошлой осенью Фальтер отправился по делу в винограденейший из приморских городов, и, как обыкновенно, остановился в тихом маленьком отеле, хозяин которого был его давним должником»²³⁴.

В моей предыдущей книге о Ницше я не мог не написать о том, почему именно осенью, а не какое-либо другое время года, на сверх-созидателя снисходит вдохновение: «Залогом же не только созидания, но и адекватного восприятия (...) трагедий сатиром-хоревтом является то состояние «человека», которое я назову пост-Дионисической прострацией («... в дионисическом опьянении и мистическом самоотчуждении, одинокий, где-нибудь в стороне от безумствующих и носящихся хоров, падает он, и вот аполлоническим воздействием сна ему открывается его собственное состояние, т. е. его единство с внутренней первоосновой мира в символическом подобии сновидения.»²³⁵), становящейся, в свою очередь, залогом Дионисической креативности, т. е. созидания, тотально зависимого от Божества, которое я охарактеризовал бы как некую субстанцию, связывающую поэта одновременно и с космосом и с недрами планеты. Дух, порождённый Дионисом, «нисходит» на поэта. Происходит слияние поэта с Дионисической субстанцией, в результате чего на свет появляется абсолютно новое, доселе неизвестное существо – некая *сверхчувствительная* струна, вибрирующая от потоков, циркулирующих меж Семелой и Вселенной.

Именно такое видение зарождения поэтического творения и объясняет феномен «Болдинской осени». Осенью одно из полушарий планеты «всасывает» ту детородническую мощь (тот жар, сказал бы Гераклит), которой Земля щедро одарила космос весной – в эпоху болезненности наичувствительнейших землян – не дай Бог поэту северного полушария умирать в марте! И осенний поэт – тут как тут, для того, чтобы воспроизводить в ритме и *Λόγος*’е мудрость, втягиваемую Землёй из Вселенной. Эта физиологическая особенность созидания была известна Пушкину – африканской лозе, привитой и в течении нескольких поколений выжившей среди скифских климатических контрастов: «Когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение), то он запирался в своей комнате и писал в постеле с утра до позднего вечера, одевался наскоро, чтоб пообедать в ресторации, выезжал часа на три, возвратившись, опять ложился в постель и писал до петухов. Это продолжалось у него недели две, три, много месяц, и случалось единажды в год, всегда осенью. Приятель мой уверял меня, что он только тогда и знал истинное счастье.»²³⁶, так описывает Пушкин осенний процесс, при котором творец пенетрирует мир наивиральнейшим своим членом». Речь идёт, несомненно, о впечатлениях самого Пушкина, измыслившего приятеля, как Сократ, некогда приставший к велеречивому Гиппию элидскому – своего настырного «человека».

Знакома творческая особенность *поэтической физиологии* была и Мандельштаму – другому фукидидоязычному семитскому телу, воспитанному Рейном с Балтией да ещё крепче чем предыдущее сжатому гиперборейским морозами. Познал на собственном опыте цикличную эту физиологию созидания и автор этих строк, в котором есть и от Мандельштама, и от Пушкина: финикийский *λόγος* с обрезанной крайней плотью, афино-лакедемонская дрессировка, галльский язык для повседневности и славянская вязь для лакеев, и, как ни странно, для священнодействий, цель коих – сладострастное *выжимание* оракулов из собственного тела и воспроизведение их на белом листе; стриндберго-бергманское братание с Рюриком и пресс, сжавший меня в надрейской, повыше холма Лорелеи, выстроенной темнице. Но об этом – в конце книги.

²³³ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 443.

²³⁴ *Ibid.*, с. 444.

²³⁵ Фридрих Ницше, *Рождение трагедии из духа музыки*, *op. cit.*, т. 1, с. 63. Курсив Фридриха Ницше.

²³⁶ Александр Сергеевич Пушкин, *Отрывок*, *op. cit.*, т. 3, с. 345.

Именно *осенью* приезжает делец Фальтер в *самый диониссийский*, из городов на берегу Средиземного моря, куда, как и за два с половиной тысячелетия до написания *Ultima Thule*, причалил брадатый Дионис на своём остроносом чёлне, с семи-гроздевой мачтой и в окружении семи же дельфинов — несомненно по числу невезучих тирренских пиратов! Наконец-то, после стольких столетий ожидания, приходит время, чтобы европеец, вооружившись воспетым Заратустрой *алмазным штыком-ножом*, сызнова принялся собирать хмельной сверх-урожай.

Далее я просто вынужден цитировать целые абзацы набокковского текста — дело в том, что наш литератор-ницшеанец, заглотивши творчество Ницше вкупе с биографическими сведениями о философе, выдаёт их в *Ultima Thule* чрезвычайно компактным текстом:

«Проведя гигиенический вечер в небольшом женском общежитии на Бульваре Взаимности, он [Фальтер <А.Л.>], в отличном настроении, с ясной головой и лёгкими чреслами, вернулся около одиннадцати в отельчик, и сразу поднялся к себе. Пепельное от звёзд чело ночи, тихо-безумное её выражение, роение огней в старом городе, забавная математическая задача, по поводу которой он в прошлом году переписывался с одним шведским учёным, сухой и сладкий запах, как бы сидящий без мысли и дела там и сям в ямах мрака, метафизический вкус удачно купленного и перепроданного вина ...»²³⁷.

Биограф Фридриха Ницше разглядит в «гигиеническом вечере» Фальтера врачебные предписание философу: не отказываться от услуг публичных домов для поддержания необходимого физиологического равновесия организма; и «бракоразводную переписку» с «гренландцем» Стриндбергом, которую Ницше вёл вплоть до последнего дня своей относительно здоровой жизни²³⁸; и «сухой (...) запах» вина — хорошая Дионисическая душа суха, как и всё предназначенное для «Великого здоровья» (согласно мнению эфесского предтечи Фридриха Ницше²³⁹); а вкус вина, естественно «метафизический», сверх-природный, сродни истине открывшейся Фальтеру сверх-философской (парафразируя Фому

²³⁷ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 444.

²³⁸ «Eheu?... Nicht mehr Divorçons?...»: Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Briefe Kritische Studienausgabe, Januar 1889*, „An August Strindberg in Holte (Turin, Anfang Januar 1889)“, *op. cit.*, Band 8, S. 572.

²³⁹ Гераклит, D. K. 77 A.

Аквинского) — «истине ученика ученика», воспитателя сверх-вахханта. Таким образом Дионисова субстанция пропитывает Фальтера со всех сторон — изнутри, и снаружи, да ещё и позванивает в его карманах золотишком, полученным от перепродажи Дионисова дара «человекам».

А сверху, откуда на осеннее, послеурожайное средиземноморье уже изливается таинственная сверх-мудрость, глядит на Фальтера в упор, — «вперивши очи», как писывал Гоголь, — «тихо-безумный» порядок. Ещё немного, и — Божественное естество прорвётся наружу, захлестнёт поэта неистовой волной. Мойры-всезнайки уже затаили своё амброзиевое дыхание. Произойдёт метаморфоза под воздействием Диониса: преобразовавшись, новое существо, не теряя ни единого оставшегося мгновения, тотчас примется вибрировать сверх-чувствительной струной, — тетивой исполинского лука, натянутой меж космосом и золотой сердцевинной Земли. Цель мистерии — рождение *сверх-плода*. После этого наступает смерть, благодатная и желанная. Существование «Сверх-человека» подобно жизни виноградной грозди: случайно принесена Дионисом; случайно воткнута, дрожащая на тирсе, в добрую почву, под благодатными небесами; случайно, доживает она до вызревания; сок переполняет идеально округлые ягоды, собранные в единое, совершенное тело — оторви виноградину, и гомеров взгляд мигом приметит недостаток в грозди. Теперь дело — за ножом, прессом, подземельном заточении за многими перегородками — многогранговость рубежей снаружи и неистово ароматное брожение изнутри! Но — как сконцентрировать в единое мгновение и тяжесть зрелости, и Страстные муки, и добрый вкус вина? Как воплотить их в сверхсложном, в вечном, во всезнающем теле?

«Лук — символ трагедии», — сколько об этом уже пересказано, сколько переведено бумаги жирненькими пацифистами — профессиональными ницшеведами! Только не всё так просто.

Рассмотрим подробнее подлинные истоки происхождения ницшевского «лука», истинную кровавую суть взаимоотношений расчлняющего Лидийца и Дельфийца, этимологически неприемлющего множества, как об этом заметил близко знакомый с Аполлоном — «□-πολλοί» — Плутарх²⁴⁰. Таинство происходит в XXI-ой песне *Одиссеи*, перед

²⁴⁰ См. Плутарх, *Об Изиде и Осирисе*, v. 381 f.

доброй бойней начатой Улиссом посредством *лука*. Стоит обратиться к гомеровскому царю потому, что именно Гомер первым из «людей» прочувствовал и выразил суть трагических мистерий: не даром *огомеренный*, сиречь прозревший Еврипид пророчествует устами жреца Аполлона, Тиресия, о первом рождении Дифирамба, тотчас ставшего – «заложником», *ὀμπρός* – Зевесова бедра²⁴¹, а затем одолевшего «бедра» олимпийского монарха, оказавшееся на поверку лишь собственной семантической частью, *μῆρὸς*²⁴².

Глядите! Вот они, возлежат за трапезой, эти собравшиеся с Итаки да окрестных земель для возможного единения с Пенелопой «осколки» жаждущие царского ложа. Они лучшие представители своих стран, и их более сотни. Но только тому, кому удастся натянуть тетиву персидского оружия – принадлежит право на благо слияния с царицей. А он здесь, законный владелец и лука, и жены, и сына, зачавший, кстати, и другого отпрыска на острове Эя в обмен на полученную часть сверх-земельного знания – плод же слияния Улисса с Цирцеей умертвит некогда отца стрелой с заощрённым «сократовым» наконечником.

Первым к луку прикоснётся сын Одиссея и Пенелопы. Трижды пытается он извлечь из его тетивы смертоносную трагедию – сыграть ноту небесной гармонии, – приблизив друг к другу козыи рога с обоих концов лука, но, в конце концов, Телемах оставляет оружие, подчиняясь Одиссею – только Улиссу предназначено натянуть лук, ибо именно он, а не кто-либо другой, отмечен благодатью серо-голубоглазой Девы воительницы. И не только Афина помогает царю, ибо когда лук извлекается на свет, на доброе убийство, слышится, предвещая трагедию, бесноватое бычье мычание. Дионис подаёт голос:

*«... завизжали на петлях заржавевшие створы
Двери блестящей; так дико мычит выгоняемый на луг
Бык круторогий – так дико тяжёлые створы визжали.»*²⁴³.

Вот, начинается 'αὐών. За лук и тетиву берутся «осколки человека». Кто будет первым? Нет ничего легче: пусть откроет турнир тот «околок» толпы, с которого обычно происходит контакт Диониса с 'ὄχλος'ом:

*«Тут, обратясь к женихам, Антиной, сын Евпейтов, сказал им:
„С правой руки подходите один за другим вы, начавши*

С места, откуда вино подносить на пиру начинают.»

*Так Антиной предложил, и одобрили все предложение.»*²⁴⁴,

– так предлагает первенец предназначенный закланию Дионисом Дионису. И, я уверен, на него, на Антиноя, помимо близстоящей, но неразличимой «человеку» Афины, поглядывает, издеваясь, другое Божество: присутствующий в доме Улисса, нетерпеливый до крови Вакх, в своей злобе жаждущий *улучшения* человекообразного.

Первые попытки не увенчались успехом. Что же предпринимают «осколки человека»? Они совершают подлинный поступок «учёного»! Вместо того, чтобы объективно примериться *качеством своих тел* к песне козла-хоревта – и быть посрамлёнными этим контактом, – они пытаются размягнуть трагедию... салом, притираниями, теплом кухонной жаровни. Дрочение трагедии! Низведение её «учёными» до уровня своего! Ибо опошление поэзии для «учёных» – есть единственная возможность попытаться оприходовать её: в противном случае она сразу отметаётся ими, «недостойная», звероликая краса, своей внешностью воспроизводящая истинный смысл Вселенной! Пользуются для этого наши «осколки человека», конечно же, услугами некудышного *черномазого* козопаса. Именно ему было доверено на сохранение и преумножение стада сатиров разрушителем цитаделей. Дурной же, по мнению Гомера, козопас не только тот, кто с радостью пригоняет на заклание части козьего стада, чтобы бесчинствующие «учёные» смогли набить свои мясистые утробы, – но и тот, кто хает вернувшегося к себе *incognito* монарха.

Вот, для примера, вопль Антиноя – «учёного»:

«„Слушай, Меланфий, – сказал, – здесь огонь ты разложишь; к огню же

*Близко поставишь покрытую мягкой овчиной скамейку;
Жирного сала потом принесёшь нам укруг, чтоб могли мы
Им, на огне здесь его разогревши, помазать крепкий
Лук Одиссеев: тогда он удобней натянут быть может.»*²⁴⁵.

Смерть дурному козопасу, Дионис! Мученическая и безжалостная смерть! Оторвать его прочь от Семелы, бросить его осколочное тело в её чрево, для разложения там и последующей лучшей попытки воссоздания «человека». Ибо во время боя поэта с «учёными», именно Меланфий,

²⁴¹ Еврипид, *Вакханки*, в. 293.

²⁴² Еврипид, *Вакханки*, в. 294.

²⁴³ Гомер, *Одиссея*, XXI, в. 48 – 51, Москва, 1986, с. 256.

²⁴⁴ *Ibid.*, в. 140 – 143, с. 258.

²⁴⁵ *Ibid.*, в. 176 – 180, с. 259.

этот предатель трагедии, снаряжает превосходящих «Высшего человека» числом человекообразных деятелей науки доспехами, ему же принадлежащими — ограбление достояния Диониса²⁴⁶! Для Гомера попытка убийства «Высшего человека» есть преступление непростительное. За то кара всё та же — расчленение, всё большее дробление «осколка человека» да отдача его на пожирание его же собратьям — псообразным «учёным»:

*«Силою вытащен после на двор козовод был Меланфий;
Медью нещадно вырвали ноздри, обрезали уши,
Руки и ноги отсекали ему; и потом, изрубивши
В крохи, его на съедение бросили жадным собакам.»*²⁴⁷.

С Эвритионом, полуконом-полу«человеком» — да ещё и объатым Дионисом и изрубленным на части! — сравнивают женихи-«учёные», обдрочивших салом и ладони свои, и трагедию, Одиссея — «Высшего человека», который за десять лет до того извлек победу над варварами из конского чрева, сбитого из горных сосен²⁴⁸, азиатских предков Дионисических деревьев, коим суждено принести фиванскую славу возвратившемуся Дионису — вот она, наконец, предстаёт перед глазами подлинная генеалогия трагедии!

Каков же главный вердикт гомеровских «учёных» по отношению к «Высшему человеку»? Им не по душе «отсутствие рассудка»²⁴⁹ у Одиссея. В приверженности Дионису, опьянении «медвяным вином»²⁵⁰, обвиняет «учёный» поэта, в «незаконном» в глазах чандалы причастии к Дифирамбу, возвышающем поэта над учёным отребьем; а этот вопль чандалы — «несправедливость!» — был и останется единственным оправданием «учёными» своего «осколочного» существования.

Именно сжатием чандалых челюстей карают «учёные» всю высшую касту недовольных своим состоянием брахманских «осколков» устремлённых к единению — всем тем, кто способен стать высшим мстителем чандала за всю суммарную муку, испытанную раздроблёнными телами их предков: «Вечно всем недовольный поэт!», вопит чандала — «Ест, пьёт за нашим столом! Слушает наши учёные речи! Да ещё осмеливается

поучать нас, объясняя, — да ещё пытаюсь *практически* показать! — как надо обращаться с трагедией! А ведь оставь он нашу свору мазать салом да размягчать для наших хлипких ладошек трагический лук, — то, даже если не выйдет у нас ничего — мы запросто избежим позора! Рука руку моет, правда, Пилат?! И мы, «учёные», сумеем превратить перманентный процесс дробления трагедии в бесконечный, извращённый, бесцельный, лишённый жизни демарш — «научный»:

*«Слово к нему обративши, сказал Антиной, сын Евпейтов:
„Что ты, негодный бродяга? Не вовсе ль рассудка лишился?
Мало тебе, что спокойно, допущенный в общество наше,
Здесь ты пируешь, обедая с нами, и все разговоры
Слушаешь наши, чего никогда здесь ещё никому
Нищему не было нами позволено? Всё недоволен!
Видно, твой ум отуманен медвяным вином; от вина же
Всякий, его неумеренно пьющий, безумеет.”*²⁵¹.

— «Но если у него выйдет!? Не дай Бог! Как же это, чтобы получилось у него, у блудного нищего! А ещё, главное нам — не смотреть на него по внимательнее, под его рубище, туда, где лучезарно бесятся да переливаются почти божественные мускулы из столь редко выплавляемого «человеческого» материала! Итак: не приглядываться к нашим внезапным видениям да продолжать, изо всех сил сжавши челюсти, поднимать на смех внезапно прозревшего да покинувшего наше кошунственное сборище Феокримена»²⁵² — так думают про себя «учёные», в страхе, зависти и ненависти пряча свои *изподнизколобные* взоры друг от дружки.

Пора приступить к убийству. Да и то верно, незачем пророку рассиживаться на сократических пирах. Не насытится ему там!:

«Ибо истина в том, что я ушёл из дома учёных, и ещё захлопнул дверь за собою.

*Слишком долго сидела моя душа голодной за их столом; не научился я, подобно им, познанию, как щёлканию орехов.»*²⁵³ — ха! «познанию»!

Евмей несёт Улиссу лук с тетивой да стрелами.

²⁴⁶ Ibid., XXII, v. 139 – 149, с. 268.

²⁴⁷ Ibid., v. 474 – 478, с. 275.

²⁴⁸ См. Еврипид, *Троянки*, v. 537 – 542.

²⁴⁹ См. Гомер, *Одиссея*, XXI, v. 288, *op. cit.*, с. 261.

²⁵⁰ См. Ibid., v. 293, с. 262.

²⁵¹ Ibid., v. 287 – 294, с. 261 – 262.

²⁵² Ibid., v. 350 – 383, с. 253 – 254.

²⁵³ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 90.

– «Не давай! Как смеешь вручать ты поэту орудие его творчества! Не дай Бог изловчится он вступить в сверх-напряжённый контакт с Богом! Ещё шаг, свинопас, и мы разделаемся с тобой!», – так вопят «учёные», и каждый выставляет при этом самую привлекательную, на его вкус, поверхность его «осколка»²⁵⁴. Вместе с тем, если взять любого из «учёных» в отдельности, попросить его *проанализировать* то что неминуемо сейчас произойдёт, то он согласится, что единственным прикосновением длани к тетиве созидатель посрамит усилия целой своры «учёных»: стыд и срам, и ещё раз стыд и срам есть история «осколков человека». Ведь пронзающий воздух и тела Божественный аккорд, издаваемый струной-тетивой смертоносен чандале. И его «осколочному» телу, испокон веков генетически известно это. Но одурманенные Дионисом «осколки человека», собранные в свору, возомнили себя равным целому. Плата им за $\psi\rho\iota\varsigma$ – смерть.

Евмей колеблется²⁵⁵. Застыл в нерешительности «благородный свинопас». Кто он? – газетный подёнщик? верный «слову» престарелый профессор, которому, <вроде бы> уже нечего терять? – Но не возникнет ли, всё-таки, непредвиденных для него неприятных последствий? – некоего изначально непредусмотренного им наказания за передачу творцу смертоносной лиры, хоть и принадлежащей тому по праву!? А главное – вдруг поэт – не поэт! Ведь глаза свинопаса не заметили Афины, а его тело *не означило* чутьём присутствие богини! – пишу с прописной буквы, ибо Паллада, хоть и рождена, как Дионис, Зевсом, не представляет тотального, Дионисова $\Lambda\omicron\upsilon\omicron\varsigma$ ’а. И лишь громогласный приказ одной из частей воссозданного в улиссовом доме «Высшего человека» (несбыточная мечта Синеусова!), – а эта часть временами видит Афины, да и сама скоро займётся *творческим уничтожением* «учёных», – заставляет свинопаса вручить творцу то, чем «осколки» не смогли, да никогда и не смогут воспользоваться. Однако, совершая тем самым наипреступнейший $\psi\rho\iota\varsigma$, до последнего момента будут противиться «учёные» соприкосновению Дионисова перста и кисти творца тянущейся к Богу, который в скором будущем не замедлит обернуться к ним со всей прелестью своей халхионической улыбки. Для артиста же, высший комизм создавшейся ситуации состоит в том, что «учёные» *предчувствуют* гибель своей «осколочной» душой, но, будучи «разумными», не желают верить своим скорым на вмешательство даймонам.

Но покамест в *Одиссее* продолжается подготовительный к первой, расчленительной стадии Дионисического созидания процесс (демарш зеркально отражающий происходящее в восемнадцатой песне *Илиады*), необходимо произвести разделение «осколков человека» по полам. Потому у великого старца, слышащего звук Дионисовой речи, и чующего тень Бога, жарко трясутся руки в предвкушении вакхической бойни, и Гомер, спеша, *отделяет* женские части от мужских – сажает под замок как способные к слиянию «осколки человека» женского пола, так и абсолютно безнадёжные шматы «человеческого» мяса:

«Все двери тех горниц, где жили служанки, замкнула
Тотчас она [Евриклея <А.Л.>]; »²⁵⁶.

Да и сам дом Улисса запирается корабельным канатом – $\theta\acute{\alpha}\lambda\alpha\tau\tau\alpha$ связывает Адама морским узлом, крепости и изяществу которого позавидует любой лидийский царь. Пространство замкнуто *герметично*; необходим Александр и все его не-греческие полчища, дабы исконный ладный порядок был разрушен там, где, вскорости, упругой овечьей жилой Аполлон притянется к Дионису.

Ха! Вот он, наконец, контакт Одиссея с луком! Царь осматривает целы ли «роги» трагедии, кои предстоит ему приблизить один к другому. *Не прогнул ли Дифирамб* за время отсутствия поэта!?

С артистом, *наипроницательнейшим* Демодоклом, сравнивает Гомер Одиссея готовящегося нести смерть: луку-жизни, орудию убийства²⁵⁷, пророчествует аэд судьбу терпандровой лиры (которая есть тот же гераклитов лук²⁵⁸) с острова, откуда ведут происхождение служители культа Диониса в Европе (о это сладостное невольничество жречества!) лемносские вакханты, перекрасившие морские воды в винный цвет своею почти-«человеческой» кровью: чуток замешкался у азиатов Дионис, и теперь, равно как и Аполлон, настаивает Вакх на своём праве иметь жрецов-дельфинов²⁵⁹.

И вот то, что женихи только пытались сделать, и безрезультатно, в течении долгих часов, да ещё силою $\psi\rho\iota\sigma\tau\acute{\iota}\kappa\omicron\varsigma$ -коллектива вкупе со всяческими «научными» ухищрениями, – то созидатель-преступник

²⁵⁶ *Ibid.*, v. 387 – 388, с. 264.

²⁵⁷ Гераклит, D.K. 48.

²⁵⁸ Гераклит, D.K. 51.

²⁵⁹ *Первый Гомеровский гимн Дионису*, v. 50 – 54.

²⁵⁴ См. Гомер, *Одиссея*, XXI, v. 359 – 365, *op. cit.*, с. 263.

²⁵⁵ *Ibid.*, v. 366 – 367, с. 263.

совершает за мгновение. Дух его хорошо изваянного чрева молниеносно нагревается до жара, и вот уже он — готов к Дифирамбу:

*«Как певец, приобыкший
Цитрою вонкой владеть, начинать песнопенье готовясь,
Строит её и упругие струны на ней, из овечьих
Свитые тонко-тягучих кишок, без труда напрягает —
Так без труда во мгновение лук непокорный напряг он [Одиссей <А.Л.>]»²⁶⁰.*

Вот оно, возрождение трагедии! Тетива «Великого лука» натянута, на этот раз на Итаке. И даже Зевс, позабывши о собственной выгоде от существования разорванного «человека», возрадовался на Олимпе вендетте своего внебрачного отпрыска («... тут ужасно Зевс загредел с вышины, подавая Знак; и живое веселие в грудь Одиссея проникло ...»²⁶¹), да и сердца «людских осколков» предчувствуют гибель, а ужас смерти зачат в душонках «учёных» не чудовищным громом, но струнным трепетом, «как ласточка звонкая в небе» — позаимствованная впоследствии у Гомера Фёдором Годуновым-Чердынцевым²⁶² и столь запомнившаяся его «полу-Мнемозиной»²⁶³:

*«Крепкую правой рукой тетиву натянувши, он [Одиссей <А.Л.>] её
Щёлкнул: она провизжала, как ласточка звонкая в небе.
Дрогнуло сердце в груди женихов, и в лице изменились
Все ...»²⁶⁴.*

И то верно: слишком долго высасывали «учёные» жизненную мощь частей «Высшего человека», препятствуя его единению! Теперь бессильны они перед ним, вооружённым и готовым к творению! Дивись!

Наслаждайтесь же перед тем как сгнуть, бандар-логи, моему искусству, этим роскошным двенадцати кольцам, пронзённым стрелой, выпущенной двумя богами и той невидимой вам, но доступной моему взору — сероголубоглазой деве мудрости-воительнице. Союзничество Афины — залог того, что кровавая справедливость, восстановленная «Высшим человеком» есть σωφροσύνη—Act — месь семантика-Диониса, alter ego Ареса²⁶⁵. А Гармония — дочь Ареса, бабка Диониса, уже изготовилась заявить свою власть в царском доме. Возникает она, как всё прекрасное — лишь на кратчайший срок, и только после ожидаемого Дионисо-Аресового пиршества, в котором столь жаждут участвовать слушатели аэда уже давно распалённые ὄβρις'ом «осколков человека».

Наконец лук Еврита издаёт в царских руках прекрасный звук.

* * * * *

Но вернёмся к *Ultima Thule*, где Фальтер, подобно азиатскому генералиссимусу-Дионису, уже собирает воедино свои изрядно разбавленные хмелем мысли и образы прошлого. Происходит это ненароком. Его величество сверх-случай получает свою, редчайшую власть. Тысячи, десятки тысяч разрозненных частей Вселенной, притянутые Богом к месту, где должно произойти вакхическое воспламенение, собираются воедино, висят на мгновение над Фальтером-сверх-машиной (машиной сохранившей также и идеальную чистоту, ибо она не запачкана грязью «профессионализма», — спешит вслед за Шопенгауэром присовокупить Набоков²⁶⁶) и обрушивается на него всю свою мощью:

²⁶⁵ Еврипид, *Вакханки*, в. 301 — 305.

²⁶⁶ «Дилетанты, дилетанты! — так пренебрежительно называют тех кто занимается наукой или искусством из любви к ним, из-за доставляемой ими радости, per il loro diletto, — называют те, кто отдал себя им ради выгоды, так как этим людям diletto [удовольствие (итал.) <А.Л. >] доставляют только деньги, которые наука и искусство могут им принести. Это пренебрежительное отношение основывается на низком убеждении, что никто не станет серьёзно заниматься каким-нибудь делом, если его не побуждает к тому нужда, голод или ещё какой-нибудь вид животной жадности. Публика — детище того же духа, и потому она того же мнения; отсюда её непоколебимое уважение перед «людьми специальности» и её недоверие к дилетантам. В действительности же для дилетанта дело является целью, а для специалиста, как такового, только средством. Но только тот и занимается делом вполне серьёзно, кому оно важно непосредственно, кто занимается им из любви к нему, con amore. От таких людей, а не от наёмников всегда исходило всё наиболее значительное.»: Артур Шопенгауэр, *Paralipomena*, op. cit., т. 5, с. 373.

²⁶⁰ Гомер, *Одиссея*, XXI, vv. 405 — 409, op. cit., с. 264.

²⁶¹ Ibid., в. 412 — 414, с. 264.

²⁶² «Однажды мы под вечер оба
стояли на старом мосту.
Скажи мне, спросил я, до гроба
Запомнишь вон ласточку ту?
И ты отвечала: ещё бы!
И как мы заплакали оба,
как вскрикнула жизнь на лету...
До завтра, навеки, до гроба, —
Однажды на старом мосту...»: Владимир Набоков, *Дар*, op. cit., т. 3, с. 84 — 85.

²⁶³ «„Мне очень понравилось то, что вы раз читали на вечере, — сказала она [Зина <А.Л.>]. — О ласточке, которая вскрикнула.“»: Ibid., с. 162.

²⁶⁴ Гомер, *Одиссея*, XXI, в. 410 — 413, op. cit., с. 264.

«... и хотя отдельные эти мысли и впечатления ничуть не были какими-либо новыми или особенными для этого крепконосного, не совсем заурядного, но поверхностного человека (ибо по своей человеческой сути мы делимся на профессионалов и любителей, — Фальтер, как и я, был любитель), они в своей совокупности образовали быть может наиболее благоприятную среду для вспышки, для катастрофической, как главный выигрыш, чудовищно случайный, никак не предсказанный обиходом его рассудка, сверхжизненной молнии, поразившей его в ту ночь в том отеле»²⁶⁷.

В приведённом выше отрывке, который я охарактеризую, как один из наиважнейших моментов творчества Набокова, автор с головой выдаёт себя как ницшеанца, настаивая на упомянутом ещё в *Даре «редчайшем случае»*²⁶⁸. И чтобы хоть как-то упредить читателя, неофита в ницшевских мистериях, в том, что именно ожидает того в следующем абзаце, Набоков заканчивает эту длинную фразу всеми наиболее значимыми образами, некогда пропетыми Заратустрой. Тут и редчайшая «благоприятная среда»²⁶⁹, — так необходимая для рождения ницшевского сверхсущества собранного из многочисленных частей; тут и «чудовищный <Von Ohngefähr> случай»²⁷⁰, нужный для метаморфозы; тут и «Сверх-человек» — «сверхжизненная молния», о которой ещё бывший «оптимистом» Заратустра, пророчествовал толпе²⁷¹; тут и «безрассудность» — лакомство, коим обычно соблазняют да приманивают Диониса: ведь Бог никогда не снизойдёт на «разумного» притворщика вроде уповающего на свою неприкосновенность Кадма с дипломатическим паспортом в кармане штанов.

«Песнь ночного ходока», «*Das Nachtwandler-Lied*», или если говорить гераклитовым языком — *νυκτιπολοῖδι*, — служит фундаментом, на

котором возводится Набоковым вся подготовительная к метаморфозе Фальтера стадия. Будущий «Сверх-человек» опьянён, дух его отправляется странствовать во тьме, сопровождаемый по пятам всеми своими частями. И тут, внезапно происходит взрыв: а лев, окружённый стаей «Духов Святых», несомненно уже поблизости, не далее, чем зароастрийские маги-цари — на пути к вифлеемским яслям.

Льва, кстати, Ницше позаимствовал у Филострата: царь зверей ведёт себя с Заратустрой, как пёс, *зализавший*, по требованию мудреца рану от собственного укуса на теле молодого «человека», излечив тем самым юношу от бешенства. *Выздоровливающий* у Филострата, однако, не только «человек», но и сам пёс.

Ср у Ницше: «*А могучий лев беспрестанно лизал слёзы, падавшие на руки Заратустры, и робко рычал при этом.*»²⁷².

Ср. у Филострата: «... говоря такие слова, он приказал псу лизать рану — чтобы нанесший рану стал в то же время лекарем. После чего юноша вернулся к отцу, узнал мать, приветствовал своих товарищей и отпил воду Каднуса. Аполлоний не оставил также и пса, но, помолвившись богу реки, отправил пса вплавь. Когда тот пересёк Каднус, то он вышел на берег, залаял — чего не случается никогда с бешеными собаками, опустил уши и замахал хвостом, сознавая себя излеченным ...»²⁷³.

А чтобы читатель, тот единственный, кто *имел право* научиться читать, не прошёл мимо образа, к которому отсылает его Ницше, философ прибавляет: «*И поистине, когда перед ним [Заратустрой <А.Л.>] просветлело, он увидел, что у ног его лежал огромный жёлтый зверь, прижимаясь головою к коленям его; из любви он не хотел покидать его и походил на собаку, нашедшую хозяина своего.*»²⁷⁴, — «...that einem Hunde gleich ...»²⁷⁵, настаивает Ницше.

Ещё более интересно, уже для нашего скромного труда, так это то, что персидский лев-аттицист (если только льва не зовут Амасис)

²⁶⁷ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 445.

²⁶⁸ «Отец однажды, в Ордосе, поднимаясь после грозы на холм, ненароком вошёл в основу радуги, — редчайший случай! — и очутился в цветном воздухе, в играющем огне, будто в раю.»: Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 70.

²⁶⁹ «Никто не волен жить где угодно; а кому суждено решать великие задачи, требующие всей его силы, тот даже весьма ограничен в выборе.»: Фридрих Ницше, *Ессе homo*, *op. cit.*, т. 2, с. 710.

²⁷⁰ «„Von Ohngefähr“ — das ist der älteste Adel der Welt.»: Friedrich Nietzsche, *Also sprach Zarathustra*, *op. cit.*, S. 209. Курсив Анатолия Ливри. «„Случай“ — самая древняя аристократия мира»: Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 118.

²⁷¹ «Смотрите, я провозвестник молнии и тяжёлая капля из тучи; но эта молния называется сверхчеловек.»: *Ibid.*, с. 11. Курсив Фридриха Ницше.

²⁷² *Ibid.*, с. 237.

²⁷³ Филострат, *Жизнь Аполлония Тианского*, VI, 43.

²⁷⁴ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 236.

²⁷⁵ Friedrich Nietzsche, *Also sprach Zarathustra*, *op. cit.*, S. 406.

«лижет» *«lecken»*²⁷⁶ слёзы, также как и гадюка, сначала ужалившая, а затем высосавшая свой яд из *тела* Заратустры: именно «гадюка», *die Natter*²⁷⁷, а вовсе не «змея», (*die Schlange*), как неверно перевёл Антоновский²⁷⁸. Ибо гадюка-то позаимствована Фридрихом Ницше для *Так говорил Заратустра* из того же платовского *Пира* — с этой рептилией, а самое главное с действием её яда (*«das Gift»* нем., «яд»; *«the gift»* англ. «дар»²⁷⁹) сравнивает Алкивиад последствия своих отношений с Сократом. Истина, околдованная Дионисом (недоступным Сократу вплоть до предсмертного тюремного заключения), прорывается наружу:

«Всё, что я сообщил до сих пор, можно смело рассказывать кому угодно, а вот дальнейшего вы не услышали бы от меня, если бы, во-первых, вино не было, как говорится правдиво, причём не только с детьми, но и без них, а во-вторых, если бы мне не казалось несправедливым замалчивать великодушный поступок Сократа, раз уж я взялся произнести ему похвальное слово. Вдобавок я испытываю сейчас то же, что человек, укушенный гадюкой. Говорят, что тот, с кем это случилось, рассказывает о своих ощущениях только тем, кто испытал то же на себе, ибо только они способны понять его и простить, что бы он ни наделал и ни наговорил от боли. Ну, я был укушен чувствительнее, чем кто бы то ни было, и притом в самое чувствительное место — в сердце, в душу — называйте как хотите, укушен и ранен философскими речами, которые вливаются в молодые и достаточно одарённые души сильнее, чем змея, и могут заставить делать и говорить все, что угодно.»²⁸⁰, — интересно, кстати, что аристократу, существу наиболее цельному, почти поэту, а тем паче поэту-аристократу, непросто определить где кончается одушевлённое

²⁷⁶ «Der starke Löwe aber leckte immer die Thränen, welche auf die Hände Zarathustra's herabfielen und brüllte und brummte schüchtern dazu.»: *Ibid.*, S. 407.

²⁷⁷ «Da fiel ihm die Natter von Neuem um den Hals und leckte ihm seine Wunde.»: *Ibid.*, S. 87.

²⁷⁸ См. Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 48 – 49.

²⁷⁹ «Немецкое "Gift" [„яд“] – то же слово, что английское "gift" [„дар“], происходит от „geben“ [„давать“] (нем.) и обозначает то, что дают: отсюда и „vergeben“ [„отдать“, „отпустить“] (нем.) и вместо „vergiften“ [„отравить“] (нем.): Артур Шопенгауэр, *Paralipomena*, *op. cit.*, т. 5, с. 446.

²⁸⁰ Платон, *Пир*, в. 217 e – 218 a, *op. cit.*, т. 2, с. 150.

тело, а где начинается *мясистая душа*, а потому и в других человекообразных он прекраснодушно предполагает конституцию подобную своей. Так было во всех нациях и во все эпохи. Ибо над Вселенной, вневременно, властвует Дионис:

«Три дня после роковой ночи, в девять часов утра, Германн отправился в *** монастырь, где должны были отпевать тело (sic! – не душу! Ах уж этот Пушкин с детства напитанный Дионисической мудростью!) усопшей графини.»²⁸¹.

Итак, растворение гадючьего яда в голубой крови (Филоктетова тренировка!) — ни что иное, как воздействие на аристократа диалектики Сократа, которому ницшеанец Набоков, если вспомнить один из тезисов моей предыдущей книги о Ницше, и приподносит заслуженную чашу с хорошо растёртой цикуты в ДАР — точно вымеренную дозу, необходимую для отправки диалектика если на лукианов Остров Блаженных, то на остров юродивых:

«Итак, набоковский роман Дар [“Gift” англ.] — это яд [„Gift“ нем.], который ницшеанец и будущий англоязычный писатель Набоков преподносит [„gebe“ нем.] и Сократу, и его оптимистическому мировоззрению да впридачу и целому сонмищу разношёрстных наследников афинского мыслителя»²⁸².

* * * * *

Вот он, наконец, священный миг метаморфозы у Набокова! — Фальтер-Ницше превращается в «Сверх-человека». Как же это конкретно происходит? Фальтер становится «Сверх-человеком» среди декораций, заимствованных у Ницше в концовке *Заратустры*, когда в пещере пророка собираются воедино все куски «Высших людей», когда поётся опьянённый ночной гимн Вечности. А число его куплетов — по числу апостолов.

В наидионисийской «Das Nachtwandler-Lied», переведённой Антоновским как «Песня опьянения», Заратустра обращается вовсе не к новому «другу» (как утверждает неверный в ницшевском смысле русский перевод), а именно к «человеку»: двенадцатикусковому «Высшему

²⁸¹ Александр Сергеевич Пушкин, *Ликовая дама*, *op. cit.*, т. 3, с. 206.

²⁸² Анатолий Ливри, *Набоков ницшеанец*, *op. cit.*, с. 204 – 205.

человеку», который есть смесь «осколков человека», парнокопытного, птицы и рептилии.

Песнь эта о безумии, о кольце, о жутком промежутке времени, когда «человеку» надлежит быть чрезвычайно осторожным по отношению к своему телу, когда ему предстоит *внимать* шорохам Божественной ступни *скользящей* в белой россыпи клейких сосновых игл. Когда же поётся эта песнь Заратустры? Конечно же в полночь, которая, как известно, — тот же полдень, позже разбавивший себя Фридрихом Ницше:

«*Oh Mensch! Gieb Acht!*

Was spricht die tiefe Mitternacht?», —

«Будь осторожен!», или: «возьми восемь <добавочных кусков человека>!» — не это ли есть истинный смысл «Песни ночного ходока» Заратустры, персидский рецепт излечения человекообразного, выгравированный в год смерти Фридриха Ницше на исполинском камне энгадинского полуострова?

Между ницшевскими полуднем и полночью, разделёнными двенадцатью строфами песни — шесть с одного конца, шесть с другого, если воспользоваться разнополой структурой Эоловых отпрысков, — обычно натягивается Божественная тетива, готовая зазвенеть под зрячими подушечками пальцев аэда, *собственнотелесно* создавшего песнь.

Напомню, как ночью Дионисическая субстанция снисходит на Фальтера:

«Проведя гигиенический вечер в небольшом женском общежитии на Бульваре Взаимности, он [Фальтер <А.Л.>], в отличном настроении, с ясной головой и лёгкими чреслами, вернулся около одиннадцати в отельчик, и сразу поднялся к себе.»²⁸³, — Набоков снова смотрит на часы, и замечает, что стрелки приближаются к полуночи: «*Минуло около получаса со времени его возвращения...*»²⁸⁴.

Дионис спускается во всей своей мощи на «человека». Аполлоническое созерцательное равновесие разрушается, размётывается, разносится к чёртовой матери! Что же до Аполлона, некогда подправившего расчленённого андрогина, то он, временно, до пришествия нового Бога, завершил свою функцию — сновиденческую стадию:

«И Аполлон поворачивал лица и, стянув отовсюду кожу, как стягивают мешок, к одному месту, именуемому теперь животом, завязывал получившееся посреди живота отверстие — оно и носит ныне название пупка. Разгладив складки и придав груди чёткие очертания, — для этого ему служило орудие вроде того, каким сапожники сглаживают на колодке складки кожи, — возле пупка и на животе Аполлон оставлял немного морщин, на память о прежнем состоянии»²⁸⁵.

* * * * *

Небольшое, но необходимое отступление для наилучшей презентации Аполлона в русской литературе: образ пушкинского «сапожника» (некогда заглянувшего в мастерскую к любимому художнику Александра Филипповича) ненароком оказавшийся под пером Набокова, рассуждающего о стихотворческих способностях Чернышевского — не есть ли он сам Аполлон, столь *дурно сшивший* «русского Сократа». Последний схватывается Набоковым в самом пылу схватки с наиболее благороднейшим авангардом поэзии, когда она рубится с прозой, получает от неё раны, полоняет её, и, наконец, сливается с ней, добиваясь, в отпрысках совершенства: «... не понимал [Чернышевский <А.Л.>], наконец, ритма русской прозы; естественно потому, что самый метод, им примененный, тут же отомстил ему: в приведённых им отрывках прозы он разделил количество слогов на количество ударений и получил тройку, а не двойку, которую, дескать получил бы, будь двудольник приличнее русскому языку; но он не учёл главного: пэонов! ибо как раз в приведённых отрывках целые куски фраз звучат именно наподобие белого стиха, белой кости среди размеров, т.е. именно ямба!»²⁸⁶ — впрочем, иные русские прозаики позволяют себе богоборчество истинно фиванско-Дионисическое; они осмеливаются *язвить* уже не царственных жрецов дельфийца, но — самого Аполлона — «Аполлона»-башмачника, дегенерировавшего, в сапогах на мобильной, сиречь *невечной* подмётке, и заразившегося вирусом уродливости души от дурно сшиваемых им тел, а потому размножившегося — что само по себе противно исконной

²⁸³ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 444.

²⁸⁴ *Ibid.*, с. 445.

²⁸⁵ Платон, *Пир* 190 е — 191 а, *op. cit.*, т. 2, с. 118.

²⁸⁶ Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 217.

аполлонической природе: «И отец его, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было: Акакий Акакиевич.»²⁸⁷ — именно с болезнью переписывания, не-творчеством *par excellence*, с физической неспособностью даже к минимуму созиданию «Аполлона»-Башмачкина²⁸⁸ и борется Фёдор, ежевечерне, предночно, излечивая своим преступным Дионисизмом, *через рот переливая в неё здоровье* собственного тела (единственное действенное снадобье!) Зину от «перестукивания» бракоразводных дел адвокатской конторы — «берлинского филиала Зевесовой молнии», где редко встретишь даже подобие человекообразного²⁸⁹.

Дионисическая, освобождающая «человека» ночь, одаривает Зину обещанием — мистическим преддверием блаженства: «Фёдор Константинович целовал её [Зину <А.Л.>] в мягкие губы, и затем она на мгновение опускала голову к нему на ключицу и, быстро высвободившись, шла рядом с ним, сперва с такой грустью на лице, словно за двадцать часов их разлуки произошло какое-то небывалое несчастье, но мало-помалу она приходила в себя, и вот улыбалась — так, как днём не улыбалась никогда.»²⁹⁰ — и тотчас, в процессе описания знакомства Фёдора и Зиной следует нищенский укус Набокова: сотрудницу Зиной, перестукивающую на машинке продукцию досужих вдохновений «писателя-стряпчего» зовут Дора Витгенштейн, что создаёт из неё однофамилицу школьного сотоварища Адольфа Гитлера (оба сверстника с известной фотографии, австрийские финикиец с дорийцем, появились на свет, впитав, каждый по-своему, высвободившийся дух Фридриха Ницше): «Его [Траума <А.Л.>] секретарша, Дора

²⁸⁷ Николай Гоголь, *Шинель* в *Собрании Художественных Произведений в Пяти Томах*, Москва, Издательство Академии Наук СССР, 1960, т. 3, с. 175.

²⁸⁸ «Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его [Башмачкина <А.Л.>] за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписывание; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул, да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тёр лоб и наконец сказал: „Нет, лучше дайте я перепису что-нибудь“. С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписывания, казалось, для него ничего не существовало.»: *Ibid.*, с. 178 — 179.

²⁸⁹ См. Анатолий Ливри, *Набоков нищенец*, *op. cit.*, с. 166 — 168.

²⁹⁰ Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 159.

Витгенштейн, прослужившая у него четырнадцать лет, делила небольшую, затхлую комнату с Зиной»²⁹¹.

* * * * *

Таков Аполлон. После прикасания его лавра, на «человека» нисходит бесноватый Все-Бог, которому одновременно *подобает связывать и развязывать*. Наступает стадия уничтожения, столь необходимого для созидания; «человек», взрывается, разлетается на куски. От наложенных Аполлоном швов — и след простыл. Там, где ступает Дионис, отдельный, аполлонический индивидуум, «осколок человека», стирается с лица Земли — там нет ему на ней места! Уничтожение это происходит именно потому, что «индивидуум» — не более чем *часть* субстанции, способной превратиться в «Сверх-человека». Среда, в которой возможно появление на свет этого нового телесно-духовного существа — матка. Матка эта взрывается, молниеносно трансформируется, и — рождает. Вот что, также согласно Набокову, случается с маточной полостью, меняющейся в свою очередь под воздействием плода-Фальтера, этого подвергающегося метаморфозе нового создания, выталкиваемого в новую среду. Происходит параллельное преобразование двух взаимопенетрирующих друг друга волн. Первую источает Фальтер — эпицентр взрыва, вторая обтекает его извне. Волны — вассалы Диониса — Бога ночного ужаса, спешит *означить* вакхант Набоков: «... сон небольшого белого дома, едва зыблившийся антикомарным крепом да ползучим цветком [«сон, зыблившийся крепом да цветком»! — Эх, Набоков, тянет тебя ввысь Дионис своим стилетом, прочь от аполлонической фразы! <А.Л.>], был внезапно — нет, не нарушен, а, разъят, расколот, взорван звуками, оставшимися незабвенными для слышавших, дорогая моя, эти звуки, эти ужасные звуки»²⁹².

Одного вакхического вопля Фальтера добравшегося до вершины, где Бог предстал его очам, недостаточно Набокову, и писатель продолжает описывать мощь взрывной волны фальтеровой Хиросимы:

²⁹¹ *Ibid.*, с. 172.

²⁹² Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 445.

«Орущий Фальтер (поскольку можно было догадываться, что орёт именно он, — его отворённое окно было темно, а невыносимые звуки, исходившие оттуда, не носили печати [«невыносимые звуки (...) не носили печати»! — Выше, Набоков, ещё выше! <А.Л.>] чьей-либо личности), распространился далеко за пределы дома ...»²⁹³.

Плод аполлонической, созерцательной стадии — беременности, долго вызревает в матке, и достигает, конечно же, исполинских размеров, — слоновых, скажет Ницше о своём вынашивании *Заратустры*: «Это число, именно восемнадцать месяцев, могло бы навести на мысль, по крайней мере среди буддистов, что я в сущности слон-самка.»²⁹⁴. Именно такого вот слоника-сверхсущества, который при выходе из чрева, бивнями (да простят мне зоологи насилие над теорией «эволюции») вспарывает брюхо матери и описывает ницшеанец Набоков:

«То были не свиные вопли неженки, торопливыми злодеями убиваемого в канаве, и не рёв раненого солдата, которого озверелый хирург кое-как освобождает от гигантской ноги, они были хуже, о, хуже... и если уж сравнивать, говорил потом м-сьё Раон, l'hôtelier, то, пожалуй, они скорее всего напоминали захлёбывающиеся, почти ликующие крики бесконечно тяжело родающей женщины, но женщины с мужским голосом и с великаном во чреве»²⁹⁵.

* * * * *

Разберём ещё подробнее каждый этап вечного существования вакхической субстанции. Самое привычное её состояние — реяние над поверхностью *тела планеты*, и Еврипид-Тирезий, перед тем как превратиться в Еврипида-Бромия, вещает о сотворении двойника Диониса Зевсом ради насыщения «чувства справедливости» своей законной супруги, пока Зевесово бедро выполняло материнские функции Семелы; а соорудил Зевс годем Вакха — из воздуха²⁹⁶.

Земля однажды, — где-то недалеко от своего алчного до дарения жизни червонного сердца и рядом с его золотостенной аортой — принимает веками созревающее решение: дать миру плод. Дионисическая сверх-свобода

— Дух Святой — чуёт материнский рефлекс планеты. Дионис начинает клубиться у того места, где Земля распояшет чресла, разомкнёт нежнейшие губы своего запретного органа и подарит миру сверх-новое существо.

Славянская «Земля» происходит от варварского, но ставшего эллинским, «Семела-Ζεμελῶ» — таково имя *первой матери* Вакха²⁹⁷. Дорийцы ли принесли с гималайских высот на будущую родину Пелопса это Дионисийское имя? Существовало ли оно уже у племён, некогда вытесненных ахейцами? Привезли ли финикийцы в Элладу фригийскую Ζεμελῶ, на своих парусниках — не важно, — главное, что ахейцы получили «Семелу», переработали в арийском наречии своего этноса её исконное имя, и, впоследствии, передали вытеснившим их варварам, восславившим Якха, после стольких столетий сопротивления ему: ведь прежде скифы, если верить Геродоту, Вакха ненавидели пуще чем злопыхал на Бога Пенфей — вплоть до того, что расчленили своих князей, посвящённых эллинами в Божьи мистерии²⁹⁸. Уж как потешился Дионис! Какими *не-эллинскими* вакханалиями покуражился над скифами за их *не-аполлоническую* варварскую отказчивость!

Итак, Земля-Семела — тело роженицы. Вакх, сам некогда рождённый ею, нависает над местом, из которого Земля вот-вот исторгнет брата его меньшего. Теперь роль Якха — *майевтика*.

Наконец, Земля принимается рожать свою древнюю истину, цель своего существования во Вселенной — «Слово». Вакх зависает над расцветающим детородным органом. Но в этот момент ему нужно тело, ибо появляющееся «Слово» необходимо во-плотить! Где же самое сочное, самое нежное и вместе с тем самое огнеустойчивое в округе «человечье» мясо?! Эй! Эвое! Где ты!? Самый совершенный — Ха-ха! — «человек» в округе! Приведи-ка его сюда, камер-юнкер императорского двора, *Von Hazard!* — не за эту ли услугу обещан тебе десятилетиями нерукотворный трон?! А! Вот, наконец, она, эта *carna*, лучшая, Дионисийским соусом пропитанная, готовая к восприятию «Слова», могущего теперь *in-карнироваться*. Воспользуемся ка этим «человеком»!

Из тела Семелы рвётся наружу смысл планеты! Муки её невыносимы. Дионис, ставший на время разрешения от бремени своей матери сверх-Артемизием, вытягивает на свет смысл Земли. А на рубеже

²⁹³ Ibid., с. 445 — 446.

²⁹⁴ Фридрих Ницше, *Ecce homo*, *op. cit.*, т. 2, с. 744.

²⁹⁵ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 445.

²⁹⁶ Еврипид, *Вакханки*, v. 290 — 291.

²⁹⁷ См. например, Henri Jeanmaire, *Dionysos, Histoire du culte de Bacchus*, Paris, Payot, 1951, p. 336.

²⁹⁸ См. Геродот, 4, 46.

соприкосновения Бога, матери и её духа бьётся «человек», переживая в это остановившееся мгновение, в своём «человечьем» теле всю историю Загреево-Дионисического существования: странствие в определённую точку Земли, разъятие Титанами и единение-воскресение. Оргазм переживаемый этим «человеком» непередаваем. Космичен. *Порядок его счастья священен*. Звёзды, танцую, выстраиваются в идеальный ряд — редчайший, — которого Вселенная ожидает веками. И как рада отсыревшая, увлажнённая Тартаром, осенняя Мать-Земля *снова* родить Вакха, при помощи Дионисической субстанции! — которая, вобравши в себя новое дитя матери своей, внезапно взрывается. Вспышка эта обозначает: «Слово» снова появилось на свет.

Ну а «человек»? Тело бывшего человекообразного, пропитывается соком плода Земли. Отныне он — «Сверх-человек», — заново сочлennые новое тело и новый дух, вместе испытывавшие оргазм, мощь и напряжение коего даже невообразимы «человеку», однако доступны и Земле и Дионису. Этот «Сверх-человек» впитал смысл Вселенной — сам стал смыслом Вселенной!

Роды закончились. Семела, избавившись от плода, вздыхает и засыпает счастливая. После сна планета залечивает раны и теперь сызнова может, раскинувшись в томной неге, принимать на своём ложе отпрыска Времени, не отказывая в любви всем рождённым ею детям и всем использованным для родов «Слова» «человеческим» телам. Ибо вся история «Сверх-человеческо»-Дионисийских метаморфоз, вся история Вселенной, и цель её существования есть — Любовь, это древнейшее до-Зевесовое создание, божественный андрогин, уранова помесь Эрота и Агапе. Дионисийская же субстанция, завершивши свою повивальную функцию, возвращает себе свободу.

Уникальность образовавшегося «Сверх-человека» в том, что он, на своём прежнем «человеческом» уровне, пережил абсолютно все метаморфозы, к которым, на протяжении всего существования Вселенной *вечно возвращается Дионисическая субстанция* вместе со своей возлюбленной и матерью — Землёй. «Сверх-человек» есть воплощённая Любовь Вселенной. Век его краток.

И каждый раз, когда Земле случается родить новую суть Вселенной, — тотчас возвращается к месту вибрирующего открывающегося отверстия Загрей-Якх-Дионис-Вакх. Вечно возвращается — пенетрирует тело усложняемого «человека» — суть плода планеты, «Слово», и процесс этот вечно сопровождается расчленением и единением

вакхической субстанции, реющей над «человеком» в момент его преобразования. Вечно отлетает от места родов удовлетворённый своей оргазменной *майевтикой* Якх, Дух Святой, — Белоснежная Горлица, присаживающаяся к плодоносному отверстию планеты, то в Вифлееме, то чуть посевнее на — клитор матушки-Земли, недавно перенесшей пластическую операцию, — вершину горы-Арабат. Я имею в виду ту голубку, чьи когтистые лапки, когда они соприкасаются с кожей Земли, производят священный скрежет, подражая (правда излишне громко) появлению на свет истины.

Я *означаю* священные границы для вас, добрые охотники! Для вас, номады-аристократы! Вы являетесь таковыми настолько, насколько чутков ваш слух, чтобы расслышать шаги горлицы, распознать истинную суть производимых ими сотрясений!

Так: история существования Вселенной с начала мироздания — есть «Вечное Возвращение» Диониса. Мироздание же произошло окончательно тогда, когда мать Зевса перехитрила Время, в чьём брюхе место Жизни ненадолго занял камень. А камень этот, превратившийся в пифийский пуп планеты (наличие же пупа предполагает наличие родительницы у самой Земли), *означает*: и ранее, до описанных в *Теогонии* событий происходило сверх-рождение под *эгидой* Загрея; и ранее, скорчившись в муках, раздробленный оргазмом *соединяющийся* «Сверх-человек» содрогался а сладострастных приступах пронизывающей его динамитной мудрости. Так приходите же в храм Дельфийца, дабы послушать откровения *Дионисийки*! А главное — приносите ему дары в благодарность за волшебную шутку, которую может оценить только тот, кто познал суть Вселенной. Ведь окончание ницшевского *Рождения трагедии*²⁹⁹ означает что постоянно происходит в главнейшем храме Аполлона, приютившего в своём лучезарном жилище *вечно блудного сына* — Диониса.

Но после образования «Сверх-человека» необходима ещё и вторая стадия — наделение его Божественными качествами; и я,

²⁹⁹ «... разве не возденет он рук к Аполлону и не воскликнет под напором этой волны прекрасно: „Блаженный народ эллинов! Как велик должен быть между вами Дионис, если делосский бог счёл нужными такие чары для исцеления вас от дифирамбического безумия!“ — А настроенному так человеку престарелый афинянин мог бы возразить, бросив на него возвышенный взор Эсхила: „Но скажи и то, странный чужеземец: что должен был выстрадать этот народ, чтобы стать таким прекрасным! А теперь последуй за мной к трагедии и принеси со мной вместе жертву в храме обоих божеств!“»: Фридрих Ницше, *Рождение трагедии из духа музыки*, *ор. cit.*, т. 1, с. 156 — 157.

принадлежащий к роду «человеческому», только заинтересован в наибольшем количестве попыток усложнения моей расы. Рождённому «Сверх-человеку» надо выжить, скрыться в гостеприимное Зевесово бедро, что удалось лишь единственному его предшественнику – Дионису. «Сверх-человеку» надо уподобиться первенцу Семелы. «Сверх-человеку», несмотря на его страсть, – дикую жажду смерти – необходим второй счастливый случай, цель которого наделение «Сверх-человека» качествами Диониса.

* * * * *

Отступим же ещё раз от классической модели текстового разбора: оставим *Ultima Thule* и вернёмся к Лукиану, но до него – к *Аде, или страсть*, где более подробно описаны те же самые перипетии Семелы, Диониса и усложняющихся набоковских героев, хоть и менее удачливых чем Фальтер. Но для начала вот несколько набросок грифилем, перед тем как перейти к более взрывоопасным краскам:

Третий ребёнок Марины, Люсетт Вин, также как её сводные брат с сестрой, *была выношена первым крупным трудом Фридриха Ницше*. Эта Люсетт проживёт не более двадцати пяти лет – снова цифра-не более-чем-символ во всей своей индийской красе расцветает в набоковском романе³⁰⁰.

Двадцать пять – число глав *Рождения трагедии*: Ницше, начиная этим первым наброском *Заратустры* борьбу со своей эпохой, выбрал для противостояния ей наилучшее оружие – возродить Омира, превзойдя его, перехлестнув собственным λόγος'ом гомеровский λόγος, дважды охватывающий тотальный Λόγος, от «α» до «ω». И если в *Рождении трагедии* Ницше идёт дальше на «1» чем каждая из двадцати четырёх гомеровских песен обоих эпоей, то у ницшеанца Набокова, именно с помощью Люсетт (этого символа *возрождения трагедии* численно устремляющегося в сверх-гомеровские дали) и силится Ван Вин, смешать, в буквальном смысле возделать Землю-Семелу:

³⁰⁰ См. также о роли чисел у Набокова: Anatoly Livry, «Nabokov der Nietzsche – Anhang» in *Nietzscheforschung* Band 13, Berlin, Akademie Verlag, 2006, SS. 239 – 246; Анатолий Ливри, *Набоков ницшеанец*, Ст-Петербург, Алетейя, 2005, с. 239; Anatoly Livry, «La M diterran e de Nietzsche dans l'uvre de Nabokov» in *Slavica Occitania*, 15, Toulouse, 2002, p. 55 – 65 и проч.

«Со смешинкой в глазах Ван придерживал своими сильного ангела руками [sic. Части смеющегося «осколка»-Вана сравниваются Набоковым с руками ангела-андрогина <А.Л.> «his angel-strong hands»³⁰¹] две детских, холодненьких, цвета морковного супчика-пюре ножки за щиколотки и водил как плугом Люсетт, исполняя роль лемеха. Светлые волосенки упали ей на личико, над подолом юбки показались панталончики, но она всё подзуживала пахаря не бросать свой плуг»³⁰².

Но время ещё не пришло – зелен виноград! Телу <ещё-осколка> Вана, – но «осколка» центрального, притягивающего к себе менее значительные части «людей», – знакомы все тонкости движений, направленных на преодоление притяжения Земли. Но мелкие «осколки людей» не располагают сим врождённым даром, хоть и жаждут участия в процессе воздвигания Семелы. Вану же не хватает ни сноровки, чтобы передать свой врождённый дар «плугу», ни сноровки, дабы приставить под нужным углом лемех этого плуга к Земле, подготовить оплодотворение Семелы по всем правилам Зевесова <жизненного> искусства. Вану остаётся лишь дожидаться слияния с «осколками людей», искать более приспособленную к восприятию сверхсемени Семелу-Землю-Терру да ухватить за кудри случай в тот момент, когда Бог, для передачи своих мистерий «человеку» мимикрирует, принимая «человеческий» облик с единственной целью: чтобы испытать на себе насилие «человека», – гнёт винодельного жома, – стать этому «человеку» *понятым*.

В конце своего слияния с Адой-Люсетт, Ван Вин образует троякого «Высшего человека», или, если сказать это так, как хотелось бы самому герою романа: оказывается на Терре, некогда описанной неким Раттером. Происходит это ненадолго – в момент рывка прочь из кольца, зажавшего «осколка человека» на сильвапланской развилке. А всё-таки он был так здорово предрасположен к молниевому-точечному освобождению, этот происходящий из Дионисового царства – Винланда – барон ирландских, сиречь северо-эллинических (если верить тому же Джойсу) кровей – и не имеющий, кстати, абсолютно никакой родственной связи с актрисой дурно игравшей клоделевы пьесы.

Колода перетасовалась превосходно – как заметил по другому, но тоже Дионисическому поводу, мычащий спутник Винланда, то бишь Воланда,

³⁰¹ Cf. Vladimir Nabokov, *Ada or ardor: a family chronicle*, op. cit., p. 91, 92.

³⁰² Владимир Набоков, *Ада или страсть*, op. cit., с. 95.

посетившего Скифию, с которой, несмотря на давнее отсутствие в ней Анахарсиса, Вакх порешил взять привычную дань. Так случается всегда: когда человекообразные изгоняют лозовую песню козла, им приходится платить пеню Дионису своим собственным соком!

Современная Ирландия — рубеж известного эллинам мира. Вкруг неё и других британских островов, впоследствии хаживали на своих судах римские солдаты, поражаясь тяжести морских вод, подобных Стиксу. От ирландской военно-морской базы отталкивается исследователь, дабы сигануть в таинственное Загреево заграничье, добраться до Ultima Thule — шесть дней плавания от Британских островов, сообщает Пифей во второй половине IV-го века до н.э. — за ним, строго след в след, отправляется к Ultima Thule Набоков, с самого марсельского *Порта*, выбравши себе «победную» фамилию: «Накануне он [Никитин <А.Л.>] приехал из Константинополя, где жить стало невтерпёж, в этот древний южно-французский порт ...»³⁰³. Туда устремляется на своей лёгкой, подобно Дионисову чёлну, бригантине и «правдолюбец»-Лукиан самосатский — автор пародии на *Чудеса в Ultima Thule* (да простится мне вольный перевод названия!) Антониоса Диогена, — как сообщает Фотий в своей *Библиотеке*. Да и морское дело, видно, не особенно усовершенствовалось со времён Пифея: «технический прогресс» излишне суетлив, потен, мелочен, и чтобы добраться до «Ultima Thule» во втором веке надо уже восемьдесят дней³⁰⁴, — так что каждый день пожирания сверхевропейского, залившего Атлантиду, водного пространства по пути к Дионисовой Ultima Thule равен году жизни обыкновенного славного мудреца, как заметил Лаэртий³⁰⁵, или количеству глав *Заратустры*. А ведь земля эта воистину Дионисическая: преодолевший восьмидесятидневное плавание Лукиан, ступает на остров, и первое что он делает — повергается ниц перед поджидающей его там стеллой Диониса, этого над- или точнее внеграницного Бога.

Лукиан с сотоварищами пересекают остров, держась русла винной реки, полной *виносодержащими христианами*, встречают девиц, говорящих не только на языке Лидии (страны, чей костюм с происхождением соизволил позаимствовать еврипидов Дионис), но и на индийском

наречии³⁰⁶, — так снова *обозначается* самое важное для эллина и эллинизированного варвара, — граница: мол, я, Лукиан, расширил рубежи мира, продвинулся далее пришедших из Индии дорийцев, встретивши здесь прежнего, нашего индийского Бога!

А два спутника Лукиана, охмелевшие от винных поцелуев, *сливаются* с нимфами в буквальном смысле, — через половой член, — и вырастают, корнями уцепляются в вакхический остров. Новоусложнившийся человекообразный, ставший «човеко»-лозой, тотчас украшается гроздьями с плющом: совокупление спутников Лукиана с Дионисической субстанцией становится вечным, а их капитану ничего не остаётся, как покинуть Землю, вознесшись к Луне, также обитаемой «осколками человека», чьё описание, позднее, вплоть до воспроизведения стилистических форм, лукиановед³⁰⁷ Ницше позаимствовал для живописания облика своих «осколочных» компатриотов:

Ср. у Лукиана: «*Борода у обитателей Луны растёт чуть повыше колена. У них нет ногтей на пальцах ног, у них, в конце концов только один палец на ноге.*»³⁰⁸.

Ср. у Ницше: «*Я не выношу этой расы [немцев <А.Л. >] (...) у которой нет пальцев для пуансов — горе мне! я есть пуансе, — у которой нет esprit в ногах и которая даже не умеет ходить... У немцев в конце концов вовсе нет ступней, у них только ноги ...*»³⁰⁹.

* * * * *

Больно было Зевсу, разродиться Дионисом — снова разгибай золотые зажимы, обливаясь ихором, снова рыдай по испепелённой Семеле, снова готовь вечно (до пришествия македонцев!) дымящийся памятник в назидание законной супруге³¹⁰, — а потому орал Зевс, несомненно, куда ужаснее, чем позднее на провинившихся перед ним богов в восьмой песне *Илиады*.

³⁰⁶ Лукиан, *Правдивые истории*, I.

³⁰⁷ Впервые Ницше упоминает в письме имя «понравившегося ему Лукиана» в 15-летнем возрасте: „*Die mythologischen Gespräche von Lucian gefallen mir sehr ...*“: Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Briefe Kritische Studienausgabe, Februar 1859*, „An Wilhelm Pinder in Naumburg (Pforta, 6/2 1859)“, *op. cit.*, Band 1, S. 47.

³⁰⁸ Лукиан, *Правдивые истории*, I.

³⁰⁹ Фридрих Ницше, *Ессе Homo, op. cit.*, т. 2. с. 761.

³¹⁰ Еврипид, *Вакханки*, v. 6 — 9.

³⁰³ Владимир Набоков, *Порт, op. cit.*, т. 1, с. 290.

³⁰⁴ Лукиан, *Правдивые истории*, I.

³⁰⁵ Диоген Лаэртий, *Солон*, I, 61, 62.

Над страданиями рождающего сверхсущества мужеска пола можно, конечно же, пошутить, как это сделал тот же Лукиан. Можно и попытаться облегчить ему роды, как сделал это Заратустра своей вакхической *май-евтикой*. Набоков же следует совету собственного героя, Константина Чердынцева – ни в коем случае не вмешиваться в то, что происходит в природе-антидарвинистке, польстить ей, сделав вид, что она, вакханочка, хорошо спряталась. Поэтому Набоков просто записывает, – как дошлый скриб-апостол, оказавшись в нужном месте в нужный момент во время родов эмиссара богов, – воспоминания звезднохвостого Аргуса-павлина, называемого в *Ultima Thule* м-сьё *Paon*’ом. И точно также как и пол первой «окончательной матери» Диониса, пол Фальтера установить нелегко, да и скорее всего это вовсе не нужно – ведь герой *Ultima Thule* как-то сразу потерял «человеческие» черты.

От *разгъятия* Фальтера Дионисом – небольшое, но необходимое отступление к Ницше.

Были такие далёкие времена, когда Дионис только пришёл, или скорее *вернулся* в Апию. Но независимо от того, стал ли приход на полуостров его первым визитом, или повторным, племена там жили новые, *не-трагические* – непривычные к Дионисической субстанции. А потому Божеству пришлось напитать собой элиту этих народов: *возрождение* трагедии стало той самой золотой олимпийской цепью, коей грозил Зевс богам³¹¹, и по которой Дионисический дух ежегодно снисходил на слушателя-хоревта, как гоголевский «Бог», по установленной архангелами лестнице в повести *Добротирсового пасичника*³¹². Только ему, этому зрителю-сатиру поначалу пришлось по привыкнуть к присутствию Диониса, дать ему приручить себя. Именно ночной пляской под козлопеснь научался «Дионисической науке» народ-вурденкинд, который, по мнению философа Фукидида, свято верящего в миф, впоследствии получил имя эллинов.

Сам процесс Дионисического формирования чрезвычайно болезнен: расчленение, мгновенное приобретение новой телесной формы, участие в наделении Вселенной новым сверхдухом. Станным, случайным образом, через сверхчувствительную свою элиту весь народ – греки – стал таким сверх-телом. Боль и ликование, сопровождающие греческую метаморфозу описывает Ницше в *Рождении трагедии*.

Степ, степ, степ, вот ещё одна ступенька вглубь Дионисических мистерий (не садись на неё!) – то, что некогда стало доступно грекам как этносу, стало доступно и бывшему «индивидууму», прошедшему через те же стадии, что и весь народ: раскол, «переформирование-усложнение» и, наконец, третья стадия – роды. Ницшеанец-Набоков, обозначив «*ликующие крики*» рождающего «Сверх-человека», тотчас переходит к описанию состояния того, кто несколько мгновений назад являлся лишь чем «человеком»; воспоминание о прошлом его состоянии, понимание происходящей метаморфозы, переполняет Фальтера ужасом до краёв его тела. И Фальтер расплёскивает этот ужас:

*«Трудно было разобрать, какая главенствовала нота среди этой бури, разрывавшей человеческую гортань – боль, или страх, или труба безумия, или же, и последнее вернее всего, выражение чувства неведомого ...»*³¹³.

Неприспособленному же «осколку человека» не по силам *очеловечить* «Сверх-человеческие» метаморфозы. А потому Набоков подчёркивает, – и неединажды, – что попадая в радиус взрывной Дионисической волны, все безуспешно пытающиеся слиться (но никак не подходящие друг другу) «осколки человека» охвачены единственным все-поглощающим их стремлением: прервать звуки, сопровождающие появления на свет сверхистины, или, по крайней мере, не стать свидетелем её рождения – выйти вон из зоны действия Дифирамбического динамита: «... оно-то наделяло вой, вырывающийся из комнаты Фальтера, чем-то, что возбуждало в слушателях паническое желание немедленно это прервать. Молодожёны в ближайшей постеле остановились, параллельно скосив глаза и затаив дыхание, голландец, живший внизу, выкатился в сад, где уже находились эконома и восемнадцать белевших горничных (всего две, размноженные перебежками)». »³¹⁴. «Осколки человека» дробятся Якхом на мелкие части. Ужас их при контакте с Богом именно *панический*, подчёркивает Набоков, то есть достигает уровня сверх-концентрации страха, внезапно переполняющей воинов объятых Дионисом-Аресом. Поднаторевший в вакхических мистериях фиванский пророк-долгожитель также свидетельствует об этом³¹⁵. Что же до

³¹³ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, op. cit., т. 4, с. 445.

³¹⁴ *Ibid.*

³¹⁵ Еврипид, *Вакханки*, v. 301 – 305.

³¹¹ Гомер, *Илиада*, VIII, v. 1 – 27, op. cit., с. 103 – 104.

³¹² Николай Гоголь, *Майская ночь, или утопленница*, op. cit., т. 1, с. 83.

Набокова, то Дионисическая формула «паническое желание» крепко заложено Богом в него и инстинктивно выдаётся им, когда он заводит речь о творцах-нищееанцах, своих *alter ego*. Цитирую ещё раз: «Его [Фёдора <А.Л.>] охватило паническое желание (sic.) не дать этому замкнуться так и пропасть в углу душевного чулана, желание применить всё это к себе, к своей вечности, к своей правде, помочь ему произрасти по-новому. Есть способ, – единственный способ»³¹⁶.

После того, как Набоков перечислил, и чрезвычайно компактно, все нищевские символы, необходимые для того, чтобы обозначить завершение формирования нищевского сверхсущества, он перечисляет, словно заклинание, все ингредиенты, необходимые для вакхического таинства:

«Оружий Фальтер (поскольку можно было догадываться, что орёт именно он, – его отворенное окно было темно, а невыносимые звуки, исходившие оттуда, не носили печати чьей-либо личности), распространился (sic!) далеко за пределы дома, и в окрестной черноте набирались соседи, у одного негодяя было пять карт в руке, все козыри»³¹⁷.

Фальтер уже не личность, не «индивидуум», он именно, *распространился*. Вряд ли стоит говорить о стилистической ошибке: снова Набокова несёт Дионис, автор подчёркивает стилистической несогласованностью, что его герой буквально взрывается при контакте с Богом. Сам Набоков, в момент написания строк, – как Гомер однажды превратившийся в бешеного Ахилла, – становится Фальтером-динамитом, *распространяясь* по берегу Средиземного моря взрывной вакхической волной из *тёмного*, как сам Дионис, окна. Тут же Набоковым подрисовывается «осколок человека» – эдакий *негодяй*, вознамерившийся обжудить случай, которому честно проигрывает мать Мартына Эдельвейса³¹⁸, или который приучается удерживать на расстоянии до поры

до времени, и приручивая его, Ван Вин³¹⁹. Но все усилия и хитрости «человека» безрезультатны – для усовершенствования породы нужна воля Земли и Бога!

* * * * *

Наконец, роды закончены и, как следствие, одно из тех сверхсуществ, которыми, согласно пророчеству Ницше, некогда будет заселена вся Земля, появилось на свет. Отныне, планета не может не стать вотчиной «Сверх-человека». Всё что находится на ней самого лучшего – истинные созидатели, сиречь прямые наследники разорванных кусков андрогинов, их творения тотчас становятся полностью ясны и доступны ему. В то же время, муки «осколков человека», их ненависть и любовь для него – ничто. Боги становятся равными ему, и вот он уже чувствует себя как дома не только в их прихожей, среди Муз, но и в самой Олимпийской Вальгалле. Да и к ангелам – этим андрогином старого ревнивого Иеговы, относится «Сверх-человек» свысока.

Но «осколку человека», ставшему свидетелем Дионисова таинства, физически невыносима метаморфоза, коей подвергается космос, а потому, ужасаясь происходящему, он всеми силами старается восстановить то, что до появления «Сверх-человека» он называл миропорядком, или, по крайней мере, жаждет он проанализировать происходящее, пользуясь для этого собственными «осколочными» мерками.

Мерка мастеров прошлого, писавших о трагедии – «залитая кровью лестница», – могла бы помочь объяснить хозяину гостиницы и жильцам происходящее за дверью фальтеровой комнаты, однако, они, «люди» современные ей не пользуются. Но, даже если бы и приставил м-сьё *Раон* свою «разумную лестницу» к окну Фальтера, ещё не закончившего участия в родах планеты, то вряд ли бы *Раон* постигнул, разглядев его, происходящее:

³¹⁹ «При тайном использовании дополнительной колоды, единственным и безусловным требованием было, пока руки не подготовлены, накрепко запоминать сброшенные карты. Поупражнявшись с карточными трюками пару месяцев, Ван обратился к другим развлечениям. Как ученик он всё схватывал быстро и снабжал каждую склянку этикеткой, не забывая хранить в прохладном месте.»: Владимир Набоков, *Ада или страсть*, *op. cit.*, с. 170.

³¹⁶ Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 303.

³¹⁷ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, с. 445 – 446.

³¹⁸ «Дядя Генрих, отложив газету и подбоченясь, смотрел на карты, которые раскладывала на ломберном столе Софья Дмитриевна. В окна и в дверь напирала с террасы тёплая, чёрная ночь. Подняв голову, Мартын вдруг настораживался, словно был какой-то смутный призыв в этой гармонии ночи и свеч. „Последний раз он у меня вышел в России, – проговорила Софья Дмитриевна. – Он вообще выходит очень редко“. Расставя пальцы, она собрала рассыпанные карты и принялась их вновь таковать. Дядя Генрих вздохнул.»: Владимир Набоков, *Подвиг*, *op. cit.*, т. 2, с. 187.

«Вдруг (покамест хозяин решал вопрос, взломать ли общими усилиями дверь, приставить ли лестницу извне, или вызвать полицию), крики, достигнув последнего предела муки, ужаса, изумления и того, что никак нельзя определить, превратились в какое-то мессиво и оборвались»³²⁰.

Необходимо отдать должное Набокову, ещё до того, как ему пришлось преподавать в американских университетах, он понял как сущность «разумных учёных» моделирует их поведение: когда им попадает что-то недоступное их пониманию, их выбор прост. Надо или понять феномен, но исключительно «по-учёному», или же применить к нему насилие, доставить удовольствия мускулам своих сжатых чандальных челюстей: «взломать дверь» в комнату, где творит сверх-поэт, или же по-лакановски «вызвать полицию». Впоследствии Набоков, изведавши на собственном опыте «мораль и чистоту творчества учёных», вдоволь поиздевается над ними и в *Пнине*, и в *Аде*, или *страсть*. Однако, в начале сороковых годов нищему Набокову можно было полагаться лишь на впечатления своего воспитателя от манер своих бывших коллег:

«Подобно мельницам, работают они и стучат: только подбрасывай им зёрна! — они уж сумеют измельчить их и сделать белую пыль из них.»³²¹.

И далее:

«Я видел, как они всегда с осторожностью готовят яд; и всегда надевали они при этом стеклянные перчатки на пальцы.»³²².

И именно речь «Об учёных» пророк завершает своей коронной фразой: «Ибо люди не равны — так говорит справедливость. И чего я хочу, они не имели бы права хотеть!»³²³, — всё наследство «александрийской культуры» переливается на чешуйках теперешних отпрысков сократических монстров — бесят учёных мирков; «стучащие» научные «мельницы» — идеальные представители александрийской культуры, и для их распугивания мало одного револьвера или романтического ламанчевца; но как могли бы они продолжать перемалывать «человека», если бы мировоззрение до-лагидовых времён снова стало насущным?!

Что будет, если взять, да вырвать с корнем, вопящую как моли, сократическую культуру?!

Дионис-зоолог — распинатель сократических монстров!

* * * * *

Несмотря на чрезвычайную активность на лестнице и в саду, Фальтер завершает Дионисическое таинство в одиночестве: Бог не позволяет «осколкам человека» вмешиваться в свои отношения с избранным вакхантом. И первое, что Фальтер делает, появившись среди «осколков человека», это, конечно же, помочиться у них на глазах на гоголевско-гегелевскую «лестницу», на их представление о священном и прекрасном:

«На естественные вопросы хозяина и жильцов он [Фальтер <А.Л.>] ничего не ответил, только надул щёки, отстранил подошедших и, выйдя из комнаты, стал обильно мочиться прямо на ступени лестницы. Затем лёг на постель и заснул.»³²⁴.

Самое интересное, что с «родившим» Фальтером происходит то же, что и с описанным *Рождением трагедии* эллином, испытанным на себе «эпифанию» Диониса: аполлонический сон — спасительная для поддержания жизни созерцательная стадия — нисходит на него. Без повторного вмешательства Аполлона даже малая толика мудрости Вселенной, переданная тирсом Диониса — смертельна «человеку». Воспитатель Набокова так описал это состояние:

«... в дионисическом опьянении и мистическом самоотчуждении, одинокий, где-нибудь в стороне от безумствующих и носящихся хоров, падает он, и вот аполлоническим воздействием сна ему открывается его собственное состояние, т. е. его единство с внутренней первоосновой мира в символическом подобии сновидения.»³²⁵.

Аттический грек, «осколок человека» (но «хорошо родившийся» кусок), этот зритель-хоревт, получал лишь каплю откровения Божества, мучимого на сцене, — разрываемого на части катами Пенфеями да Ликургами, — и выносящего страдания с ужасной азиатской улыбкой

³²⁰ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, op. cit., т. 4, с. 446.

³²¹ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, op. cit., т. 2, с. 90.

³²² *Ibid.*, с. 91.

³²³ *Ibid.* Курсив Фридриха Ницше.

³²⁴ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, op. cit., т. 4, с. 446.

³²⁵ Фридрих Ницше, *Рождение трагедии из духа музыки*, op. cit., т. 1, с. 63. Курсив Фридриха Ницше.

не «человеческого» <само>презрения. Вкус Дионисовых слёз, запах крови, стекающей с плоти разорванного в клочья Бога одурманивали лучшего из представителей «человеческого», пост-андрогинового рода, заставляли его биться в судорогах, валили его наземь, после чего тому надо было не менее года, чтобы оправиться от вакхического шока, снова найти в себе силы и мужество для приближения к сцене.

* * * * *

В генетической памяти «человечества» запечатлены образы более совершенных созданий, чем прямые наследники отпрысков андрогина. Они подобны Фальтеру, с тем лишь исключением, что по отношению к ним, в отличие от набоковского персонажа, Дионис проявил наивысшую милость, на кою способен Бог. Обратимся же к важнейшему аспекту контакта с Дионисом — смертельной опасности, представляемой прикосновением Бога к индивидууму. Неминуемая смерть, ожидает отчаянного творца, если внезапно смилостивившийся Дионис вдруг не вмешается лично, дабы избавить самонадеянного человекообразного от кары.

Такова история Мидаса, приманившего, благодаря, конечно же Дионисову зелью, самого верного, а значит и наипосвящённейшего в ночные мистерии спутника Вакха. От пленённого Силена узнаёт царь ужасную для «человека» истину. Но Мидас жаждет большего, хоть ему и известно многое: монархическое лидийское происхождение подразумевает факт частичного проникновения в Дионисовы тайны. Мидас настаивает на встрече с Дионисом, в лучших варварских традициях шантажирует его захваченным крупнокопытным *заложником*. И Бог, в обмен на Силена, соглашается наградить Мидаса *даром*.

Стоит перенестись на несколько тысячелетий назад только ради того, чтобы стать свидетелем зрелища священного — улыбки Диониса, загадочной, пророческой, расколотой на тьму и свет, губами тянущуюся к кончику рембрандтовой кисти. Подобная гримаса искривила рот Христа, только что смоченный слюной Иуды, пришедшего исполнить свой долг <преждевременного> весеннего прессовальщика. Такая ухмылка, без сомнения, змеилась на лице Исаяи, предупреждавшего «человечество» об интернетной «паутине» — предпоследней каре Господней.

В обмен на свободу Силена Дионис *вплавляется* в разорванное и тотчас иначе составленное им тело лидийского царя: «Сверх-человек» образовывается, искусственно, насильственно, без рождения Землёю

своего плода. Новосозданному Мидасо-Дионису ничего не остаётся, кроме как приняться за Дионисическое созидание, столь же насильственное, как и способ избранный им для востребования Божьего дара. Отныне Мидас — раб Дионисического творчества, он ваяет скульптуры необычайные, реализует их в золоте, без грамма «элефантиновой» добавки. Каждое из его произведений идеально приближено к оригиналу, что является высшим для эллина комплиментом артисту.

Царственный сверх-Фидий творит без передышки! Дионисический ужас накатывается на него. Он жаждет отдыха! Спасительного сновидения, коим можно *насытиться*! Паузы! Но его сверх-тело продолжает творчески неистовствовать. Вакх выпирает наружу из всех пор тела тирана. О! Превосходнейший из всех когда-либо существовавших ваятелей, Мидас! Куда до тебя юнцу Персею: на всей коже планеты-Семелы нет никого, кто бы лучше тебя скопировал изделия Прометея. И куда до тебя Бенвенутто Челлини, некогда изваявшего этого Персея!

Но подобное существование — пусть даже человекообразного «Высшего» — не может продолжаться:

Помилуй мя! Бог из ненайденной на карте Низы! — восклицает лидийский царь.

Чего тебе надобно, старче? — снова предстаёт перед Мидасом остробородый Бог. И ему с поклоном отвечает царственный старик:

Избавь меня от твоего, Божьего *дара*! [Фео-дора <А.Л.>]

Проблематичность для Бога создавшейся ситуации заключается в том, что если Дионис снизошёл до «клонирования» «Сверх-человеческого» тела, то обратная метаморфоза, о которой умоляет Мидас — исключение сверх-тела из Вселенной, — не может произойти, если не будет совершенно повторного насилия над этой Вселенной, чьей составной частью это новое тело стало. Мидас требует от Диониса убрать из Вселенной новый, но уже ставший незаменимым ингредиент, требует всеазиатской, евро-азиатской, планетной экологической катастрофы, требует права прекращения вакхического ваяния! Требует жизни! Требует «человеческого» бытия!

И вот, по мановению тирса смилостивившегося Диониса патоковый Пактол впитывает в себя Дионисов дар, а Вакх получает во владение всё мидасово царство. Мир притерпевает метаморфозу. Мидас *обезДионисичен*, и его тело, измождённое неистовой отдачей *вчленённой* в него Дионисической субстанции, может наконец снова поглощать,

перемалывая их зубами, пластические образы, необходимые для того, чтобы лидиец, который на поверку оказывается куда «проще» «Сверх-человека» описанного в *Заратустре* – ибо куда более жизнелюбив! – смог выжить.

Фальтеру не достанется подобной милости от Диониса.

И хоть судьба Фальтера во многом сродни мидасовой метаморфозе, набоковский герой испытывает на себе не малую толику прикосновения Диониса. Нет! Фальтер был избран благодаря редчайшей телесной сверх-крепости, по-Загрееву разорван, снова спаян ихоровой сваркой, – а весь этот процесс сопровождался подлинными роды Земли. Следовательно, Фальтер подвергся тотальному воздействию Бога. Дионис переливает в Фальтера свою мудрость: сверх-σωφροσύνη переполняет «Сверх-человека» до краёв. То что знает Дионис, знает теперь Фальтер. Но как бы крепко Фальтер не был теперь создан, Дионисова мудрость расплавляет его тело изнутри: век «Сверх-человека» недолог! Начинается болезнь протагониста *Ultima Thule*, и описывая её, Набоков мастерски травестирует (немного ускоряя её ход для нужд жанра) болезнь Фридриха Ницше: появляется, например, зачинательница фёрстернищества в Европе и принимается ухаживать за своим «любимо-ненавистным»³²⁶ братом: «Утром хозяин предупредил по телефону его сетру, что Фальтер помешался, и полусонный, вялый, он был увезён восвояси.»³²⁷.

Симптомы фальтерowego недуга не только травестируют болезнь Ницше, но и подчас прямо копируют её. Эта смесь недугов Ницше, имминативного и подлинного, появляющаяся на страницах *Ultima Thule*, стоит того, чтобы остановиться на её генеалогии. А её, по-моему, следует искать в мировоззрении писателей и риториков эпохи, которую в англосаксонских университетах называют «эллинистической», а во французских – «эллинистической и имперской», то есть того племени *аттицистов*, названного Ницше «насмешливыми Лукианами древности»³²⁸. Многие из них не являлись греками по рождению, но, как и Набоков, принадлежали к тем «эллинизированным варварам», которые стали последними защитниками Греции от варваров за-граничных: македонских,

³²⁶ «Heute Mittag gegen zwölf Uhr entschlief mein heiss-geliebter Bruder Friedrich Nietzsche. Weimar, den 25. August 1900. Elisabeth Förster-Nietzsche, geb. Nietzsche.» Письмо Элизабет Фёрстер-Ницше in Дом-Музей Фридриха Ницше в Сильс-Марии.

³²⁷ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 446.

³²⁸ Фридрих Ницше, *Рождение трагедии из духа музыки*, *op. cit.*, т. 1, с. 96.

римских, германских (если сослаться на Аристотеля³²⁹, Плутарха да и самого Александра³³⁰). Но вот от кого действительно стоило защищать Элладу с её Гомером и Пиндаром, так это от самих *варваризированных* греков. Такими героями «эллинского сопротивления» стали и битиниец Дион Златоуст, и Гелиодор, и Филострат. Спротивлялись они засилию варварства единственным оружием, имеющимся в распоряжении у писателя – словом.

Можно только представить себе презрение оторвавшегося от *Илиады* эллинистического скептика – к примеру от строк, где царственный Одиссей награждает прото-демократа, кривого и горбатого Терсита, уда-ром царского же жезла, – осматривается и замечает десятки, сотни, тысячи Терситов, заполучивших власть с правом голоса, и насаждающих «добродетель» тетов, метеков да недавних вольноотпущенников с фригийскими колпаками набекрень. Сколько мук должны были пережить эти фригийцы и сирийцы, владевшие дорийским диалектом не хуже Феокрита, ионийским не хуже одинокого стилиста Фукидида, а эолийским – куда лучше пёстросапожной Сафо, *le poëte*! А потому их первым жиз-неспасительным рефлексом стало – отсечь, как впоследствии рекомендовал «физиолог» Ницше, – нездоровый член, четыре-пять предыдущих, приближающих греков к демократии, столетий и вернуться к Гомеру, к Гесиоду, к Архилоху или, как минимум, к Платону:

«Если в организме самый незначительный орган хотя бы в малой степени ослабляет совершенно точное проявление своего самопод-держания, возмещения своей силы, своего „эгоизма“, то вырожда-ется и весь организм. Физиолог требует ампутации выродившейся части, он отрицает всякую солидарность с нею, он стоит всего дальше от сострадания с ней»³³¹.

Всё написанное после стилиста-Платона не стоит внимания! Так считали греки-диссиденты, и *μῆτις* этими эллинизированными варварами *λόγος* Гомера или Эсхила – есть их желание скрыться от *неДионисического*, анти-Дионисического, варварства, есть их мечта о получении статуса беженца в стране некогда управляемой Вакхом, ещё не изгнанным

³²⁹ См. Аристотель, *Политика*, VII, 1324 В, 11.

³³⁰ «Не кажется ли вам, что греки прогуливаются среди македонян, словно по-лубоги среди диких зверей?»: Плутарх, *Сравнительные жизнеописания*, Александр и Цезарь, LI, *op. cit.*, т. 2, с. 413.

³³¹ Фридрих Ницше, *Ессе homo*, *op. cit.*, т. 2, с. 742. Курсив Фридриха Ницше.

из Греции излишне «разумным» Сократом и его маской – кощунственным, домакедонским Еврипидом³³².

Набоков страдает столь же непримиримой «*аттицистской* варварофобией». Вот лишь некоторые из симптомов вышеозначенного «недуга»: современное нам общество, где верховодят, подвывая, последователи Фрейда и Маркса Набокову ненавистно. Об этом он заявляет устами Шейда – сверхевропейской поэтической *тени* Заратустры:

*«Теперь я буду говорить о зле, как никто
Не говорил ещё. Я ненавижу такие вещи, как джаз,
Кретин в белых чулках, терзающий чёрного
Бычка, исполосанного красным, абстрактный bric-à-brac;
Примитивистские маски, прогрессивные школы,
Музыка в супермаркетах, бассейны для плавания,
Изверги, тупицы, филистёры с классовым подходом,
Фрейд и Маркс ...»*³³³.

Этот ницшеанец просто презирает демократическую мокроту (ударение на предпоследнем, а не на последнем слоге, предпочтённом политкорректным французским *traditore* Дара): «*Вообще, я бы завтра же бросил эту тяжкую, как головная боль, страну (...) где из тумана какой-то скучнейшей демократической мокроты, – тоже фальшивой, – торчат всё те же сапоги и каска ...*»³³⁴, – презирает Набоков и порождённую демократией коммунистическую тиранию: *Я презираю коммунистическую веру, как идею низкого равенства, как скучную страницу в праздничной истории человечества....*³³⁵. По-ницшеовски издевается Набоков и над тягловой силой оптимистической идеологии – оскраченными «интеллектуалами»:

«Ни один поганый универсалист с грошовым интеллектом и чёрствой душой не смог бы дать объяснение (и в этом заключается моя сладчайшая месть за несправедливое принижение труда всей

³³² «... так как ты [кощунствующий Еврипид <А.Л.>] покинул Диониса, то и Аполлон покинул тебя ...»: Фридрих Ницше, *Рождение трагедии из духа музыки*, *op. cit.*, т. 1, с. 96.

³³³ Владимир Набоков, *Бледный огонь*, Перевод Веры Набоковой, Michigan, Ardis Publishers, 1983, с. 63.

³³⁴ Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 315.

³³⁵ Владимир Набоков, *Юбилей*.

*моей жизни) раскрывающимся в этих и подобных обстоятельствах причудам индивидуума»*³³⁶.

Точно также как Лукиан и Лонгус, Набоков не снизосходит до современного ему русского языка: он пишет не на *советизированном* койн, но ищет убежища в словаре Даля, конечно, *случайно* оказавшегося рядом с Гомером:

*«Однажды, на рыночной площади посреди Кембриджа, я нашёл на книжном лотке среди подержанных Гомеров и Горацийев Толковый Словарь Даля в четырёх томах. Я приобрёл его за полкроны и читал его, по несколько страниц ежевечерне, отмечая прелестные слова и выражения: „ольял“ – будка на баржах (теперь уже поздно, никогда не пригодится).»*³³⁷.

Набоков отметаёт целые поколения отечественных литераторов и возвращается к единственному, стоящему внимания – Пушкину, русскому Гомеру: «*Не трогайте Пушкина: это золотой фонд нашей литературы.*»³³⁸.

Эллинизированный варвар может быть также изгнан со своей родины, он может потерять богатство и власть, как например это произошло с Дионом Хризостомом. Но единственное, что такой беженец уносит с собой, это его язык, язык Гомера, одним словом – Элладу. И можно только возблагодарить императорскую немилость, лишившую некоторых эллинистических литераторов всего, кроме единственного, что можно отнять вместе с жизнью – Слово Божие; бедствия же пережитые ими, лишь придали мощь их искусству.

Набоков становится эллинизированным варваром XX-го столетия со всеми рефлексам присущими *аттицисту*-ницшеанцу. После изгнания из России, он уже не может позволить себе продолжать существование петербургского полу-денди, наследника барина-демократа. В последнее богатство, оставшееся ему – язык русского Гомера-Пушкина, Набоков вцепляется мёртвой хваткой: в Англии, Германии, Франции, США, Швейцарии принимается он совершенствовать пушкинский слог. Подобный процесс спасения пушкинского слова в берлинском

³³⁶ Владимир Набоков, *Ада или страсть*, *op. cit.*, с. 227.

³³⁷ Владимир Набоков, *Другие берега*, *op. cit.*, т. 4, с. 277.

³³⁸ Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 66.

лесу Набоков описывает в *Даре*: «Закаляя мускулы музыки, он [Фёдор Годунов-Чердынцев <А.Л.>] как с железной палкой, ходил на прогулку с целыми страницами Пугачёва, выученными наизусть.»³³⁹, и далее, когда тактильно, как лавр Аполлона, ощущаешь прикосновение к телу слога Пушкина и впитываешь его с сонмом сновидений, уже твёрдо веруя в возвращение Вакха, ожидая Бога с минуты на минуту:

«За грюневальдским лесом курил трубку у своего окна похожий на Симеона Вырина смотритель, и также стояли горшки с бальзаминном. Лазоревый сарафан барышни-крестьянки мелькал среди ольховых кустов. Он [Фёдор Годунов-Чердынцев <А.Л.>] находился в том состоянии чувств и души, когда сущность, уступая мечтаньям, сливается с ними в неясных видениях первосонья.

Пушкин входил в его кровь. С голосом Пушкина сливался голос отца.»³⁴⁰ — «отца», случайно оказавшегося на Востоке в пленниках, заложниках, то есть — *ὄμιτρος* — отца Фёдора Годунова-Чердынцева, нового старца Гомера, возвращённого Набоковым в его исконное персидское состояние, а возможно, и получившего одновременно своё изначальное имя — Тиграна, — от названия зверя, коего так любит впрягать в свои колесницы Дионис! «Сверх-Пушкинско-Гомеровское кольцо» смыкается верой Елизаветы в возвращение мифа из сверх-азиатского плена, получением этим мифом *статуса выздоравливающего*; в сей вере признаётся она, поедая тот самый иссохший виноград (что делает *ежедневно*, сотворяя молитву Богу-изгнаннику), и снова *возвращаясь*, со всем «человеческим» стыдом к теме *ужасного* Бога:

«... лёжа на диване и быстро-быстро поедая изюм, без которого не могла прожить ни одного дня, она [Елизавета <А.Л.>] заговорила о том, к чему постоянно возвращалась вот уже скоро девятый год, снова повторяя — невнятно, угрюмо, стыдливо, отводя глаза, словно признаваясь в чём-то таинственном и ужасном, — что всё больше верит в то, что отец Фёдора жив, что траур её нелепость, что глухой вести о его гибели никто никогда не подтвердил, что он где-то в Тибете, в Китае, в плену, в заключении, в каком-то отчаянном омуте затруднений и бед,

что он поправляется после долгой болезни, — и вдруг, с шумом распахнув дверь и притопнут на пороге, войдёт»³⁴¹.

Да и не верить в возвращение «отца» для «эллинизированного варвара» вроде Набокова (оттого варварство презирующего неумолимо), есть признак *βάρβαρος*. То же ощущает герой-поэт *Дара*: «Он [Фёдор Годунов-Чердынцев <А.Л.>] знал, кто *войдёт сейчас*, и теперь мысль о том, как он прежде сомневался в этом возвращении, удивляла его: это сомнение казалось ему теперь тупым упрямством полоумного, недоверием варвара, самодовольством невежды.»³⁴².

Но ещё задолго до написания *Дара*, Набоков, в обращении к сотоварищам по изгнанию описывает способ воинственного изъятия Греции у варваров. Набоковский эссе *Юбилей* заканчивается следующей любобпытной фразой: «Повторим в эти дни слова того древнего воина, о котором пишет Плутарх: ночью, в пустынных полях, далеке от Рима, я раскинул шатёр, и мой шатёр был мне Римом.»³⁴³. Какой же шатёр раскинул Набоков в пустынных полях Германии своей? Конечно же шатёр пушкинского Слова — Слова эллинизированного, ибо именно в этом шатре, посреди пустыни, застал Пушкина, обуянного Якхом, Гнедич с Илиадой в руках:

«С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали,
И светел ты сошёл с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.

И что ж? ты нас обрёл в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.»³⁴⁴.

Не Плутарх со своим пресловутым «легионером» интересен здесь, но сам Набоков, позаимствовавший, для своего эссе, концовку из книги

³⁴¹ *Ibid.*, с. 78.

³⁴² *Ibid.*, с. 319. Курсив Набокова.

³⁴³ Владимир Набоков, *Юбилей*.

³⁴⁴ Александр Сергеевич Пушкин, *Гнедичу, op. cit.* т. 1, с. 507 – 508.

³³⁹ *Ibid.*, с. 87.

³⁴⁰ *Ibid.*, с. 88.

своего собрата по драгоценнейшему несчастью — у эллинистического писателя Филострата, чей Аполлоний, эта ипостась пифагорейского Заратустры, так объясняет свою страсть к эллинскому любомудрию: «... для мудреца Греция повсюду, и мудрец не считает ни одну страну пустынной или варварской, ибо он живёт под взором Добродетели, поэтому, даже если он окружён лишь небольшим количеством людей — миллион глаз наблюдает за ним»³⁴⁵.

Точно также, как «Греция» Аполлония (до-демократическая Панаэллада Гомера и Гераклита), Россия Юбилея — это Россия пушкинского слога, Россия пушкинского ритма, Россия пушкинской греческой весёлости: позволительно смеяться всем, даже над Гомером. Ибо смех над Гомером воскрешает аэда. Теперь верящий в него может прикоснуться к его кисти, за руку провести его по рубежу второго и третьего тысячелетий — не одаривая поэта ненужным ему поводырём, но облагораживая его присутствием лишённую Слова скуку современности, и давая шанс тем, кто Словом этим чреват. Опять та же анти-сократическая майевтика!

Конечно, на Западе Набоков оставляет язык Пушкина; он переходит на французский во Франции, на английский — в США, сохраняя его и позже, в Швейцарии. И это не искушение чужими наречиями, нет! Тотальный Λόγος начинает пенетрировать Набокова, и он уже не в силах противиться его потоку: любого соприкосновения с λόγος'ами наций достаточно Набокову, те перехлёстывают в Набокова, ассимилируются им, избирающим наисочнейший оргиастический ритм Джойса, блики прустовской Атлантики. Но над всем океаном звуков давит почти-немец Ницше, жрец Диониса, распаивающего перед Набоковым двери запретных цитаделей-издательств, да и сам писатель рвётся туда, утомлённый маргинальным состоянием русской литературы на Западе. Богатство и известность, полученные им в дар за послушание Богу сравнимы разве что со славой и наградами Филоктета и служат вакханту лишь для более ревностного служения Дифирамбу. Но даже будучи франко-англо-язычным писателем, Набоков продолжает сопротивление *одемокративанию* литературы. Его воспитателями остаются обожаемый тем же Пушкиным Шекспир вместе с Шатобрианом, коего Пушкин собирался переводить, если бы случай оставил ему на это малость времени, сиречь, если Дионис испросил бы у деда отсрочки.

Вернёмся же теперь к Фальтеру; набоковская диагностика его мук соответствует, подчас доводя их до подлинно аристофановской комич-

ности, истории болезни Фридриха Ницше и высказываниям философа пост-Заратустровского периода о самом себе: «...Фальтер через некоторое время начал свободно двигаться, и даже иногда посвистывать, и громко говорить оскорбительные вещи, и хватать еду, заперщённую врачом. Перемена, однако, осталась. Это был человек, как бы потерявший всё: уважение к жизни, всякий интерес к деньгам и делам, общепринятые или освящённые традиции чувства, житейские навыки, манеры, решительно всё. Его было небезопасно отпускать куда-либо одного, ибо с совершенно поверхностным, быстро забываемым, но обидным для других любопытством, он заговаривал со случайными прохожими, расспрашивал о происхождении шрама на чужом лице или о точном смысле слов, подслушанных в разговоре, не обращённом к нему. Мимоходом он брал с лотка апельсин и ел его с кожей, равнодушной полуубкой отвечая на скороговорку его догнавшей торговли. Утомясь или заскучав, он присаживался по-турецки на панель и старался от нечего делать поймать в кулак женский каблук как муху. Однажды он присвоил себе несколько шляп, пять фетровых и две панамы, которые старательно собирал по кафе, — и были неприятности с полицией»³⁴⁶.

Дионис начал *разъедать* Ницше задолго до туринской конно-слёзной катастрофы, — апоплексического удара³⁴⁷ — послужившей лишь явным, для «человеческих» глаз, сигналом гибели: после возведения Ницше в титул *Principis Tourinorum*, Бог безжалостен к своему вакханту.

Асклепиад из *Ultima Thule* также не особенно взволнован наипервейшими симптомами реакции Фальтера на контакт с Дионисом, недооценивая, таким образом, разрушительность Божьей мощи. Врач, привыкший к успокоению страданий «осколков человека», видит у Фальтера не последствия «сверхжизненной молнии, поразившей его в ту ночь ...»³⁴⁸, как называет сам ницшеанец Набоков вакхический перун, но — ударчик, не более: «Врач, обычно лечивший у них, предположил наличие ударчика и прописал соответствующее лечение»³⁴⁹.

Когда же «традиционная медицина» исчерпала свои возможности, на сцену *Ultima Thule* выскакивает психиатр-иллюзионист — ещё одна

³⁴⁶ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 447.

³⁴⁷ К. А. Свасьян, *Хроника жизни Ницше* in Фридрих Ницше, *op. cit.*, т. 2, с. 826.

³⁴⁸ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 445.

³⁴⁹ *Ibid.*, с. 446.

³⁴⁵ Филострат, *Жизнь Аполлония Тианского*, VI, 34.

ипостась «венского шарлатана». Но самое интересное это то, что способ лечения, предлагаемый этим итальянизированным Фрейдом сродни тому сценарию, что прежде предлагал было другой психотерапевт, Юлиус Лангбен: инсценировка бутафорского царского двора, возведение больного Фридриха Ницше в шутовское монархическое достоинство³⁵⁰.

Ср. у Набокова: «... в сложных случаях приходилось прибегать чуть ли не к театральному, в костюмах эпохи, действию, изображающему определённый род смерти предка, роль которого давалась пациенту»³⁵¹.

Лангбену так и не пришлось испытать действие своей терапии на Ницше; что же касается психиатра *Ultima Thule*, то после того, как он узнал, что родитель Фальтера являлся, на свой лад, верным жрецом Диониса («Пораспросив сестру Фальтера, итальянец выяснил, что предков своих Фальтеры не знают, их отец, правда, был не прочь напиться пьяным...»³⁵²), решил всё-таки попробовать симпровизировать на Адаме Ильиче «трагедию» собственного сочинения. Сам того не подозревая — разумный «осколок человека», — вошёл с контакт с Дионисической субстанцией, хитростью выудил Божественную тайну из сверхмеханизма — Фальтера, которого она уже порядочно разъезла изнутри. Выяснилось, что «учёный» оказался вовсе не подготовлен к контакту с материей, чьё прикасание некогда отправляло в нокаут даже натренированных потомков дорийцев. А потому единственный возможный исход выплёскивания из Фальтера на итальянца Дионисической субстанции мог быть только — летальный. Что и не замедлило произойти:

«... сам врач, наполовину съехавший с кресла на ковёр, с интервалом белья между жилетом и панталонами, лежал, растопырив маленькие ноги и откинув бледно-кофейное лицо, сражённый, как потом выяснилось, разрывом сердца»³⁵³. Набоковская шутка завершилась. Маленький «человек» мёртв. Ну что же!

³⁵⁰ Во время болезни Фридриха Ницше Ю. Лангбеном была предпринята попытка излечения философа созданием бутафорского королевского двора, где Ницше должен был быть королём. См. К. А. Свасьян, *Фридрих Ницше: мученик познания* в Фридрих Ницше, *op. cit.*, т. 1, с. 36 — 37.

³⁵¹ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 447.

³⁵² *Ibid.*

³⁵³ *Ibid.*, с. 448.

И вот, наконец-то, начинается спектакль, к которому Набоков так долго готовил нас — диалог «Сверх-человека»-Фальтера с частью разорванного «человека» — Синеусовым, более того — части разорванного «человека», доведённого отчаянием до предела, ибо его «душе» (которая, как заметили Гераклит с Гоголем, более многознающа, чем разум) доподлинно известно, что злорадные боги, которые так любят развлекаться трагедиями в жизни и на сцене, навеки отняли у него два куска, слияние с коими, — возможно! — сделало бы из него «Высшего человека», часть сверх-существа подобного Фальтеру.

Перед самым началом диалога Набоков расставляет ницшевские вехи; для Синеусова Фальтер-Ницше связан с югом, Средиземноморьем: «Однако, прежде чем оставить юг, я должен был непременно повидать Фальтера.»³⁵⁴. Ибо вобщем-то для «юга» покидает Ницше Германию; к «югу» ведёт его долгий философский путь. Там, на «юге», среди эллинских колоний, поджидает Ницше Дионисова тайна; постепенно притягивает она его к себе, чтобы *влиться* в него со смертельными для немецкого пророка последствиями. В конце концов одна лишь «финская часть» Верхнего Энгадина связывает Ницше с севером — да и то лишь имажинативно-географически, ибо, как напишет философ своему наперстнику, сама по себе воронка с центром в Сильваплане, не принадлежит планете, является *куском* сверх-земли³⁵⁵: север и юг — два конца *лука* единённые континентной тетивой в «сверх»-точке Европы³⁵⁶.

Временами Ницше скрывается на юге — в Генуе, в Турине, или (если приблизиться к месту действия *Ultima Thule*), — в Ницце, где наш «поляк»-философ и пишет предпоследнюю часть *Заратустры*. Неметчина — страна антиподов Ницше (... в Мюнхене живут мои антиподы)³⁵⁷, государство пошлости, и, в конце концов — место, где нельзя творить (о чём с ним, безусловно, можно и поспорить, особенно если вспомнить Дионисическую, почти фиванскую, топографию Наумбурга, — главное не вступать в общение с аборегенами, для которых Гейдельберг и Тюбинген

³⁵⁴ *Ibid.*, с. 450.

³⁵⁵ „Stück Ober-Erde“: Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Briefe Kritische Studienausgabe, Januar 1880 — Dezember 1884*, „An Franz Overbeck in Basel (Postkarte) (Sils-Maria, 23. Juli 1881)“, *op. cit.*, Band 6, S. 110. «кусочек высшей земли». Перевод Анатолия Ливри.

³⁵⁶ См. Friedrich Nietzsche, *Menschliches, Allzumenschliches II, Der Wanderer und sein Schatten 338* in Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Werke*, *op. cit.*, Band. 2, S. 699.

³⁵⁷ Фридрих Ницше, *Ecce homo*, *op. cit.*, т. 2, с. 709.

— заповедники чреватые опасностями их вислозадым демократическим душонкам!), противопоставляется полуденному морю и Провансу с его халкионическим небом: «В следующую затем зиму, под халкионическим небом Ниццы, которое тогда заблестало впервые в моей жизни, нашёл я третью часть Заратустры.»³⁵⁸. Позже я поясню как Гея — Германия напитывала, до поры до времени, пока могла, своего неблагодарного блудного сына.

Но перед тем, как предоставить *послеродовому* Фальтеру право голоса, Набокову необходимо указать на ещё один симптом «заболевания» героя, травестирующий образ Фридриха Ницше — что равносильно появлению самого философа на страницах произведений этого апатрида с психикой Лонгуса и Лукиана.

В своём русскоязычном творчестве Набоков часто обращается к Сократу прямо. Оставим загробные кущи англоязычного *Бледного огня*, где вместо девиц, и, что выглядит ещё более издевательски с лукиановской точки зрения, юношей (обещанных пророком *Корана* вкупе с вином), «ясноумному», как Жид, Шейду мыслятся беседы с Сократом³⁵⁹. Но ещё задолго до этого, в четвёртой главе *Дара*, Набоков превращает паррана русских революционеров в ипостась афинского диалектика³⁶⁰. Несколько позже, в *Ultima Thule*, снова наступает момент по-ницшевски поиздеваться над всем святым для «учёных». Подшутить, кстати, не воспрещается и... над самим «воспитателем» — Фридрихом Ницше. Не даром же сам пророк советовал: «Поистине, я советую вам: уходите от меня и защищайтесь от Заратустры! А ещё лучше: стыдитесь его! Быть может, он обманул вас!»³⁶¹.

Поэтому и Фальтер-Ницше на мгновение предстаёт перед читателем в маске Сократа, оказываясь вдруг эдаким усидчивым, но не слишком даровитым Еврипидом и принимается развлекать посетителей *майевтикой* ксантиппова мужа. Интересно, что Синеусов будучи к Дифирамбу глух напрочь, тотчас распознаёт родственный диалектический «ритм»: «Я узнал, наконец, и это мне было особенно важно, что последнее время, несмотря на упадок сил, он [Фальтер <А.Л.>] стал необыкновенно

разговорчив и целыми днями угощает посетителей — а к нему, увы, проникали другого рода любопытные, чем я, — придиричивыми к механике человеческой мысли, странно извилистыми, ничего не раскрывающими, но по ритму и шипам почти сократовским разговорам»³⁶².

Да и то верно! Почему бы ипостаси Фридриха Ницше и не воспользоваться сократовской маской? Надеть-то её вовсе не зазорно. Ведь если Сократ, частенько останавливаемый своим даймоном-добродеем, и увлекается «логикой», то я уверен, окажись рядом с ним некогда доброжелательный дух, Сократ бы не замедлил тотчас *доказать* обратное своему: εἰπερ πίστήμη σὺν ῥετή, τί διδακτόν στί.

Иесли сократовы слова, вылетевши трудноуловимым воробьём-Азazelло наделали бед (кто знает, быть может будущий ехиднейший психолог эллинист и вычислит, как временное перемирие с Ксантиппой предыдущим вечером, сопровождаемое опьянением да подписанием с супругой краткосрочного телесного пакта и побудило Сократа на оптимистическое мнение о «людской» добродетели?), ничего не мешает самому Сократу оставаться достойным восхищения Фридриха Ницше, наградившего афинянина собственным вакхическим титулом и, в придачу, даром *крысолова*:

«Умирующий Сократ. Я восхищаюсь храбростью и мудростью Сократа во всём, что он делал, говорил — и не говорил. Этот насмешливый и влюблённый афинский урод и крысолов, заставляющий трепетать и заливать слезами заносчивых юношей, был не только мудрейшим болтуном из когда-либо живших: он был столь же велик в молчании»³⁶³.

Ср. Фридрих Ницше устами своего знакомого-Вакха о самом себе: «Идя лесом и полный самых ребяческих мыслей, я машинально вырезал себе из дерева свистульку. Но стоило мне поднести её к губам и засвистеть, как мне предстал бог, давно знакомый мне, и сказал: „Ну, крысолов, чем ты тут занят? Ты, недоделанный иезуит и музыкант, — почти немец!“ (Я подивился тому, что богу вздумалось польстить мне таким образом, и решил про себя быть с ним начеку)»³⁶⁴.

³⁵⁸ Ibid., с. 748.

³⁵⁹ Владимир Набоков, *Бледный огонь*, op. cit., с. 37.

³⁶⁰ См. например: Anatoly Livry, «Nabokov der Nietzsche — Anhang» in *Nietzscheforschung* Band 13, Berlin, Akademie Verlag, 2006, SS. 239 – 246.

³⁶¹ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, op. cit., т. 2, с. 56.

³⁶² Владимир Набоков, *Ultima Thule*, op. cit., т. 4, с. 450.

³⁶³ Фридрих Ницше, *Весёлая наука*, op. cit., т. 1, с. 659.

³⁶⁴ Friedrich Nietzsche, Nachlass 1882-1884 in Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Werke*, op. cit., Band 14, SS. 61, 392 – 393. Русский перевод по К. А. Свасьян, *Фридрих Ницше: мученик познания* в Фридрих Ницше, op. cit., т. 1, с. 20 – 21.

Наконец перед читателем предстаёт долгожданный «Сверх-человек» Набокова, или, точнее то, что осталось от его оболочки после заключительной стадии Дионисической метаморфозы – родов Земли. Как и следовало ожидать, в Фальтере собраны все качества и персидского пророка четвёртой части *Так говорил Заратустра* и самого Ницше периода его заката-*Untergang*. Набоков сразу раскидывает черно-белые, фотографии виденные им на стеллажах музеев Ницше: «Как бы это выразить? Зять говорил, что из Фальтера словно извлекли скелет: мне же показалось иначе, что вынули душу, но зато удесятирили в нём дух»³⁶⁵.

Фальтер уже не «человек» и все «человеческие» ощущения, свойственные «земному быту» ему чужды. *Земное* Фальтер воспринимает только как относящееся к единственной матери, очевидцем чьих родов ему пришлось стать:

«Я хочу этим сказать, что одного взгляда на Фальтера было довольно, чтобы понять, что никаких человеческих чувств, практикуемых в земном быту, от него не дождётся, что любить кого-нибудь, жалеть, даже только самого себя, благоволить к чужой душе и ей сострадать при случае, посильно и привычно служить добру, хотя бы для собственной пробы, – всему этому Фальтер совершенно разучился, как здороваться или пользоваться платком»³⁶⁶.

* * * * *

На следующее утро после ночных воплей в наивинограднейшем средиземноморском городке, несомненно, произошло *знамение*: к Фальтеру пришёл лев, окружённый стаей голубей и принялся слизывать слёзы «Сверх-человека». А «Песнь ночного ходака» уже пропета Фальтером задолго до его встречи с Синеусовым.

«Знамение» в *Так говорил Заратустра* – это в первую очередь борьба с последним грехом перса, этот грех в конце концов победившего. Имя этому греху – сострадание к «Высшему человеку». От сего сострадания очищается пророк с лицом цвета мандельштамовой скрижали: «Сострадание! Сострадание к высшему человеку! – воскликнул он,

и лицо его стало как медь. – Ну что ж! Этому – было своё время.»³⁶⁷. Точно также как Заратустра пропевший последнюю песнь и покидающий страницы *Ultima Thule*, Адам Фальтер избавляется от сострадания да в придачу – и от всех других чувств к куску несостоявшегося «Высшего человека», Синеусова:

«В личном отношении ко мне он [Фальтер <А.Л.>] был теперь не таков, как во время последней короткой нашей встречи, а таков, каким я его помнил по нашим урокам в юности. Не сомневаюсь, что он отлично сознавал, что в календарном смысле с тех пор прошло четверть века, а всё же, как бы вместе с душой потеряв чувство времени (без которого душа не может жить), он не столько на словах, а в рассуждении всей манеры, явно относился ко мне так, как если бы всё это было вчера – и вместе с тем ни малейшей симпатии ко мне, никакого тепла, ничего, ни пылинки»³⁶⁸.

Всё это также соответствует логике моего наипаснейшего труда: как только Дионисическая субстанция овладевает тем, кто ранее назывался «человеком», – будь то Ницше-Заратустра или набоковский Фальтер, – она передаёт, пусть на самое короткое время, этому новому существу и некоторые качества Диониса. Одним из них является над-«человеческая» безжалостность. Где тот лот, чтобы измерить всю Марианскую впадину презрительности сверх-азиатской улыбки Диониса, с которой тот взирал и на тщетные усилия, предпринимаемые Пенфеем, и на связывающих его тирренских пиратов, и на обезумевшего от святотатственной наглости Мидаса. Дионис презрительно-безжалостен не только к своему кузену, – действительно провинившемуся перед ним фиванскому царю, подвергая его ужасной смерти, – но и к своему предприимчивому деду, лишая его дипломатической неприкосновенности и превращая его в еврипидообразного монстра.

Но что же, собственно говоря, произошло, по мнению Набокова, с душой Фальтера? Потерял ли действительно Фальтер «чувство времени»? Или эта псевдобергсоновская фраза Набокова предназначена лишь для того, чтобы охмурить читателя, увести его от истинного смысла произошедшей с Фальтером метаморфозы?

³⁶⁷ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 237. Курсив Фридриха Ницше.

³⁶⁸ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 451. Курсив Набокова.

³⁶⁵ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 450 – 451.

³⁶⁶ *Ibid.*, с. 451.

Что до набоковских описаний преображений, пережитых душой Фальтера, то они, странным образом перекликаются с *тёмными* советами «физиолога» Гераклита: огонь, не только управляет космосом³⁶⁹, но и поддерживает «сухость» необходимую для продолжения симбиоза тела и души. Мужчина с сухой душой — здоров³⁷⁰. Недаром сам Гераклит, применявший на себе свои предписания, однажды почувствовав себя больным, сиречь с размягчённой влагой душой, поступает строго сообразуясь с догмами своей доктрины³⁷¹.

Уже в начале диалога Синеусова и Фальтера можно догадаться, что последнему предстоит скорая смерть. Да и Набоков под занавес найдёт нужным сообщить об этом, опять же на аристофановский манер: *«Но вчера... да, вчера, я получил от него самого записку — из госпиталя: чётко пишет, что во вторник умрёт ...»*³⁷².

Присутствие на свехродах стоило Фальтеру слишком много собственного *жара*. Его душа и тело, неотделимые друг от друга — *увлажнили* олоплодными водами Семелы. Душа Фальтера ещё не извлечена из него. Она *рассырела* — и тело последовало за ней — такой диагноз ставит нищееанец Набоков; у его Синеусова достаточно прежней предрасположенности к усложнению, чтобы учуять гераклитовский диагноз: *«... о нет, совсем напротив! В его [Фальтера <А.Л.>] странно рассыревших чертах, в неприятно сытом взгляде (...) чуялась какая-то сосредоточенная сила, и этой силе не было никакого дела до дряблости и явной тленности тела, которым она брезгливо руководила»*³⁷³.

Что же собственно произошло во взаимоотношениях Фальтера с Хроносом? При поверхностном прочтении может показаться, что Фальтер просто возвратился в юность, — когда он ещё не наловчился заковычивать в кандалы свою сверх-созидательную мощь. Однако, уже слишком поздно применять с Фальтеру нищевскую аксиому «вечного возвращения», — тот чрезмерно усложнён, <велик>, не способен поворотить вспять, ибо, как заметил с горечью перс, вечно возвращается лишь «ма-

ленький человек», «осколок»³⁷⁴. При обретении же «человеком» достаточной сложности, он способен избежать закона кольца.

Фальтер сначала разорван, затем спаян (на подобие барашка Медеи, впоследствии столь полюбившегося Ершову) да ещё и получает от Диониса в дар нехватящие ему до «Сверх-человеческого» состояния части. И если Ван Вин устаивается свободы от воли кольца лишь на несколько минут, то Фальтер — единственный герой Набокова, сумевший разделиться с законом кольца до своей скорой смерти, разумеется, «чувство времени» не потеряв. Он просто освободился от ярма Хроноса, вышел из зоны воздействия его центростремительного течения, что вовсе не избавляет Фальтера от способности констатировать факт существования времени по ту сторону «человека».

Впечатление Синеусова о возврате Фальтера в юность, не более чем субъективное мнение «осколка человека», не мыслящего себя вне рамок закона кольца. А если Синеусову чудится какое-то «возвращение» на четверть века назад, то, скорее всего это является тактильным ощущением живописца, щупальцами своей артистической души снова учуявшего «холодок», схожий с тем, что юный Фальтер источал в его классной комнате: *«Пожалуй, только ещё в самой молодости он [Фальтер <А.Л.>] не всегда умел сдержаться и мешал казённое натаскивание гимназиста по казённому предмету с необыкновенно изящными проявлениями математической мысли, оставлявшими в моей классной какой-то холодок поэзии, когда он, спеша, уходил»*³⁷⁵.

Разберём подробнее в чём причина такой неравной чувствительности? Дионис приносит аполлоническому сообществу человекообразных то, чего тому не хватало — самого себя. Возникший симбиоз обоих вечно-воющих Божеств, порождает трагедию, эту атмосферу высокой сейсмичности чреватую неожиданными, разрушительными катаклизмами, единственное назначение коих — произведение на свет Гомера с Пиндаром и Феогнида с обоими Гераклитами, и, как следствие — вознесение Эллады (этого сгустка духа никогда не расстающегося с воином-странником из касты брахманов) на доселе недостижимые «человеческие» высоты, когда либо существовавшие в Европе

³⁶⁹ Гераклит, D.K. 118.

³⁷⁰ Гераклит, D.K. 117.

³⁷¹ Диоген Лаэртский, *Жизнь Гераклита*, XI, 3 — 4.

³⁷² Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 462.

³⁷³ *Ibid.*, с. 451.

³⁷⁴ «Маленький человек вечно возвращается!»: Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 159.

³⁷⁵ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 443.

столь опротивившей сейчас мудрецу своим безнадёжным «осколком человека»:

«Здесь и таится рок Европы – вместе со страхом перед человеком мы утратили любовь к нему, уважение к нему, надежду на него, даже волю к нему. Вид человека отныне утомляет – что же такое сегодня нигилизм, если не это?.. Мы устали от человека...»³⁷⁶.

Но стоит произойти нескольким случайностям, вроде истощения и пресыщенности вызванных победами над Азией, двух-трёх дурных трагедий, пропущенных на сцену по причине опьянения литургов (Дионис опасен!) – и вот порождается духовное обнищание и уродство бывших *καλοὶ καὶ ἄγαθοι* и неизменно следующую за тем демократию, эту сводную сестру «диалектики», как необходимости *публично доказать* равенство человекообразных перед Λόγος'ом. Далее – всё как по-писаному: порождение Сократа и его комической маски – Еврипида, гонителей Диониса с аттической сцены, и вместе с тем – прочь из Европы. Вот основные вехи общения эллинов с Дионисом, отмеченные тем же Ницше.

Попытка эллинов, как нации, *усложниться*, несмотря на первые восхитительные достижения, не состоялась. После пережитой деградации обезДионисиченный «осколок человека», – или как я его называю, чтобы вернее обозначить связь его предков с индийским Богом «чандаловека разумный», – постепенно превращается в «чандаловека теоретического», накидывающего на Семелу свою александрийскую сеть. Отныне планетой самонадеянно силится управлять «осколочное» существо, презиращее трагический миф – родину поэзии, – как нечто ребяческое, не достойное разумной зрелости «человека».

Всё то, что я описал в троице предыдущих абзацев неприменимо к «послеродовому Фальтеру»: ведь он-то, испытавши на себе воздействие Диониса, снова получает доступ к родине поэзии. Высокогорный «холодок» мифа проникает в Фальтера, а душа «осколка»-живописца Синеусова, чувствительная ко всякому тактильному прикосновению, ощущает этот холод, хоть сам Синеусов не достаточно существенен (ἑσθλός) и, следовательно, недостаточно правдив по отношению к «Слову», чтобы обратить это чувство в способность управления жаром своего тела вместе с владением тотальным Λόγοςом: тончайшие связки оказались разорваны вместе с потерей относительной целостности. «Осколок человека» ошибается всегда.

Часть вторая

МАЙЕВТИКА

*«А я пою вино времён –
Источник речи италийской –
И в колыбели праарийской
Славянский и германский лён!»*

Осип Э. Мандельштам

Начинается «сократовская беседа», как ранее охарактеризовал Синеусов фальтерово измывательство над канонами майевтики. Охарактеризовал, кстати, неверно, ибо, как окажется, Фальтер менее всего стремится довести своих собеседников до успешных «родов», а уж никакой эротической страсти Фальтер в своём отчаявшемся Агафоне не вызывает и подавно. Всё это вовсе не мешает Набокову использовать определённые сократовские «трюки» (если мне будет позволено парафразировать самого Фальтера), – Набоков наделяет Фальтера умением цитировать Сократа даже перед лицом смерти, травестируя, всё-таки, приёмы à la Сократ ибо, если целью афинского «акушера» было подвести очарованных им адептов диалектики к выводу, не важно какому (недаром этот жонглёр «разумностью», иронично зывая к разуму, доказывает сначала одно, а сразу затем – противоположное изначальным эротическим постулатам), то Фальтер довольствуется увиливанием от истины, просто дурача слушателя по-Заратустровски (*«Гремя словами и игральными костями, дурачу я тех, кто торжественно ждёт, – от всех этих строгих надсмотрщиков должна ускользнуть моя воля и цель»³⁷⁷*), а одурачив – ускользает, как некогда делал это и персидский пророк убегающий поочерёдно от каждой из повстречавшейся ему частей «Высшего человека».

³⁷⁶ Фридрих Ницше, *К генеалогии морали*, *op. cit.*, т. 2, с. 430. Курсив Фридриха Ницше.

³⁷⁷ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 125.

Перед самым началом «сократовского» диалога приглядимся-как кступням нашего набоковского «Сверх-человека». Мы увидим – «провансальские башмаки»: новое напоминание о месте действия *Ultima Thule* «под халкионическим небом Ниццы»³⁷⁸, куда в 1885 году Ницше приехал озвучивать Заратустру, чей образ прежде был представлен ему, уже раздвоенному, Дионисом, в *горностаевогорном* Энгадине³⁷⁹; «провансальские башмаки» – сандалии, отсылают нас к Сократу, обтёршего свою маску да обувшего (редчайший случай!) своё морозостойкое диалектическое плоскостопие ради беседы об андрогине:

«Итак он встретил Сократа – умытого и в сандалиях, что с ним редко встречалось, и спросил его, куда это он вырядился»³⁸⁰.

Итак, усадивши Фальтера, его сестра со своим мужем тотчас начинают совершать поступки, навязанные им подлинной историей, только чуть разнообразненной Набоковым. Так, лишённая Набоковым имени и фамилии фальтерова сестра, сразу берётся за вязание: «Его сестра занялась вязанием и во всё время разговора ни разу не подняла седой стриженной головы»³⁸¹. В этой сцене она и – стриженная Элизабет с известной серии фотографий страдальца Ницше сделанных Гансом Ольде в мае 1899; в этой сцене она и – «супруга Фридриха Ницше», Козима Вагнер³⁸², на которую, уже после-Вагнеровскую, философ наклеивает винно-лабиринтную, тёмно-жёлтую этикетку *Veuve Clicquot-Ariadne*³⁸³,

³⁷⁸ «В следующую затем зиму, под халкионическим небом Ниццы, которое тогда заблестало впервые в моей жизни, нашёл я третью часть Заратустры.»: Фридрих Ницше, *Ессе homo*, *op. cit.*, 1990, т. 2, с. 748.

³⁷⁹ «Сильс-Мария
Здесь я засел и ждал, в беспроком сне,
По ту черту добра и зла, и мне
Сквозь свет и тень мерещились с утра
Слепящий полдень, море и игра.
И вдруг, подруга! Я двоиться стал –
И Заратустра мне на миг предстал ...».
Фридрих Ницше, *Песни принца Фогельфрай, Человеческое, слишком человеческое*, *op. cit.*, т. 1, с. 718.

³⁸⁰ Платон, *Пир*, v. 174 a, *op. cit.*, т. 2, с. 99.

³⁸¹ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 451.

³⁸² «Это моя жена, Козима Вагнер привела меня сюда.» – фраза Ницше в психиатрической клинике Йенского университета 28-го февраля 1889 года. К. А. Свасьян, *Хроника жизни Ницше* in Фридрих Ницше, *op. cit.*, т. 2, с. 826.

³⁸³ См. например Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Briefe Kritische Studienausgabe, Januar 1889*, „An Hans von B low in Hamburg“, *op. cit.*, Band 8, S. 574. Перевод Анатолия Ливри.

и всё это, несмотря на то, что та явно не выполняет свою нитяную функцию. Так, в *Ultima Thule* нам предстаёт собранный воедино женский образ, немногословный, но крепко выучивший наизусть свою приземистую, салонно-правительственную роль и готовую улыбаться выкорышам господ Зибеля и Трейчке канцлерского звания. Её супруг, «парагваец»-Фёрстер, находится здесь же, отгородившись от Фальтера с художником газетной стеной, которая, в виду того что она не сложена из *Journal des Débats*, не достойна ни Ницше³⁸⁴, ни Заратустры³⁸⁵. Пройдёт ещё немного времени и Фальтер назовёт своего зятя «дураком»³⁸⁶. Так словцо Фридриха Ницше, некогда сказанное о своей сестре Элизабет («антисемитская дура»³⁸⁷), совершило круг и осело эпитетом на её наскоро скроенного ницшеанцем-Набоковым муженька, некогда успешно переполнившего своим атисемитизмом супругу, и то верно, «...баба, что мешок, что положат, то несёт ...», – не эту ли пословицу так кстати вспомнил в Мёртвых душах потенциальный сверх-переводчик Заратустры³⁸⁸?

Фёрстеры делают вид, что не обращают внимания на Фальтера, хоть и прислушиваются к его голосу, пробивающемуся сквозь газетно-спицивную стену, – прислушиваются по привычке, с ленцой своих заспанных душ, снисходительно, говори, мол, пророк, а мы уж послушаем тебя.

* * * * *

Первой вербальной акцией Фальтера становится выражение интереса к двум утраченным частям «осколка» Синеусова. И Набоков, ещё полный писательской энергии в кисти, ещё не впадающий в литераторский ўбрыс, о котором не раз будет сказано ниже, предоставляет самому Синеусову

³⁸⁴ «... я сам, с позволения, читаю только "Journal de Débats"».»: Фридрих Ницше, *Ессе homo*, *op. cit.*, т. 2, с. 723.

³⁸⁵ «Посмотрите на этих лиших людей! Они всегда больны, они выблёвывают свою желчь и называют это газетой.». Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 36.

³⁸⁶ «Да я и не утверждал, что теперь знаю всё, – например, арабский язык, или сколько раз вы в жизни брились, или кто набирал строки в той газете, которую читает мой дурак-зять.». Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 455

³⁸⁷ «antisemitischen Gans»: Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Briefe Kritische Studienausgabe, Anfang Mai 1884*, „An Malwida von Meysenbug in Rom, Venezia“, *op. cit.*, Band 6, S. 500. Перевод Анатолия Ливри.

³⁸⁸ Андрей Белый, *Мастерство Гоголя*, Москва, 1934, с. 227.

роль толмача-посредника между своими утраченными частями и Фальтером:

«Только когда Фальтер, заметя твою большую фотографию, случайно стоявшую как раз на линии его взгляда, спросил, где же ты, зять, не отрываясь от газеты, неестественно громко, как говорят с глухими, проговорил:

– Вы же отлично знаете, что она умерла.

Ах, да, – заметил Фальтер с нечеловеческой беспечностью и, обратившись ко мне добавил: – Что же, царствие ей небесное, – так кажется полагается в обществе говорить?»³⁸⁹.

Ницшеанцу Набокову важно, чтобы фотографический снимок кусков, оторванных от Синеусова попался Фальтеру на глаза случайно: заклинание, повторение магической формулы, и Набоков ещё раз вводит на страницы своих произведений ницшевский «Von Ohngefähr»³⁹⁰. Набоков настолько был контаминирован Фридрихом Ницше, что развил в себе рефлекс философа, приобрёл ницшевское мировоззрение. А вот что представляет собой мир Фридриха Ницше: он вобрал в себя Элладу, переварил её и отрыгнул уже новое вещество – смоченное соками собственного немецко-польско-го организма, – но, вобщем-то тот же самый греческий мир. То есть Ницше поступил как Лукиан, Дион Златоуст, Филострат или другой автор эллинистической эпохи, а именно – отказался говорить «нечто новое». Верно! Не скажешь ничего лучше поэта-Гомера, философа-Фукидида! А потому надо ещё раз, только по-своему, и на разные лады, пропеть да станцевать мысли предшественников.

Так вёл себя Ницше – классический филолог, до тех пор, пока в Энгадине не предстал пред ним Заратустра, который, вобщем-то, и есть ипостась Диониса («... много странных и небезопасных духов перебегало мне дорогу, главным же образом и чаще всего тот, о котором я только что говорил, не кто иной, как бог Дионис, этот великий и двуликий [второй Дионисов лик – не сам ли «раздвоенный» приближением Бога Ницше – этот Митра стиля? <А.Л.>] бог-искуситель, которому, как вы знаете,

я некогда от всего сердца и с полным благоговением посвятил моих первенцев ...»³⁹¹), и пока Бог не презентовал Фридриху Ницше осколков «Высшего человека», и не сообщил философу первую добрую весть за предшествующие два тысячелетия – весть о «Сверх-человеке».

Набоков также как Ницше – ни в коем случае не изобретатель новых ценностей. Он обыкновенный артист-ницшеанец, сродни Синеусову, а потому он лишь впитал то, что передал ему Ницше, и уже в свой черёд принимается повторять, без устали, «Евангелие от Ницше». Ultima Thule – драма: Набоков-драматург попеременно переходит из кожи «Сверх-человека» в шкуру «осколка человека». Но Ultima Thule есть драма ницшевская, и, следовательно, буквально наводняется Набоковым словом «случайно». И каждый раз, когда напряжение ницшевского действия снижается, Набоков будет подливать (довольно-таки механически, уже сообразуясь с усвоенным его телом рефлексом!) в свою пьесу этого «случая».

Там где ницшевский «случай» – там и прочие «козыри» философа. Набокову снова необходимо повторяться, чтобы подчеркнуть свою верность постулатам Заратустры, оттого повторение для подчёркивания не «человеческой» сущности Фальтера; его над-(ber)–«человеческая» нечувствительность к факту гибели «осколка человека» означает: Фальтер превозмог последний грех, о котором предупреждал Заратустра – «сострадание к „Высшему человеку“»³⁹², не говоря уже о снисхождении к гораздо менее совершенным существам. Недаром перс столь беспечно восклицает: «Если же не удался человек (имеется в виду то, что осталось от «человека» после того, как исполосовала его Зевсова молнии <А.Л.>) – ну что ж!»³⁹³.

Более того, сам Набоков настаивает на том, что «нечеловеческая беспечность» Фальтера в сущности – беспечность «Сверх-человеческая», и, если шмат «человека» из Ultima Thule не пользуется приставкой über, то это только до поры до времени. Пройдёт не более часа диалектического вымучивания сверх-истины, и Набоков

³⁸⁹ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 451.

³⁹⁰ «„Von Ohngefähr“ – das ist der älteste Adel der Welt.»: Friedrich Nietzsche, *Also sprach Zarathustra*, *op. cit.*, S. 209. Курсив Анатолия Ливри. «„Случай“ – самая древняя аристократия мира ...»: Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 118.

³⁹¹ Фридрих Ницше, *По ту сторону добра*, *op. cit.*, т. 2, с. 403.

³⁹² Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 237. Курсив Фридриха Ницше.

³⁹³ *Ibid.*, с. 211.

заставит-таки Синеусова произнести заветное слово Заратустры, относящее к Фальтеровой тайне.

«Царствие ей небесное» желает «осколку человека» Фальтер, надним же измываясь по-Заратустровски: приступая к любимой Заратустрой «потустороннической» теме, которой я ещё посвящу немало страниц моей поэмы. Ибо для Заратустры главное — Царствие Земное. Его воспевают персы — «богоборец лишь на первый взгляд». И у Фальтера Божество имеется — он воздаёт ему хвалу, трубя в рог да обхаживая цитадель в ожидании пока взятие фиванского кремля докажет мощь Бога-пришельца.

Оговорюсь, беспечная фраза Фальтера это — реакция на замечание Фёрстера, находящегося с ним в комнате, — замечание, подчёркивает Набоков, сделанное Фальтеру неестественно громко, как говорят с глухими. Зять, несомненно привыкший за последнее время к повадкам после-метаморфозного Фальтера, обращается к нему так, как если бы ему требовалось «пробить <сократическую> стену»³⁹⁴, отделяющую его от «Сверх-человека», да ещё и другую стену, о которой мы писали выше — газетную: Фёрстер делает своё замечание «не отрываясь от газеты». Говорить надо громко, чтобы набор звуков, исходящий телом «осколка человека» достиг «Сверх-человеческих» ушей. В гостиной Синеусова происходит подобное тому, что некогда описал воспитатель Фридриха Ницше, а именно, «диалог» шопенгауэровских великанов с карликами, одного из которых верный ученик позаимствовал впоследствии для создания своего духа тяжести:

*«Часто говорят о республике учёных, но не о республике гениев. В последней дело обстоит следующим образом: один великан кличет другого через пустое пространство веков; а мир карликов, проползающих под ними, не слышит ничего, кроме гула, и ничего не понимает, кроме того, что вообще что-то происходит. А с другой стороны, — этот мир карликов занимается, там внизу, непрерывными дурачествами и производит много шума, носится с тем, что намеренно обронили великаны, провозглашает героев, которые сами — карлики и т.п.; но всё это не мешает тем духовным великанам, и они продолжают свою высокую беседу духов»*³⁹⁵.

³⁹⁴ «Или, спрашивая иначе: „зачем вообще познание“ — Всякий спросит нас об этом. И мы, припёртые таким образом к стене, мы, задававшие сами себе сотни раз этот вопрос, мы не находили и не находим лучшего ответа ...»: Фридрих Ницше, *По ту сторону добра и зла*, *op. cit.*, т. 2, с. 352.

³⁹⁵ Артур Шопенгауэр, *op. cit.*, т. 4, с. 514. Курсив Артура Шопенгауэра.

Набоковский «осколок человека» помещает своего «Сверх-человеческого» собеседника в единственно возможное состояние, вне которого к оному даже невозможно приблизиться. Для этого нового существа, испытавшего на себе «Сверх-человеческую» метаморфозу не существует ни границ (установленных «малой политикой» столь же ненавистной натуры Ницше, как леса айдова царства³⁹⁶), ни времени представленного линеобразно сторонниками «прогресса»: их воображаемое поступательное, «прогрессивное» наступление на мир — только одно из проявлений страха, когда им приходится обозревать собственную кольцеобразную темницу. Но что действительно неплохо подходит для обозначения героя Ultima Thule (тут Набоков проявил себя «человеком» почти французского вкуса), так это название чешуекрылого, — конечно, его немецкое название (Набоков должен отдать должное языку создателя Заратустры!) — Tagfalter, превратившийся, при соприкосновении с Дионисом, в Nachtfalter'a. Именно Falter — и только:

«Затем началась следующая между нами беседа; я записал её по памяти, но кажется верно:

*Мне хотелось бы вас повидать, Фальтер, — сказал я (называя его на самом деле по имени-отчеству, но, при переносе, его вневременный образ не терпит этого прикрепления человека к определённой стране и кровному прошлому), — мне хотелось вас повидать, чтобы поговорить с вами откровенно.»*³⁹⁷, — хотя диалог того не требует, Набоков дважды «запирает» художницкую страстишку к «Сверх-человеческой» истине в глагол «повидать» — очеловечить, — ибо ничего кроме свидания, и даже впоследствии предложенных новых свиданий, Синеусов не добьётся.

О, сколь ясно звучит здесь исконная подспудная вера артиста в некое подобие тотального совершенства! Ужас Синеусова делает его комичным побое персонажей Ревизора; над ним позволено потешаться; «сократовские разговоры»³⁹⁸ Фальтера, — пародирующие

³⁹⁶ «Только с меня начинается большая политика.»: Фридрих Ницше, *Ессе homo*, *op. cit.*, т. 2, с. 763. Курсив Фридриха Ницше.

³⁹⁷ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 452.

³⁹⁸ *Ibid.*, с. 450.

двойкий сократовский панегирик Эроту, завершающий андрогиновую версию Аристофана, — начинаются фразой Синеусова, travestiрующие, в свою очередь, вступление Аполлодора Пира:

Ср. в *Ultima Thule*: «Затем началась следующая между нами беседа; я записал её по памяти, но кажется верно: ...»³⁹⁹.

Ср. в *Пире*: «И Сократ, продолжал Аристодем, начал примерно так: ...»⁴⁰⁰.

* * * * *

Фальтеротказывается сообщить тайну. Новвиду того, что в продолжении предстоящей беседы Фальтеру охота порезвиться в тени истины, — в чём он и признается в конце диалога, — то первым актом выступления Фальтера становится не сказать, и не указать на произошедшее с ним, но означить каким образом способное к познанию тело могло бы подступить к понятию его собственной пост-метаморфозной стадии «Сверх-человека». Фальтер воплощает собой «анти-разумность» *par excellence*, он — противоположность нищевскому «александрийскому библиотекарю»⁴⁰¹, а посему, лишь только маленьких ушек Фальтера достигает подобие оптимистического выражения платоновского Сократа, сакрализирующего «человека доброго», сиречь «разумного», он «вынимает револьвер».

«Весь современный нам мир бьётся в сетях александрийской культуры и признаёт за идеал вооружённого высшими силами познания, работающего на службе у науки теоретического человека, первообразом и родоначальником которого является Сократ.»⁴⁰², а этот «теоретический человек» «остаётся вечно голодающим, „критиком“ бессильным и безрадостным, александрийским человеком, который в глубине души своей библиотекарь и корректор и жалко слепнет от книжной пыли и опечаток»⁴⁰³.

Позже я рассмотрю описание в Приглашении на казнь такого «александрийского библиотекаря», ставшего «библиотекарем тюремным»: «маленькие люди» настолько стёрлись, обесцветились, что обестелились напрочь, и логическое завершение сократовской культуры, её апогей — тюрьма — не могло не превратиться у нищевца Набокова в одно из богатейших хранилищ книжек:

«Это был том журнала, выходившего некогда, — в едва вообразимом веке. Тюремная библиотека, считавшаяся по количеству и редкости книг второй в городе, содержала несколько таких диковин»⁴⁰⁴.

Образ кипы переплетённых листов — «книжки» — неразлучной спутницы сократического «чандаловека», преследует автора-нищевца из одного произведения в другое, становится самостоятельной принадлежностью «критика», «корректора», «учёного»: где они — там тотчас появляется «книжка». Ярчайшим проявлением такого «учёного», олицетворением подлинного, только русского Сократа, становится персонаж романа, завершённого Набоковым лишь за год до написания *Ultima Thule*, Дара — Чернышевский⁴⁰⁵. Властителю дум русских революционеров, реализовавших в России вендетту александрийских рабов, приходится проезжать невдалеке от сверхевропейских мест, где некогда пророчествовал Заратустра. Чернышевский близорук: «учёный» соматически не способен наложить на мир свою когтистую лапу, из-за отсутствия «книжки» он испытывает перманентную скуку — эту мучительницу «осколка человека»:

«Он [Чернышевский <А.Л.>] ехал в тарантасе, и так как „читать по дороге книжки“ разрешили ему только за Иркутском, то первые полтора месяца пути он очень скучал»⁴⁰⁶.

«Осколок человека» лишён телесной зацепки за природу — ему требуется тактильный контакт с вещественным доказательством равенства перед познанием, ему нужен объект, *соматически доказывающий* ему его право на добровольный отказ от свободы — которая подразумевает

³⁹⁹ Ibid., с. 452.

⁴⁰⁰ Платон, *Пир*, v. 199 с, *op. cit.*, т. 2, с. 127.

⁴⁰¹ «... [теоретический человек <А.Л.>] остаётся вечно голодающим, «критиком» бессильным и безрадостным, александрийским человеком, который в глубине души своей библиотекарь и корректор и жалко слепнет от книжной пыли и опечаток.»: Фридрих Ницше, *Рождение трагедии из духа музыки*, *op. cit.*, т. 1, с. 129.

⁴⁰² Ibid., с. 126. Курсив Фридриха Ницше.

⁴⁰³ Ibid., с. 129.

⁴⁰⁴ Владимир Набоков, *Приглашение на казнь*, *op. cit.*, т. 4, с. 28.

⁴⁰⁵ См. Анатолий Ливри, *Набоков нищевец*, Санкт-Петербург, Алетея, 2005, 239 с.

⁴⁰⁶ Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 254. Анатолий Ливри, *Набоков нищевец*, Санкт-Петербург, Алетея, 2005, 239 с.

самостоятельное *индивидуальное* внедрение в природу, слияние с Господом, тотальная отдача Богу ритма своего тела – дыхания своих лёгких, дыхания жаркого, когда хмельной аэд-Давид восхваляет Бога с кифарой в руках.

Но Божественный этот дух охлаждается, постепенно обволакивается тёплотой, невзрачным, трудно находимым, но оттого не менее опасным врагом – пошлостью, – и потенциальный, нереализовавшийся певец отказывается, в конце концов, восхвалять Бога – обмениваться со Вселенной *своим* ритмом. Отказ от поиска Божественного ритма в собственном *теле*, высвобождение этого ритма – есть высшая несвобода, на которую способен человекообразный. *Теплота* – перенимание стадной поступи «осколков человек». *Теплота* эта и есть – «дьявол», или, называйте его как пожелаете, – наследие Сократа, дух тяжести, налагающий смирительную рубашу на члены певца. «Осколок человека» – мужчины (άνηρ), отказывающийся, подчиняясь ритму *тёплого* стада, вслушиваться, пропевать, протанцовывать Божественный ритм собственного тела – уже потерял для Дионисического воссоединения. Навсегда!

Женщина (γυνή), другой осколок άνθρωπος'а по природе своей направлена вниз. Ей вдесятеро сложнее, чем осколку-мужчине освободиться: оставив ступни на земле, заставить эту землю вибрировать от своего ритма и вознестись взором к звёздам – истинное «человеческое», (άνω άθρεϊν) достоинство. Но в жизни даже самой «разорванной» женщины наступают моменты выплёскивания духа – содержания её лёгких – во Вселенную. Только когда она рождает, усложняется её тело, – на самый кратчайший миг! – и Вселенная вибрирует от подлинных, жарких воплей двух, трёх, четырёх – частей тела женщины, чующей приближение Диониса, становящейся его вакханкой. И поэтому, когда сократическая культура достигает своего апогея, запирает она в темницу своего врага – *женственность женщины*, уничтожает её потенциального освободителя, άνηρ'⁴⁰⁷ и, таким образом, лишает эту женщину, потенциальную роженицу, её ритма – подлинного смысла женского существования. Тирания, исчадье демократии, – этой системы ущербной женщины *par excellence*, – есть общественный строй, где процветает, прославляется и банализируется

⁴⁰⁷ «Ибо только тот, кто достаточно мужчина, освободит в женщине женщину»: Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 121. Курсив Фридриха Ницше.

аборт, где несостоявшаяся, обезумевшая от ревности женщина может, наконец, отомстить женщине состоявшейся. Ибо только рожая женщина счастлива, уподобляясь Семеле, обволакиваемой вакхическим Духом Святым, счастлива по-Заратустровски – она не боится смерти, жаждет её в обмен на выход во Вселенную исторгнутого из её тела плода.

Следовательно первым актом после-Дарового «Сверх-человека» – становится *тотальное раскрытие отношения создателя, создавшего своё тело, к сократической «книжке»*. «Книжка» «осколков человека» (равных среди равных потомков александрийских рабов и их предводителей – «библиотекарей») противна возрождённому и воплощённому вакхическому духу. А потому, вот как поступает с «книжкой» издевавший Дионисического прикосновения Фальтер: «Решительно отказываюсь, – ответил Фальтер и скинул со стоявшего рядом с ним столика мешавшую ему облокотиться книгу»⁴⁰⁸.

Игра, шутка, месть гонителям трагедии – всё слилось в единственном означаемом, подталкивающем падающее, жесте Фальтера, который, замешавши эту Дионисическую смесь на ницшевской тайне, приподносит её Синеусову. Но приподносит не просто, а хорошенько сдобренной иронией афинского эротика: Набоков, впитавши образ за образом Фридриха Ницше, предлагает их Синеусову, через явно неженственного посредника-Фальтера, в качестве путеводных нитей, которые, будь художник более *сложен*, привели бы его к сестрице Посейдонова сына с её кавалером. Только куда уж близорукому «осколку человека» отличить в лабиринтной тьме Минотавра от быкорогого силуэта нашего Бога!

Вслед за расправой с «книжкой» следует и слово – первое увиливание Фальтера, бросок в сторону – как реакция на первый взмах Синеусовской раппетки. Смысл прыжка – ну, давай-ка, поплутай вдоволь, лабиринтный «человек», внутри кольца!

«Только не называйте это выводами, синьор. Это так – полустанки. Логические рассуждения удобны при очень небольших расстояниях, как пути мысленного сообщения, но круглота земли, увы, отражена и в логике: при идеально последовательном продвижении мысли вы вернётесь к отправной точке... с созданием гениальной простоты, с приятнейшим чувством, что обняли истину, между тем как обняли лишь самого себя. Зачем же

⁴⁰⁸ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 452.

пускаться в путь? Ограничьтесь этим положением — открылась сущность вещей, — в котором, впрочем, уже допущена вами ошибка; я объяснить её вам не могу, так как малейший намёк на объяснение уже был бы проблеском. При неподвижности положения ошибка незаметна. Но всё, что вы зовёте выводом, уже открывает порок: развитие роковым образом становится свитком.»⁴⁰⁹.

Лишь артист, и артист Дионисический способен познать: разрушив, тотчас воссоздать мир. «Логик» же, по своей сути, — вечный изгнанник из царства Дионисической мудрости — необходимой стадии поэтического, в буквальном смысле этого слова, познания: «Быть может, существует область мудрости, из которой логик изгнан? Быть может, искусство — даже необходимый коррелят и дополнение науки?»⁴¹⁰, скажет, только примеряясь к Дионису, молодой Ницше.

Эта «несостоятельность» современной нам науки — следствие творческой импотенции «логика», его неспособности генерировать. Основной же причиной данной импотенции является то, что «логик» есть «осколок человека». Урод-Сократ⁴¹¹ принёс в дар себе подобным «разумность» и диалектику, как штурвал для самоубеждения «осколков человека» в их способности управлять самими собой и себе подобными.

Именно *недо-телесность*, осколочность, принуждает «сократического учёного» встать на путь постижения данной «разумности» — точно также, как калека инстинктивно хватается за клюку, дабы удержать равновесие да ещё передвигаться, ковыляя. В течении долгих лет диалектического накачивания, калека настолько сживается с клюкой, что она превращается в часть его туловища и вот уже дряхлый, но опытный инвалид-диалектик с первого взгляда распознаёт подобных себе, молодых уродцев, и вручает им костыли, обучая пользоваться ими.

Рассмотрим теперь процесс проникновения в мистерии нашего Бога с другой стороны, станем драматургами, и поставим себя на место «Высшего человека» — без сострадания, но с милосердием к нему, которое есть проявление высших хореговых способностей — ведь на милосерд-

ный землянин есть одновременно наивеличайший драматург планеты, ибо он способен с точностью до доли миллиметра заполнять собой любое «человечье» тело. Для «Сверх-человека» же всё и вся является врагом, и первый среди них — Зевс-жизнь, Ζεύς-Ζωή. Зевс иссушает эпидерму планеты, взрывает её изнутри, когда лучшие представители «человечества» случайно переполняются желанием расцвести, топят «Высшего человека» в океане человекообразных, и, как результат — «человечество» увядает на столетия. Ζεύς одаривает лучших «осколков» «модной болезнью», как бы доказывая контаминационную мощь сократического антиДионисизма, от которого у духа лучших представителей «осколка человека» высыпает звёздная сыпь и проваливается нос. Болезнь духа — не только единственная форма существования «осколка человека», единственная способность последнего выносить своё уродство; эта болезнь ещё и — манифестация страсти «осколков человека» к поиску экстаза, добываемого упорным трением одного «осколка человека» о другой.

Получая, благодаря клюке, способность передвигаться, диалектики даже способны доковылять до моста, дабы побеседовать там с заезжим персом. Подчас же они, точно цверги, умело пользуясь сократовскими навыками, прорубают туннели в швейцарских Альпах для более удобного, *им присущего пересечения гор*, да прокладывают рельсы, чтобы добираться от «полустанку к полустанку» научной мысли, сиречь — принимают рекламировать очередную теорию облегчающую сократическое познание мира, — после чего неминуемо следует *Ultima Thule* шизофрении «калек-учёных»: реклама диалектического процесса в конце концов подменяет сам процесс познания. Наступает долгий период стагнации — эпоха Республики Теплоты, медленного рассыпания в прах всё ещё передвигающихся с клюкой толп «осколков человека». Дионис торжествует. Начинается комедия.

«Логика»-клюка — современная наука — внушает «чандаловеку» ощущение *quasi*-совершенства. Два с половиной тысячелетия сократической культуры возвели уродство на столь высокий пьедестал «человеческих» стремлений, что оно превратилось в единственную жаждуемую форму существования, к коей «осколки человека» почитают нужным стремиться.

Более того, описанный выше урод вовсе не одинок в долине — калеки, его собратья, передвигаются стадом, — великий потоп «логиков», подлинная кара Всевышнего, заливают задыхающуюся Семелу, и эту катастрофу можно наблюдать повсеместно; вот её генезис: «логики»-«осколки

⁴⁰⁹ Ibid., с. 452 — 453.

⁴¹⁰ Фридрих Ницше, *Рождение трагедии из духа музыки*, *op. cit.*, т. 1, с. 112.

⁴¹¹ «Сократ по своему происхождению принадлежал к низшим слоям народа: Сократ был черню. Нам известно, мы даже видим это, как безобразен был он. Но безобразие, являющееся само по себе возражением, служит у греков почти опровержением. Был ли Сократ вообще греком?»: Фридрих Ницше, *Сумерки идолов, или как философствуют молотом*, *op. cit.*, т. 2, с. 564.

человека» ощущают прикосновение плеча соседа (если же таковое у него отсутствует, то задевают соседский зад), тотчас собственная «логика» покидает их, и «осколки человека» получают взамен «логику» «ближнего»: «Когда сто человек стоят друг возле друга [в этом переводе есть нечто от цитаты Что делать? в Даре <А.Л.>], каждый теряет свой рас-судок и получает какой-то другой»⁴¹².

Позже, неминуемо, наступает следующая стадия — поколения «чандаловеков» *приручили свой нос* к запаху толпы, он стал их наркотиком, единственной атмосферой, в которой они способны существовать без ущерба для своих лёгких. Подобное трение одних «осколков человека» о другие не даст искры никогда; никогда не подняться им и на гору — такая мысль даже не придёт в голову «логикам»-калекам, ибо восхождение ни в коей мере не соотнобразится с их физическими особенностями, сиречь не логично: клюка, ставшая частью их тела, на подъёме утратит своё назначение (а применение этого бывшего средства передвижения «стало целью» давно, вжилось в мясо их душ), и что ещё ужаснее для «осколка человека»: он перестанет чувствовать плечо «ближнего», исчезнет ощущение равновесия (которого в предшествующем *Ultima Thule* набоковском романе так не хватало одному из «учёных», защитников русского Сократа⁴¹³), — продолжение движения и, соответственно, трения меж собой осколочных тел, станет невозможно.

Основная причина этого многовекового группового сумасшествия состоит в том, что если калеки вдруг остановятся и оглядят себя, то их «разум» не выдержит ужаса их собственного вида. И от этого ужаса потеряют они то, что свора «чандаловеков» называет «разумом», ибо, — и да простят мне это открытие, — никогда не стоит ставить с-ума-сшедшего безнадёжного «осколка человека» на один уровень с Дионисическим экстазом «осколка человека», тренирующегося для последующего слияния с высшим существом, а тем паче с пост-метаморфозной стадией «Сверх-человека».

Но самое смешное для комического драматурга-демиурга, — ибо надо позволять себе *золотой* смех над муками «осколков человеков», — что они-то внизу, в долине. Но подчас, неуклюже задирая головы вверх, замечают они в вышине перелетающего с вершины на вершину длинноногого исполина (не яснополянского!) да поругивают его по матушке меж собой, — меж калеками.

* * * *

Дионисический взрыв выплавил из прежнего, «человеческого» Фальтера существо нового типа, чья цельность одарила его знанием вселенским, к вышеупомянутой телесной цельности прилагающееся. Но даже лучший представитель «осколков человека», был лишён два с половиной тысячелетия до Фальтера, контакта с Дионисом, — пусть даже происходящего раз в год. Последнее сожаление Сократа было забыто вместе с его признанием, адресованным Эвену через Кебета. С тех пор у элиты «чандаловеков» не осталась другого выбора, кроме как перейти в стан диалектиков-учёных. Быть может, из-за этого дурного наследия набоковский «осколок человека» — *хоть и артист по профессии*, — не способен мыслить вне диалектических «посылок» и «выводов», на что ему и пеняет, играючи своей тирсовой *тирадой*, Фальтер. Синеусов запирается в кольцо Фальтером беспощадно. Внутри кольца — лабиринт. И горюн-художник, вместо того, чтобы попытаться выбраться из него, расширяет кольцо, наполняет себя лабиринтом, сам уготовляя себя в жертву бычьим рогам.

Траектория продвижения диалектиков по шарообразной, как андрогин, Семеле от одного полустанка «логического» вывода к другому — представляется Набоковым ещё одним «кольцом», но в виду коротких дистанций своих передвижений, и плотности окружающей его толпы «логик»-калека не замечает кольцеобразности своего пути. И Фальтер парафразирует горькое восклицание Заратустры о все-проникновении «осколка человека» — долгожителя:

«Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий всё маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек живёт дольше всех»⁴¹⁴.

⁴¹⁴ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 11.

⁴¹² Фридрих Ницше, *Злая мудрость*, *op. cit.*, т. 1, с. 766.

⁴¹³ «... как только читателю кажется, что, спускаясь по течению фразы, он наконец вплыл в тихую заводь, в область идей, противных идеям Чернышевского, но кажушихся автору положительными, а потому могущих явиться некоторой опорой для читательских суждений и руководства, автор даёт ему неожиданного щелчка, выбивает из-под его ног мнимую подставку ...»: Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 274.

И если Земля перенаселена сейчас такими «логически» мыслящими «осколками человека», то как же выйти из создавшейся ситуации, сиречь — каковы надежды на излечение? — таким вопросом задастся иной асклепиад не предавший Аполлона. Выхода два. Первой терапией может воспользоваться *Homo sapiens*, приближающийся к статусу «Высшего человека». Достигается такое состояние демаршем «акмеистическим», прямо противоположным «научному», а именно — передвижением не вдаль, но ввысь — напоённый соками планеты древесный порыв к Урану, этому родителю Афродиты *malgré lui*.

Первый этап такого альпинизма должен стать «классическим» — подниматься надо от «затуманных долин» к подоблачным истокам культуры. Затем же, добравшись до первого уступа, необходимо продолжать восхождение выше и выше: древнегреческий язык — финикийские наречия, и в конце концов — достигнуть Гималайских высот — то есть заставить тело следовать «логосо-флоральной схеме» того же «воспитателя» Фридриха Ницше:

«Как известно, языки, особенно в грамматическом отношении, тем совершеннее, чем они старше, и, начиная с совершенства санскритского языка, постепенно становятся всё хуже, опускаясь наконец до английского жаргона, облегающего мысль в одежду из самых разных лоскутов. (...) жизнь языка подобна жизни растения, которое, постепенно развиваясь из простого ростка, а затем невзрачного всхода, наконец достигает наивысшего развития и с этого момента, старея, постепенно снова идёт книзу, и что мы знаем его, язык, только уже в его упадке и ничего не знаем о его прежнем росте»⁴¹⁵.

Поднявшись же к ледниковой вершине, «уже-само-сваянному» восхождением «Высшему человеку» (оставившему на своём пути немало погибших спутников) — поэту, пророку, философу, чья «длинноноготность» подразумевается завоёванным им титулом, — надлежит отправиться в новый путь — путешествовать от вершины к вершине: *«В горах кратчайший путь — с вершины на вершину; но для этого надо иметь длинные ноги. Притчи должны быть вершинами: и те, к кому говорят они, — большими и рослыми»⁴¹⁶*, — эта фраза Заратустры,

кстати, является отголоском акустического шопенгауэровского этюда о карликах и великанах — великанах вовсе не тех, о которых бойко писал Екатерине Дидро, уповая, что просвящение достигло и царских особ женского пола, а ведь может статься, наша *Catho* католической Библии в белы ручки и не брала.

Симптомом того, что бывший «осколок человека» превратился в существо высшее становится изгнание из его тела чандаловых рефлексов. «Высший человек» — тот, кто более *не доказывает*. Ему презренно равенство перед Λόγοςом, перед духом, переполнившим его благодаря *дару* Диониса. Теперь рука «Высшего человека» скоро на расправу, как улиссова длань, с царским скипетром на расправу с Терситом; взор «Высшего человека» полон теперь феогинова высокомерия самой чистой *воды*. «Высшему человеку» сейчас превосходно известно, что он *хорош*. Единственное к чему относится он бережно теперь, это — к духу, переполняющему его лёгкие, сохраняет этот дух для ратного единоборства или же созидания собственных поэм — что тоже, кстати, сродни бою. А если же «Высший человек» желает *означить* словом нечто, то он вербализирует это следующим образом: «это правда, потому что я чувствую так!». Какому же *καλός* к'αγαθός придёт в голову усомниться в его словах!?

Итак, выход для «Высшего человека» — поэтический акмеизм: взгляд с одной вершины на другую, вопль, обращённый к собрату, длинноногому гиганту, чудовищных размеров прыжок, холод и лёд, близость *превосходно различаемых* звёзд, да к тому же — голод, — где уж прокормиться колоссу на горном кряже, если не совершит он, время от времени, разбойничьих набегов на туманные, полные увядших голубых лилий, долины, к разбогатевшим калекам-карлам.

И конечно, «Высшего человека» неотступно преследуют две опасности, первая — оступиться, обрушившись в пропасть на радость лилипутовому сонмищу, которое, безусловно, *по-своему принимает участие в падении исполина*. Другая же опасность — отчаяние, вызванное пене-трацией мира взором с иной эверестовой высоты. Да, «Высший человек» не пользуется электричкой перевозящей «осколков человека» от келлерманового туннеля к Сен-Готтардскому, но как бы высоко «Высший человек» не поднялся, как бы молниеносно не наловчился он перемещаться с вершины на вершину — он тоже подчиняется закону кольца. В том-то и ужас: знать, что твои гигантские прыжки количественно, — пусть даже в сотни раз! — превышают результаты усилий маленьких «людей»; и в то

⁴¹⁵ Артур Шопенгауэр, *Paralipomena*, *op. cit.*, т. 5, с. 435 — 436.

⁴¹⁶ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 29.

же время чувствовать, что ты, «Высший человек», также как и всякий калека-«логик», подвластен закону кольца, который, если воспользоваться Фальтеровым выражением, *отражён в круглоте планеты*.

Таким «Высшим человеком», находящимся перед усложнительной стадией – переходу к прямому контакту с Дионисом, был Заратустра. О себе поёт он в последней «речи» третьей части, перед самым появлением осколков «Высшего человека», которым посвящается часть четвёртая, последняя. Так говорил *Заратустра*. Семь раз пророк повторяет заклятие кольца, подманивая к себе осколков: *«О, как не стремиться мне страстно к Вечности и к брачному кольцу колец – к кольцу возвращения? Никогда ещё ни встречал я женщины, от которой хотел бы я иметь детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, о Вечность! Ибо я люблю тебя, о Вечность!»*⁴¹⁷.

В конце третьей части Заратустра всё ещё – *только-«Высший-человек»*; но ни женщина, ни ребёнок (добавочные «осколки человека», по которым стонет, например, тот же Синеусов) ему уже не нужны. Он достиг максимально доступной человекоподобному телесности. Теперь жаждет он кольца, чтобы его этим своим новым телом заполнить, и с Божьей помощью, разорвать. Ибо в каждой пропетой пророком-ещё-«Высшим человеком» страсти по кольцу ощущается его вызов закону кольца, желание помериться с ним силами, слышится вопль: «Прийди, Боже мой, напитай меня Твоей сверх-мудростью – Тобою! Для преступления!».

Но есть ещё и второй способ излечения человекообразного, способ радикальный, позволяющий поставить себя над законом, управляющим сонмом «чандаловеков» – пройти все пережитые Фальтером стадии: самонасыщение взрывчаткой и взрыв, – дабы достигнуть сверх-сложной телесности, этой невоплощённой, но столь желанной брюсовской мечты об *единении* на некоем конунговом острове, случайно названным символистом... *Ultima Thule*: *«Пусть на твоих плоскогорьях я буду единым!»*⁴¹⁸. Происходит *диаметрально* новое – тотальный выход из кольца, вертикальная пенетрация космоса и недр планеты этим сверхсуществом, отличительной чертой которого с этого момента становится его недолговечность: срок его жизни обычно не превышает срока взрывной

реакции и постепенного краткого охлаждения – до той духовной температуры, при которой поддержание жизни в этом антагонисте «осколка человека» уже невозможно. Но в процессе охлаждения сверхсущество, – *случайно!* – успевает пропеть некоторым друзьям и недругам тайны мира, пропитавшие его: вроде секрета сплава сердца Земли или, например, разбалтывает, хохоча, как именно следует *выхохотать* в космос мистерии своей души, чтобы хохот облепил тело, словно мёдом, привлёк к умирающему мудрецу несколько жаждущих *усложнения* «осколков», и многое, многое другое.

Именно поэтому остывающий Фальтер задаётся вопросом, ставшим для него «логичным» (вырываю я у диалектиков их словечко-стрелу): *«Зачем же пускаться в путь?»*⁴¹⁹, – что подразумевает, – «охота же тебе, «осколку человека», блохой скакать по Земле?! Впрочем, дело твоё. Что до меня, то мне, «Сверх-человеку» передвижение в пространстве не нужно; волею случая оказавшись на «куске высшей земли» (а она будет ею не всегда, но лишь покамест над ней нависает Вахх и изливает на избранника, а ещё точнее *внутри избранника*, свой *дар*), я прошёл все необходимые стадии, а потому могу себе позволить оставаться недвижимым.

Да и «сущность вещей» *не открывается*, как пандоров ковчег, новому сверхсущество. Она, как я уже писал, *пропитывает* его в процессе взрыва, чего «осколок человека», через взрыв не прошедший, прочувствовать просто не способен.

* * * * *

*«Ограничьтесь этим положением – открылась сущность вещей, – в котором, впрочем, уже допущена вами ошибка; я объяснить её вам не могу, так как малейший намёк на объяснение уже был бы проблиском. При неподвижности ошибка незаметна»*⁴²⁰, – Фальтер, уже во второй раз, только другими словами, заявляет о невозможности передачи познания тому, кто лишён телесной структуры необходимой для его восприятия. И снова Синеусов настаивает на своём – настаивает, употребляя, кстати, термины зоолога, так что создаётся впечатление узурпации Набоковым-энтомологом Синеусовского дискурса: на страницах *Ultima*

⁴¹⁷ *Ibid.*, с. 166 – 169.

⁴¹⁸ Валерий Яковлевич Брюсов, *Ultima Thule*, апрель 1915.

⁴¹⁹ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 453.

⁴²⁰ *Ibid.*

Thule происходит штурм и натиск на цитадель сократической культуры, а именно — на её ярчайшую форму проявления — на «науку», представляющей художнику цепью заражений *всякими сортами* вирусов, спада эпидемии и моментального возникновения новой болезни.

Оговорюсь, сама анатомия Набокова, пишущего *Ultima Thule* предопределила его узурпацию дискурса своего персонажа: подобно Синеусову, Набоков сам — неудавшееся высшее существо, один из тех, кто встал на горную тропу, начал подъём, но низвергнулся до уровня «осколка человека», т.е. чьё *усложнение* было прервано злорадными богами, которым самим ой как охота запутаться в сети вместе с Афродитой, успевшей-таки, зачать Дионисову бабку. Набоков находился так близко к слиянию, необходимому для перехода в стадию, приближающую его к «Высшему человеку», что он, как артист, не мог не прочувствовать кожей *Limes*, отделяющий существо высшего порядка от разумных «осколков». Не потому ли «электричку науки» (ту самую, что перевозит чандаловеков-«учёных» от полустанка к полустанку) Набоков наделяет атрибутами её служащих, контролёров, кондукторов, смазчиков: чинами, пенсией, отставкой. Неудавшийся «Высший человек» Набоков глубоко *чуял* несостоятельность «научных» средств пенетрации мира и, быть может поэтому, — его художник свежей раной ощущает нечто лежащее за *Limes*-ом его «коротконового» понимания: «*В нашем же случае, Фальтер, я подозреваю, что у вас оказался какой-то другой метод нахождения и проверки*»⁴²¹. Словом, кризис «сократчины», о котором предупреждал 26-летний Ницше уже наступил. «Разумность» уже не приносит удовлетворения самым наичувствительным остаткам андрогино-Зевесового противостояния; они ощущают, что стена «логики» скрывает от них нечто таинственное, притягательное и изначально им принадлежащее, только не способны эти коротконогие заглянуть за неё; цитирую повторно: «*Или, спрашивая иначе: „зачем вообще познание“ — Всякий спросит нас об этом. И мы, припёртые таким образом к стене, мы, задававшие сами себе сотни раз этот вопрос, мы не находили и не находим лучшего ответа ...*»⁴²².

Ужас Синеусовского положения в том, что с одной стороны его тело «осколка человека» стремится к высшему впитыванию, но с другой —

тело его не способно подсказать ему пути к слиянию, и он вынужден пользоваться дорогами проторенными толпами «человечьих осколков» вооружённых клюками: «*Можно ли назвать его — откровением?*»⁴²³ — одна из первых попыток Синеусова ошарашить Фальтера.

Синеусов сдаёт позиции — это ему предстоит совершить ещё не раз, — и, в то же время, художник подступает с другой стороны к Фальтеровской тайне. Сейчас его интересует уже не сам путь, но доказательство, что истина есть истина: всё та же неискоренимая шамполионова вера «чандаловека» в равенство, в «разумность», в способность каждого к прочтению Божественных символов, □βρις-уверенность в том, что каждый пророк есть толмач Господа перед любым скопищем человекообразных.

В этом, кстати, заключается мотив одного из самых распространённых преступлений учёных, их вера в равенство познания толкает их к беззастенчивому *лапанию* вещей священных; желаемой цели, познания, они, конечно, не достигают, совершая, однако, своё мерзкое, нашему-Богу-противное дело: наичистейшее осквернено, и немало потребует десятилетий окуриваний и жертвоприношений, пока атрибуты брахманской касты, а подчас и сами брахманы, не обретут, — если только снова позволит редчайший случай, — изначальный блеск:

*«Погодите. Меня сейчас не столько интересует способ открытия, сколько ваша уверенность в истинности находки. Другими словами, либо у вас есть способ проверить находку, либо сознание истины заложено в ней»*⁴²⁴.

Что может сделать в ответ на такое «брудершафтное» предложение «Сверх-человек», кроме как противопоставить ему Заратустрову военную хитрость: пустить дымовую завесу, да, воспользовавшись ею, ускользнуть от хилой художничьей хватки. Но, ежели иной, случайно оказавшийся поблизости наследник Линкея, побывавший и на озере Урми, пронзит взором дым, он увидит, как, прыгая вперёд и в стороны, Фальтер только и делает, что воспроизводит Заратустрову пирриху:

*«Заратустра вещей словом, Заратустра вещей смехом, не терпеливый, не безусловный, любящий прыжки и вперёд, и в сторону; я сам возложил на себя этот венец!»*⁴²⁵.

⁴²³ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 453.

⁴²⁴ *Ibid.*

⁴²⁵ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 213.

⁴²¹ *Ibid.*

⁴²² Фридрих Ницше, *По ту сторону добра и зла*, *op. cit.*, т. 2, с. 352.

Рассмотрим теперь, как замедленный снимок на экране кинематографа, первый прыжок Фальтера: «*Видите ли, — отвечал Фальтер, — в Индокитае, при розыгрыше лотереи, номера вытягивает обезьяна. Этой обезьяной оказался я*»⁴²⁶, — снова рецидивирует, понищеановски, Набоков. С первой же фразы диалога Фальтер принимается прославлять его высокоблагородие *Von Ohngefähr*. В устах «Сверхчеловека» «случай» повторяется на разные лады, как имя Бога; это уже заклинание, гимн случаю, приобретающему, к тому же, в устах Фальтера происхождение *сверх*европейское: фальтеров «случай» расчленяет Старый Континент, достигает земли, некогда названной Фридрихом Ницше родиной Канта, ибо, как я уже отметил в моей предыдущей книге о Ницше: чем дальше от старой Европы — сырой и тоскливой, — высылают Ницше любомудрецов, тем драгоценнее на его взгляд выпестованная ими истина. Сам же Ницше определяет себя в боги мудрецов из касты воинов, тотчас, однако, подчёркивая, как это делал уже не раз, неприятие некоторых буддийских слабостей. То есть, Ницше направляет свои стопы в землю самых далёких философов (хлебосольством чьих родичей не брезговал и родитель Минотавра, забывая даже на время свою ненависть к *Сыну Ненависти*), а затем ещё дальше, туда, где от Александра скрылся непойманный Дионис, — чтобы впоследствии сызнова возвратиться на сцену Европы, уже пропитанным сверхчистой, сверхглубокой, индийской и даже сверхиндийской истиной:

*«Из всех европейцев, живущих и живших, — Платон, Вольтер, — я обладаю душой самого широкого диапазона. Это зависит от обстоятельств связанных не только со мной, сколько с «сущностью вещей», — я мог бы стать Буддой Европы, что конечно было бы антиподом индийского»*⁴²⁷.

Что до Фальтера, — то он вытянул выигрышный билет для себя и во все не намерен делиться фортуной с теми, кого *случай* не выковал надлежащим образом.

Истошив первый <нищевский> образ, Фальтер принимается за следующий:

*«... в стране честных людей у берега был пришвартован ялик, никому не принадлежавший; но никто не знал, что он никому не принадлежит; мнимая же его принадлежность кому-то делала его невидимым для всех»*⁴²⁸.

Подлинный созидатель в Бенвенуто-Челлиньевом смысле слова — не может не стать преступником перед «добродетелью» «осколков человека»; не потому ли первым и естественнейшим рефлексом «осколков» становится низведение высшего существа до своего уровня: ὄχλος — первичное состояние «осколков человека», притягивающихся друг к другу, как магнитом, и составляющих из себя χάος — от которого этимологически да и «роящаяся-фонетически» происходит слово ὄχλος. Вот как это случается на практике: когда один из кусков «человеческой массы» обозначает, тем или иным способом, дистанцию с ὄχλος'ом (обычно это преследует цель само-совершенствования — само-очищения тем или иным способом), то ὄχλος мгновенно ощущает образовавшуюся в нём пустоту, ищет способ восполнить её, возвратив себе утерянный осколок. Боль ὄχλος'а, этого калеки-исполина, выражается и улюлюканьем толпы парижских «чандаловеков», раздирающих на куски полотна Рафаэля; страдания гигантского уроды вырываются с воем из глотки «учёных», клеветущих на излишне-живого поэта; муки колосса, лишённого членов, слышатся и в завываниях подёнщиков-журналистов, измывающихся над «вакхической» страстью Христа, как не раз заметил об этой болезни душевед и душевод Заратустра:

«Остерегайся же маленьких людей!»

*Перед тобою чувствуют они себя маленькими, и их низость тлеет и разгорается против тебя в невидимое мщенье»*⁴²⁹.

Да и невыносима «осколку человека» Дионисическая Хиросима — при одной лишь мысли о ней, объятый ужасом, скрывается он в бункере «науки», относительно комфортном, вроде камеры, где, как набоковскому отцу российской демократии, в конце его путешествия, — на протяжении которого он только и делал, что скучал, — наконец было дозволено вдоволь пичкать себя книжками.

⁴²⁸ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 453.

⁴²⁹ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 39.

⁴²⁶ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 453.

⁴²⁷ Фридрих Ницше, *Злая мудрость, афоризмы и изречения*, *op. cit.*, т. 1, с. 728.

«Ich habe von allen Europäern, die leben und gelebt haben, die umfanglichste Seele: Plato, Voltaire— es hängt von Zuständen ab, die nicht ganz bei mir stehen, sondern beim «Wesen der Dinge» — ich könnte der Buddha Europas werden: was freilich ein Gegenstück zum indischen wäre»: Friedrich Nietzsche, *Nachlass 1882-1884* in Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Werke*, *op. cit.*, Band 10, S. 109.

Итак, Фальтеров «ялик» пришвартовался к берегам страны добродетельных, честных и подслеповатых «осколков человека», ибо, несовершенство их телесной конструкции не может не ограничивать также и их зрения. Как пёс не замечает цветов радуги, — не видят «осколки человека» ялика, не для них сверх-случай прибил его к пляжу. «Я случайно в него сел», — доверительно сообщает Фальтер о произошедшей с ним *случайности*; сообщает всего пятью словами, хотя, что касается Фридриха Ницше, он посвятил своей «яликовой» метаморфозе целое стихотворение: ницшевский «ялик», доступный лишь взору случайно образовавшегося сверх-существа — тот же *der Kahn*, в русской версии названный для рифмы Свасьяном «чёлном». И пусть не подумают, что я нападаю на господина Свасьяна. Нет! Ибо та чуткость, с которой он *ощущает* Ницше, да и Пушкина, навсегда искупает любые переводческие неточности, тем более, что замечены они были мною без всякой заслуги с моей стороны, но с помощью откровения Божественного; а потому не мне пенять на недостатки происхождения «человеческого».

На самом же деле русский поэтический пересказ лишь приблизительно отражает произошедшее в *Таинственном чёлне* Фридриха Ницше, где поэт-философ прибегает к презанятнейшей игре слов: *Der geheimnisvolle Nachen*, буквально, «пропитанный, точно губка, тайной чёлн». За основу берётся старое светотеневое созвучие «*Nacht — Licht*» предшественников; Ницше называет «чёлн» *der Nachen*, которому до немецкой «ночи» *die Nacht*, моменту произошедшей метаморфозы, помимо смены пола для получения способности к деторождению, необходимо лишь обменять придаток «*en*» на менее длинный «*t*». Более того, тут же, с первой строки стихотворения, Ницше упоминает о ночи: «*Gestern Nachts, als Alles schlief...*»⁴³⁰.

«*Прошлой ночью, когда всё спало ...*»⁴³¹, русский переводчик собрания сочинений Фридриха Ницше напрочь упускает это необходимейшее для понятия всего ницшевского творчества «*Alles*».

После того как Ницше окрестил своё стихотворение, он более уже не использует слова «*Nachen*» и обращается к *высше-лирическому*⁴³² гейневскому «*Kahn*», который напрашивался в поэму с самого начала:

⁴³⁰ Friedrich Nietzsche, *Der geheimnisvolle Nachen* in *Die fröhliche Wissenschaft* in Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Werke*, op. cit., Band 3, S. 643.

⁴³¹ Фридрих Ницше, *Сверхтаинственный ялик*, Перевод Анатолия Ливри.

⁴³² Фридрих Ницше, *Ecce homo*, op. cit., т. 2, с. 713.

ведь именно у Гейне бедняга-рыбак, — Симон, так и не доживший до *каменной* стадии, похеривший сети и глядящий ввысь, *hinan*, «in die Höh» (что чрезвычайно дурно рифмуется с «*wildem Weh*»), — или просто не было рыбы!? — шмат «человечины», погрязший в поисках недостающих ему частей, растворяется в Рейне под соло швабской сирены.

«Я случайно в него сел» — отсылает к метаморфозе, пережитой некогда самим Фридрихом Ницше, ведь если разобрать, строку за строкой, ницшевский *Der geheimnisvolle Nachen*, то открывается следующий факт: Набоков-Синеусов, описывая роковую для Фальтера ночь, вдохновился именно событиями, пережитыми Фридрихом Ницше той сверхтаинственной ночью. Тогда Ницше, лежа в блике *лунного света* (позаимствованном впоследствии Розановым для своих сексуальных левшей, которых, следуя платоновской схеме, стоило окрестить «людьми небес»), — то есть в свете предсказательницы-Луны, «*Noch der Mohn, noch, was sonst tief / Schlafen macht ...*»⁴³³, которая есть и женское и мужское начало вместе⁴³⁴, «*Тицетно силится уснуть*»⁴³⁵ — также как и Фальтер, «*...комбинир<ующий> различные мысли...*»⁴³⁶, перед тем как на него снизошёл Дионис.

Далее, если верить стихотворению, Фридрих Ницше бросается к морю (что же до «всего», «*Alles*», населяющего эту страну, то «оно» мирно спало: подлинные аполлонические грёзы душ этого «всего» витали над ним) и видит тот же самый «ялик». В нём находилась Фальтерова «истина», а по Ницше — недостающий для достижения «Сверх-человеческого» идеала кусок:

«И, дурных предчувствий полн,
Побежал потом я к морю.
Там пустой качался чёлн,
Чёлн таинственный, в котором
Под сонливый выплеск волн
Кто-то спал, сморён измором»⁴³⁷.

⁴³³ Friedrich Nietzsche, *Der geheimnisvolle Nachen* in *Die fröhliche Wissenschaft* in Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Werke*, op. cit., Band 3, S. 643.

⁴³⁴ См. Плутарх, *Об Изиде и Осирисе*. 43, а также *Орфические Гимны* IX 4.

⁴³⁵ Фридрих Ницше, *Таинственный чёлн*, *Песни принца Фогельфрай, Человеческое, слишком человеческое*, op. cit., т. 1, с. 713.

⁴³⁶ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, op. cit., т. 4, с. 453.

⁴³⁷ Фридрих Ницше, *Таинственный чёлн*, *Песни принца Фогельфрай, Человеческое, слишком человеческое*, op. cit., т. 1, с. 713.

«Лунный свет» *зловещ*⁴³⁸, предчувствия, переполняющие Ницше *дурны*⁴³⁹ — это нормальная реакция духа, который есть тело! «Осколочная» же плоть, как и любое другое недоросшее до контакта с Дионисом существо, хочет продолжать жить, во что бы то ни стало сохраняясь такой, как она есть. Метаморфоза «осколочного» тела в сверхсущество ужасна, неприемлима для этого тела, — ибо с ней прекращается его предыдущая жизнь. Находящийся на пути воссоединения «осколок человека», ещё не обладает истиной сверхсущества, он способен лишь предчувствовать, да и то лишь в том случае если он есть «осколок» тела артиста, сиречь — предрасположенный к слиянию «осколок». Об этом пропоёт Ницше «Высшему человеку» в том же 1885 году устами перса, усадившего, вокруг себя, словно птиц, все свои двенадцать частей. И Ницше в двенадцати, по числу апостолов-олимпийцев, куплетах «Песни опьянения» передаёт то, на что ранее, в стихотворной форме, ему хватило четыре строфы, а именно — пытается *означить* атмосферу, при которой происходят мистерии. Только бесполезно всё это: куски «Высшего человека», к Дионисической метаморфозе не предрасположенные, не поймут да и не впитают его слов. Богу поёт Ницше:

*«Опьянённая сладкозвучная лира,
— полночная лира, звук колокола, которого никто не понимает,
но который должен говорить перед глухими, о высшие люди! Ибо вы
не понимаете меня!»*

*Свершилось! Свершилось! О юность! О полдень! О послеполудень!
Теперь наступил вечер, и ночь, и полночь, — пёс воет, ветер, —*

*— разве ветер не пёс? [что думал по этому поводу Блок, не Антониус
— также большой любитель полуночных ницшевских экивоков — а, есте-
ственно, Александр?! <А.Л.>] Он визжит, он тявкает, он воет. Ах!
Ах! Как она вздыхает, как она смеётся, как она хрипит и охает,
эта полночь!»⁴⁴⁰*

Ибо осколки «Высшего человека» — неудачники; а неудачники они потому что *не удались*, плохо слеплены. Следовательно, жаждут они жить — продолжать поиск недостающих им кусков; они несут в себе ком-

плекс узников — и будь они даже мультимиллионерами, их последними словами навсегда останутся *«Attendre et espérer!»*.

Ибо: «... *всё незрелое хочет жить* ...»⁴⁴¹ и мучиться неспособностью разглядеть «ялик», несущий необходимое для воссоединения с другими «осколками» сверх-знание и, неминуемо, следующую за ними гибель — этого сверх-лекаря.

Ибо туда, «*в свой отчий дом, в свой кровный, вековечный дом!*»⁴⁴², — к смерти, — рвётся всякое сверх-существо. Оно насыщено самим собой, оно уже прежде ухнуло Дионисическим динамитом и, в процессе самовоссоздания, — познало! — тем самым истощив жизнь самой собой, заполнив жизненные пробелы собственным туловищем, как пространство меж буквами — получив тотальный, и к тому же воплощённый *Λόγος*, опустошивши себя до дна и тотчас распахнувши объятия своему некреативному сумасшествию. Или, как говаривал Заратустра жизнелюбивым кускам «человечины», оставшимся глухим к его песням: «*„Что стало совершенным, всё зрелое — хочет умереть!“ — так говоришь ты* [виноградная лоза <А.Л.>]. *Благословен, да будет благословен нож виноградаря! Но всё незрелое хочет жить: о горе!*»⁴⁴³.

Эта *Canticum Canticorum* Заратустры — объяснение в любви с Богом, вдребезги разнёсшим его перенасыщённый аполлонический покой, с Богом проникнувшим в перса, ставшим его «возлюбленным». Так некогда желал, — да не сумел! — умереть разом потерявший разум Пенфей, когда Дионис соизволил возложить на него свою десницу, и если бы некое высшее, способное одновременно и к анализу и к Дионисическому трепету существо находилось тогда *в Пенфее*, и одновременно *над Пенфеем*, оно бы так *означило* подлинный внутренний монолог Пенфея: «Моё истинное „Я“ жаждет, сладострастно, умереть разорванным, мечтает стереться с лица планеты вместе с начинкой влитой в моё тело моим аполлоническим творцом! Я залит его нектаром, я плескаюсь в нём, как в блаженном озере счастья: ибо я уже — не горю-Пенфей! Так прийди же ко мне! Срежь меня! Но Ты притягиваешь меня и не в силах окончательно притянуть, и я чувствую, что нечто во мне самом препятствует единению с Тобой. Так расчлени же меня Твоей наитайнственной сверхмагией да руками моей матери,

⁴³⁸ Ibid.

⁴³⁹ Ibid.

⁴⁴⁰ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 233. Курсив Фридриха Ницше.

⁴⁴¹ Ibid.

⁴⁴² Ibid, с. 235.

⁴⁴³ Ibid., с. 233.

чтобы я, наконец, смог вобрать в себя новые, мне ещё не принадлежащие части! Сейчас я содрогаюсь от страха, но если бы мой *carcasse* знал куда я веду его, ужас заставил бы его пасть ниц, животом прижавшись к Земле, лишь только он почует приближение голубиных стоп Духа Святого – Диониса!».

Важный момент: когда Божество-динамит нисходит на аполлоническую цитадель, когда оно *само-предлагает себя*, – тело и кровь свои, – то всегда несовершенный жрец-страж калеки-цитадели (неверно представляющей ему целостностью *par excellence* – о эта близорукость «осколков»!) грозитя, и более того, осуществляет (как ему кажется) угрозы разъять Божье тело на куски. Но всегда, рано или поздно, взрывается он сам – уже без малейшей надежды на последующее стадию «склеивания». А самое главное: в одно из неуловимейших мгновений Дионисо-осколочного *πόλεμος*, вблизи казнимого неудачника порождается сверхсущество редчайшее, – приносящее в мир трагедию, или, другими словами, ту субстанцию, которая возникает из легчайшего, неуловимейшего для «чандаловеков» соприкосновения семитских гомерово-глубинных тайн и наслоившихся на них, им изначально чуждых, но затем ставшими братними и сестренскими, арийских пластов.

* * * * *

И вот начинается метаморфоза – реальное ницшеанство – взрыв. Дионис воздействует на Ницше-Заратустру точно таким же образом, как впоследствии, только другим путём приблизившись к тайне, опишет данный процесс Набоков в *Ultima Thule*. Ницше вспоминает:

«Тут, на час или на два,
Или год то длилось целый? –
Чувства, мысли, голова –
Всё куда-то отлетело,
И узрел, живой едва,
Бездну я – на самом деле!»⁴⁴⁴.

⁴⁴⁴ Фридрих Ницше, *Таинственный чёлн, Песни принца Фогельфрай, Человеческое, слишком человеческое*, *op. cit.*, т. 1, с. 713.

То, что ранее являлось телом Фридриха Ницше внезапно разлагается на части Божеством; все ощущения вкупе с «разумностью» покидают его.

В процессе воздействия Диониса исчезает тактильное ощущение мира, привычного «осколкам человека». Вакхический взрыв разлагает и тотально переиначивает на свой лад находящееся под влиянием взрывной волны. Ницше чувал это. Ницше на один редчайший промежуток времени стал «Сверх-человеком», сверхсложным, медленно-умирающим, но жаждущим прихода *supra*-«Сверх-человека», способного превозмочь сладостное чувство потери равновесия; пережить собственное насилие над кольцом; создать своё, самокатящееся по планете колесо, многорукое, многоногое, то что невозможно вообразить сейчас – если желаете, телесное воплощение *Книги пророка Исайи*.

* * * * *

Далее, всё далее от «человека» увлекаю я вас. Глубже, ещё глубже, к золотому сердцу Земли ведёт нас Дионис. Проверьте, хорошо ли замкнуты двери.

Ср. У Ницше:

«Тут, на час или на два,
Или год то длилось целый? –»⁴⁴⁵.

Ср. У Набокова свидетельские показания о продолжительности взрыва переданные полиции честными «осколками человека»: «... по одним сведениям, Фальтер кричал около четверти часа, по другим, пожалуй более достоверным, минут пять подряд»⁴⁴⁶.

Но вот, наконец, разверзается перед ступнями Ницше «пропасть» («бездн<а> на самом деле»⁴⁴⁷) сверхзнания – та, к которой, через несколько минут набоковского повествования, Фальтер подведёт Синеусова:

«Видите ли, я узнал – и тут я вас подвожу к самому краю ита-
льянской пропасти, дамы не смотрите, я узнал одну весьма про-
стую вещь относительно мира»⁴⁴⁸.

⁴⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁴⁶ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 446.

⁴⁴⁷ Фридрих Ницше, *Таинственный чёлн, Песни принца Фогельфрай, Человеческое, слишком человеческое*, *op. cit.*, т. 1, с. 713.

⁴⁴⁸ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 455.

После Фальтеров «ялик» уносит нас к последней строфе ницшевской поэмы:

«Утром крики, вновь и вновь,
Чёлн чернеет там же шатко...
Что случилось? Что за кровь?
Что за странная загадка?
Нет же, нет же! Мы без слов
Спали оба — ах! так сладко!»⁴⁴⁹.

Ночь: *Nachen* — «en» + «t», — завершена. «Сверх-человек» выбирается из кокона, покамест вокруг него копошатся увязшие насекомообразные представители определённого «класса» — содрогаясь взмахивает крыльями *ber-ψυχή*, и... тотчас понимает, что полёт потерял всякую необходимость, ибо в результате своей Дионисической метаморфозы «Сверх-человек» уже впитал в себя весь мир; только эхо криков ещё сотрясает воздух — как эхо воплей последних вакхантов, хотя кортеж самого Бога давно уже покинул фиванские горы, отправившись шествовать дальше, по Европе: «Утром крики, вновь и вновь...»⁴⁵⁰. Около взрывной воронки валяются шматы мяса львов да аполлонических жрецов (только выкарабкивается из-под развалин помилованный Осирисом один среди них, Плутарх): «Что случилось? Что за кровь?»⁴⁵¹. Произнесение звуков, этих осколков слов, теряет надобность, ибо «Сверх-человек» не говорит, не скрывает, а — *означает*: «Мы без слов

Спали оба (sic.) — ах! так сладко!»⁴⁵².

Снова неточность перевода, показывающая, что *traditore*-ницшеведы не особенно понимают ценность и хрупкость материи, коей им привелось орудовать:

«*Wir schliefen, schliefen*
Alle — ach, so gut! so gut!»⁴⁵³.

А ведь Ницше выделяет для будущего читателя, — *который и есть его отражение во времени*, — это «*Alle*», а не «*beiden*», курсивом. Дей-

⁴⁴⁹ Фридрих Ницше, *Таинственный чёлн, Песни принца Фогельфрай, Человеческое, слишком человеческое*, *op. cit.*, т. 1, с. 714. Курсив Фридриха Ницше.

⁴⁵⁰ *Ibid.*

⁴⁵¹ *Ibid.*

⁴⁵² *Ibid.*, Курсив Фридриха Ницше.

⁴⁵³ Friedrich Nietzsche, *Der geheimnisvolle Nachen* in *Die fröhliche Wissenschaft* in Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Werke*, *op. cit.*, Band 3, S. 644. Курсив Фридриха Ницше.

ствительно, во второй строфе был «*Mann und Kahn*» в подражание «*Ich weiss nicht was soll es bedeuten*». Фридриху Ницше не хватало одного, только одного оставшегося «осколка», для того, чтобы воссоединиться с ним в продолжении этой жуткой для недо-«Сверх-человека» ночи (*Nacht*) на ялике (*Nachen*). Но поутру в ялике очнулось новое существо — *BCE (Alle)* его, уже объединённые части, — а не *оба*, как неверно представляет суть мысли Фридриха Ницше русскому читателю переводчик Сверхтайнственного ялика.

И после, в *Так говорил Заратустра*, Ницше сам означает, что это за «ялик», *der Nachen* и кого именно качает он на волнах? Это тот, кто срежет виноградную лозу — душу назревающего «Сверх-человека»: «*О душа моя, обильна и тяжела ты теперь, как виноградная лоза со вздутыми сосцами и плотными тёмно-золотистыми гроздьями*»⁴⁵⁴. Да! Если верить *Песне Песней* перса, новое существо одним своим образованием в ялике — этой оболочке «Сверх-человека», — *срежет* душу того, кто предшествовал сверхслиянию Ницше-Заратустры: «*Смотри, я сам улыбаюсь, предложивший тебе петь (...) — туда, к чуду, к вольному челноку [«freiwilligen Nachen»⁴⁵⁵] и хозяину его; но это — виноградарь, ожидающий с алмазным ножом*»⁴⁵⁶.

* * * * *

Обратимся же теперь к третьему примеру, который даёт Фальтер-«картезианец» — конечно, не последователь постулата *Cojito ergo sum*, нет! Ибо в первую очередь необходимы тело и дух, а уж разум доскачет до них сам, как гётевский колдун до *проворных* брокенских менад; картезианец в ницшевском смысле есть апостол Декарта-фехтовальщика, некогда отбившегося от пиратов на манер Ариона, спасённого от эгейских флибустьеров бывшими сотоварищами Гекатора во имя искупления прошлых пригрешений. Итак, вот он, последний фальтеров пример:

«*Но может быть, проще всего будет, если скажу, что в минуту игривости, не непременно математической игривости, — математика, предупреждаю вас, лишь вечная чехарда через собственные*

⁴⁵⁴ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 162.

⁴⁵⁵ Friedrich Nietzsche, *Also sprach Zarathustra*, *op. cit.*, S. 280.

⁴⁵⁶ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 163.

плечи при собственном своём размножении, — я комбинировал различные мысли, ну и вот скомбинировал и взорвался, как Бергтольд Шварц»⁴⁵⁷.

«Проще» это, конечно же, будет для всё понявшего сверхсущества. Синеусову, однако, подобное объяснение не даёт абсолютно ничего.

Здесь стоит, наверное, повторить один из тезисов *Набокова ницшеанца*: мало что ненавистнее Набокову, чем «математик», эдакий Алфёров, укравший у «Ганина» — первого набоковского героя, в хмелю упоминающего о «Вечном Возвращении»⁴⁵⁸, — его Машеньку, и пропагандирующий «графоману-свинке» Подтягину (тёжке подлинного эмигранта-математика) *Deutschland, Deutschland über alles*⁴⁵⁹. Точнее будет сказать, что «математика» превратилась у Набокова в некий символ одной из форм тюремного самозаклечения в кольцо пост-александрийских «осколков человека». Фальтер повторяется — это ему придётся не раз совершить, — и его «разумная математика», или, говоря языком *Ultima Thule*, «чехарда через собственные плечи» — ещё один самообман, создание впечатления объятия истины, а на самом же деле, окольцовывание самого себя: «... математика, предупреждаю вас, лишь вечная чехарда через собственные плечи при собственном своём размножении ...»⁴⁶⁰. «Маленький» же «человек», чья душа предрасположена к «пост-александрийской» математике, *саморазмножается*. Количество таких пролетариев возрастает, в то же время не достигая даже круглотелесной антропоидной стадии; Земля скукоживается, становится перенаселённой блохообразными «осколками человека» — долгожителями: «последний человек живёт дольше всех»⁴⁶¹, — знает об этом Заратустра. Ситуация повторяется неоднократно: «маленький человек», «осколок» — создание допотопное. А аристофановская шутка об андрогине только воспроизводит ветхозаветную версию, где Зевесова молния стала, в ру-

ках Яхве, потоками воды, приведшими к изменению форм материков, а с ними — к изменению силы притяжения Семелы к себе Диониса. Великаны, — «люди» и животные, — дотолё населявшие Землю, сгинули: скорость тока их крови не соответствовала более новоустроенным законам жизни на съёжившихся континентах. «Маленькие люди», осколки, расплодились, и немудрено: их кровь течёт скорее. Но Земля перестала быть местом обитания мудрецов, потеряла свою вакхическую лёгкость, к коей она предрасположена со времён избавления от своего первого плода — Диониса. Подчас «человечество» сопротивляется, выставляя, как новосозданный ахиллов щит, назло «маленькому человеку» — брахмана, пестуя и выводя его, избавляя его от участия в кривляниях чандал, шудр, в чехарде каст воинов и правителей. Самое драгоценное в существовании медленнокровых брахманов, это то, что стоит им освоиться на коже Семелы, они, именно благодаря своему медленному кровотоку, перемежаемому со взрывами — когда наше Божество нисходит на них, — тотчас вспоминают о Земле Допотопной, чувствуют её изначальную топографию. А главное — такие существа способны возродить то, что предстаёт их взору! Так происходит до тех пор, пока распалённые завистью олимпийцы сызнава не расправятся с брахманами руками «маленьких людей», полукротов-полукарликов, которые опять задавливают лёгкую Землю своею тяжестью. Кольцо смыкается. «Человечество» вынуждено ожидать нового случая — сызнава надеяться некогда воплотиться в попытку нового Бога.

Какой же выход способен предложить Фальтер художнику, кроме как образ множественности, комбинацию колоссального количества «осколков человека», вырванных, то здесь то там, с боем у Зевса или же найденных в разных краях мира *философом* (в пифагорейско-фукидидовом смысле этого термина), собранных им, точно пыльца — и в любви-Агапе, и в эротическом иступлении, и в неистовстве воина, и в еврипидовой *македонской* инспирации, и много ещё где — а затем, перенесённых, например, к подножию того же, мечущегося в родовых муках, как прежде ликургов дворец, Китерона, куда стекаются, в предвкушении таинства, бассариды. Из этих кусков мудрости, *случайно* собранных в одном месте, под воздействием мужеской субстанции Диониса, и рождается сверх-импульс, разрывающий кольцо «Вечного Возвращения».

Описанная выше «комбинация» возможна исключительно при весёлой игривости души, когда она, наподобие гераклитового Божественного ребёнка развлекается костями, всецело доверяя составление

⁴⁵⁷ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 453.

⁴⁵⁸ «По какому-то там закону ничего не теряется, материю истребить нельзя, значит, где-то существуют и по сей час щепки от моих рюх и спицы от велосипеда. Да вот беда в том, что не соберёшь их опять, — никогда. Я читал о „вечном возвращении“... А что если этот сложный пасьянс никогда не выйдет во второй раз? Вот... чего-то никак не осмыслю... Да: неужели всё это умрёт со мной? Я сейчас один в чужом городе. Пьян. От коньяка и пива трещит башка.»: Владимир Набоков, *Машенька*, *op. cit.*, т. 1, с. 59.

⁴⁵⁹ См. Анатолий Ливри, *Набоков ницшеанец*, 2005, 239 с.

⁴⁶⁰ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 453.

⁴⁶¹ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 11.

выигрышной комбинации Случаю. Именно в «ребяческой» игре мудреца становится возможным случайное нисхождение сверх-мудрости на его «человечинку». Не потому ли чуткий персидский провозвестник «Сверх-человека», собирая куски «Высшего человека» у себя в пещере, называет её своей «деткой комнатой»⁴⁶².

«Душа», достигнувшая «ребяческой стадии», способна к восприятию «Высше-человеческих» ценностей; конструкция такой души не проста, ибо в своём становлении она прошла целую серию «данов»: верблюд — лев — ребёнок. Не потому ли последующее резжёвывание истины и вкладывание её редких крошек, размягчённых «Сверх-человеческой» слюной, в уста Синеусова — постоянно будет сводиться к тематике «ребяческой». Художник же, этот имитатор *par excellence*, приспособлен к проглатыванию истин, но овладение истиной требует не имитации, но способности к «конструкции».

Усилия Фальтера бесполезны ещё и потому, что Синеусов потерял свою «ребяческую часть» вместе с женой. *Трупик* — ребяческая часть неудавшегося «Высшего человека», исторгнутая у Синеусова Аидом, состоящим, вместе с Зевсом, Гелиосом да Дионисом единое целое⁴⁶³. Оказывается, Синеусову *нечем прильнуть* к Фальету: Евридика оказалась беременной. Но, будь бисексуалист-Орфей таким же мужественным как Алкестида, и будь Евридика достаточно *антрогиноподобна* (сиречь, будь у неё ещё одно лицо сзади), не пришлось бы ей возвращаться в чертог дочери элевсинской хохотуни.

Подделом Орфею! Незачем было столь запелляционно становиться на сторону застойного единства; □-πολλοί — извечный комплекс Пенфея, стагнация истомившегося духа не способного к прыжку Истоминой поверх полуночного рубежа. От этих набоковских «Орфеев» мельтешит в глазах, как от досок берлинского забора: например, *возвратившийся* Чорб, или же истинный герой рассказа — сын Ареса и Афродиты Урании, брат Эрота.

Да, Да! — соглашается наш ребячий дух. Но что нас, вакхантов и менад, интересует в действительности, так это будущее разорванного нами же — а на самом деле Богом-двурушником — аполлонического певца. Мы изнываем от любопытства, от *ностальгии* по тому, что произойдёт по ту

⁴⁶² «Но теперь предоставьте мне эту детскую комнату, мою собственную пещеру, где сегодня было столько ребячества. Остудите на воздухе ваш горячий детский забор и биение ваших сердец.» *Ibid.*, с. 228. Курсив Фридриха Ницше.

⁴⁶³ См. Макробий или Император Юлиан, *εις τον βασιλεα Ηλιον προς Σαλουστιον*.

сторону набоковской точки или многоточия: когда поющая голова, наконец, смолкнет, а кучей застывший в молчании народ разойдётся. Вот тогда-то: соберутся ли части Орфея в новое существо? Станет ли оно новым телом, примирившим обоих Божеств, и самое главное — какой звук исторгнет оно? Всё это останется за завесой. Но мы не скрываем нашей жажды — видеть, слышать, чутая *Über*-Орфея!

Мне кажется, что у Набокова, наиболее удавшийся, сиречь ближе всех к эпицентру воссоединения в тело сверх-созидателя *случайно* оказался тот, кто познал Дионисический ужас: тела четвероногих, двуногих и их продукции *ο*Дионисились для него, и герой уже не способен *очеловечить* их. Отныне его вакхический, единственно истинный Λόγος отказывается воспринимать символы, или же различать пола разорванных некогда андрогинов, обозначаемые звуками человекообразных — содроганиями голосовых связок их несовершенных тел:

«И вот, в тот страшный день, когда, опустошённый бессонницей, я вышел на улицу, в случайном (sic.) городе, и увидел дома, деревья, автомобили, людей, — душа моя внезапно отказалась воспринимать их как нечто привычное, человеческое. Моя связь с миром порвалась, я был сам по себе, и мир был сам по себе, — и в этом мире смысла не было. Я увидел его таким, каков он есть на самом деле: я глядел на дома, и они утратили для меня свой привычный смысл; всё то, о чём мы можем думать, глядя на дом... архитектура... такой-то стиль... внутри комнаты такие-то... некрасивый дом... удобный дом... — всё это скользнуло прочь, как сон, и остался только бессмысленный облик, — как получается бессмысленный звук, если долго повторять, вникая в него, одно и тоже обыкновеннейшее слово. И с деревьями было то же самое, и то же самое было с людьми. Я понял, как страшно человеческое лицо. Всё — анатомия, разность полов, понятие ног, рук, одежды, — полетело к чёрту, и передо мной было нечто — даже не существо, ибо существо тоже человеческое понятие, — а именно нечто, движущееся мимо (...) Я мучительно старался понять, что такое „собака“, — и оттого, что я так пристально на неё смотрел, она доверчиво подползла ко мне ...»⁴⁶⁴, да и сам «человек» — что это такое в конце концов!?! Безымянному герою *Ужаса*, прочувствовавшему на своём теле ужасное прикосновение тирса, известно и это: «... чем пристальнее я вглядывался в людей, тем бессмысленнее становился их облик»⁴⁶⁵.

⁴⁶⁴ Владимир Набоков, *Ужас*, *op. cit.*, т. 1, с. 400 — 401.

⁴⁶⁵ *Ibid.*, с. 401.

Но что до истинной мудрости Якха, её, во всей полноте ощутил один только набоковский счастливчик – Фальтер!

* * * * *

Алкивиад: «Вы разогреваетесь, Фальтер. Но вернёмся к главному: что именно вам говорит, что это есть истина? Обезьяна чужда жребию»⁴⁶⁶.

Сократ: Пещер, теней на стенах пещер... то бишь, пардон, «–Истин, теней истин, – сказал Фальтер, – на свете так мало, – в смысле видов, а не особей, разумеется, – а те, что налицо, либо так ничтожны, либо так засорены, что... как бы сказать... отдача при распознавании истины, мгновенный отзыв всего существа – явление мало знакомое, мало изученное»⁴⁶⁷.

По стене детской комнаты – пещеры персидского пророка, – проплывают тени истин. Среди них появляются и тени осколков «Высшего человека» – двуногие, крылатые, четвероногие, хвостатые. Фальтер познал насколько недоступно им «Сверх-человеческое» единение, ибо опять же несовершенное зрение их разорванных тел не приоткрывает им факта подобной возможности. Даже лучшие из «осколков человека» не ощущают в себе способности к единению: чувством этим наделяет лишь Господь, а он давно скрылся в азиатских горах. Тяга же к этому Божеству, поиск его местонахождения признаны «не разумными». Так навеки лишают себя «осколки человека» возможности заполучить Дионисическую смазку для единения, навсегда остаются «ничтожными», *Falter dixit*, рванными телами.

Перед воссоединением Фальтер был разобран на части, как мортира. Для приведения его в боевую готовность, согласно добрым гераклитоканонирским заветам, ему не хватало лишь «патрона». Случайно получает его Фальтер: вернувшийся Дионис, проносясь над Европой, не пожелал пропустить заprimeченного им образовавшегося сверхвахханта, – оружие заряжено, затвор взведён, – *kling! kling! kling!* – точно воды, поднятые Элойхим'ами во второй, *дурной* день мироупорядочения в предвидении – несомненном предвидении! – неизбежного Пото-

па. Брраааммм! – грянул выстрел, – от вакхической искры произошло возгорание пороха, – точно вино долго бродившее (даже смешанное для длительного сохранения с тирренской водицей), достигло, наконец-то, своей оптимальной стадии. Пуля-«неразумница» вылетела из ствола. – Ах эта отдача в плечо внезапно появившегося сверхсущества!

Набоков ницшеанец знает, ощущает, – предчувствует для себя! – что такое симбиоз высшей военной доблести, вовремя передёрнутого затвора души, верного глаза, детской игривости (той, которой подчинялся Ахилл в самые великие батальные мгновения!), – всё это необходимо для того, чтобы *грохнуть* посреди законопослушных «человечьих осколков». Недаром, автор *Ultima Thule* последствия происходящего означает как действие на редкость удачно собранного и заряженного оружия, выделяя в тексте курсивом *отдача* – после которой следует «отзыв всего <сверх>существа»⁴⁶⁸.

Описавши «выстрел» своего тела, набоковский «Сверх-человек» с жаром и неизбежной издёвкой принимается за парафраз ницшевского панегирика «ребёнку» из первой речи Заратустры: «Три превращения духа назвал я вам: как дух стал верблюдом, львом верблюд и, наконец, лев ребёнком»⁴⁶⁹, – так Ницше воспроизводит более совершенную форму *осязания* «Высшего человека», чем та, которая существовала в мире эллина трагика. Тогда переход от низшей к высшей стадии подразумевал восхождение от стадии «воина» к стадии «мудреца»: от Эдипабретёра⁴⁷⁰ – к слепцу, благославляющему своей смертью Афины⁴⁷¹; от Филоктета, горланящего проклятия Неоптолему с Одиссеем – к победителю Илиона, усмирившему, конечно при вмешательстве подземного лучника, свой вендеттовый $\square\beta\rho\iota\varsigma$.

Набокову же, видно по душе ницшевская «экономия сил» – такую Кутузовскую тактику берёт на вооружение Фальтер в юности, поступая так исключительно сообразуясь с врождённым рефлексом, ещё не зная, однако, того, что конкретно ожидает его на пути познания⁴⁷²; Фальтер

⁴⁶⁸ Ibid.

⁴⁶⁹ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 19.

⁴⁷⁰ Еврипид, *Финикиянки*, в. 45 – 52.

⁴⁷¹ Софокл, *Эдип в Колоне*, в. 1726.

⁴⁷² «... [Фальтер <А.Л.>] работал экономно, ибо метил невысоко и точно знал границу своих возможностей. Его главная заслуга перед собой та, что он сознательно обходил собственные таланты, делая ставку на дюжинное, общепринятое, а ведь он был одарён странными, чем-то обаятельными способностями, которые другой, менее

⁴⁶⁶ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 453.

⁴⁶⁷ Ibid., с. 454. Курсив Набокова.

уже впитавший истину сознательно руководствуется таким правилом: «Берегу силы, — сказал Фальтер»⁴⁷³.

Принцип экономии жизненных сил, согласно Фридриху Ницше, состоит в следующем: сначала — «стадия мудреца», пожирателя пустынных вёрст, приучения лёгких и мускул со связками ног к предстоящей пирихе: «*Всё самое трудное берёт на себя выносливый дух: подобно навьюченному верблюду, который спешит в пустыню, спешит и он в свою пустыню*»⁴⁷⁴.

Затем, стадия льва: «*Но в самой уединённой пустыне совершается второе превращение: здесь львом становится дух, свободу хочет он себе добыть и господином быть в своей собственной пустыне*»⁴⁷⁵, — речь идёт о «стадии героя», «мужчины», в буквальном греческом смысле слова *ανήρ* — корне слова *ανδρεία*. И если Ницше называет её в начале Заратустры «стадией льва», то внимательный читатель видит, как позднее *Ich will* «льва»⁴⁷⁶, в устах пророка, — беседующего со своей мантинейкой Диотимой, — превращается в *Ich will* мужчины, когда Заратустра заговаривает об отношениях идеального мужчины с идеальной же женщиной: «*Das Glück des Mannes heisst: ich will. Das Glück des Weibes heisst: er will*»⁴⁷⁷.

Но вот начинается самое таинственное, последнее превращение духа — картезианцу Ницше было угодно разделить метаморфозу на три основные стадии, итак — «воин» *расслабляется*. Его тело хранит в себе воспоминания о труде, да песнях, собранных предшествующим ему «верблюдом» во всех краях Земли. В его теле запечатлены все рефлексy убийцы, не забыта ни одна победа, ни одно поражение. Теперь же телу предстоит наисложнейшее — стать нежным, невинным, сказать истине «Да», чем и объясняется педоманская страстишка «эллиниста»⁴⁷⁸ <Жана> Гумберта: пробраться без билета в высшую стадию духа с помощью *чужой* детской нежности.

осмотрительный, постарался бы практически применить»: Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 443.

⁴⁷³ *Ibid.*, с. 455.

⁴⁷⁴ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 18.

⁴⁷⁵ *Ibid.*

⁴⁷⁶ Friedrich Nietzsche, *Also sprach Zarathustra*, *op. cit.*, S. 30.

⁴⁷⁷ *Ibid.*, S. 85.

⁴⁷⁸ См. Анатолий Ливри, *Набоков ницшеанец*, *op. cit.*, с. 211 — 212.

Подобное *расслабление*, самонапитывание отзывчивостью, в виду перенесённых им прежде испытаний, не является естественным для двух предыдущих состояний «человека *ещё-разумного*». Более того, вселение чуткого духа в неприспособленное для того тело сопутствуется неизбежным снижением сопротивляемости организма, неминуемо ведёт к смерти. Таким иммунодефицитом страдал и сам Ницше. Но как бы ни был краток век детской невинности познавшего (ранее я, вместе с набоковским Фальтером, называл её по-другому, «взрывом») — начинается летоисчисление эры «Сверх-человека», рождается его мир — жаль только, что о появлении самого мира сверхсущества узнают лишь те, кто оказывается в радиусе взрывной волны.

Для ницшеанца Набокова даже обыкновенный «человеческий» ребёнок может воспроизвести в своей плоти пережитое Фальтером при контакте с Дионисом. Впрочем, ребёнок не всякий, но — *выздоровливающий*, — как бы *случайно* оказывающийся чуть ли не в каждом произведении Набокова. Вот лишь некоторые из тех, кто пестует юношеское здоровье в ожидании здоровья великого, здоровья средиземноморского. Таково, например, пушкинское, самое дальневосточное, с привкусом португальского — то есть наизападнейшего европейского — вина, выздоровление *Машеньки*: «*Девять лет назад... Лето, усадьба, тиф... Удивительно приятно выздоравливать после тифа. Лежишь словно на волне воздуха; ещё, правда, побаливает селезёнка, и выписанная из Петербурга сиделка трёт тебе язык по утрам — вязкий после сна — ватой, пропитанной портвейном. Сиделка очень низенького роста, с мягкой грудью, с проворными короткими руками, и идёт от неё сыроватый запах, стародевичья прохлада. Она любит прибаутки, японские словечки, оставшиеся у неё от войны четвёртого года*»⁴⁷⁹; я имею в виду выздоровление *Машеньки*, как предтечу воссоединения *quasi*-идеального существа: «*В этой комнате, где в шестнадцать лет выздоравливал Ганин [ещё ошибочка, повествующий Набоков! Ведь в шестнадцать-то лет, «Ганин» — не Ганин. Несёт тебя Дионис! <А.Л.>], и зародилось то счастье, тот женский образ, который, спустя месяц, он встретил наяву*»⁴⁸⁰. Выздоровление это вспыхнет в теле «Ганина» подобно гераклитовому огню в столице родины Фридриха Ницше, и Набоков, верный своему воспитателю, повторяет,

⁴⁷⁹ Владимир Набоков, *Машенька*, *op. cit.*, т. 1, с. 56.

⁴⁸⁰ *Ibid.*, с. 57.

уже в третьей раз, точно заклинание: мой герой — есть добрый европеец, а потому ему безразличны ваши внутриконтинентальные границы да визы, и он *выздоровливает*, чтобы, впитав до последней капли одну из нехватящих ему частей, совершить рывок к идеальному Средиземноморью. Селах, Зулейка мавританка!: «Блуждая в этот весенний вторник по Берлину, он [«Ганин» <А.Л.>] и вправду выздоравливал, ощущал первое вставание с постели, слабость в ногах»⁴⁸¹; «Он выбрал поезд, ухотивший через полчаса на юго-запад Германии, заплатил за билет четверть своего состояния и с приятным волнением подумал о том, как без всяких виз проберётся через границу, — а там Франция, Прованс, а дальше — море»⁴⁸².

А вот выздоровление Дара: «Опишем и выздоровление, когда уже ртуть не стоит спускать, и градусник оставляется небрежно лежать на столе, где толпа книг, пришедших поздравить, и несколько просто любопытных игрушек вытесняют склянки мутных микстур»⁴⁸³; и даже выздоровление Соглядатай: «... но по-видимому моё воображение при жизни было так мощно, так пружинисто, что теперь хватало его надолго. Оно продолжало разрабатывать тему выздоровления и довольно скоро выписало меня из больницы»⁴⁸⁴.

Происходит это, несомненно, потому, что «чувство выздоровления» было знакомо и телу самого Набокова, который щедро делился этим ощущением с Фёдором, проливая при этом жертвенный елей Мнемозины (ибо воспоминания есть жидкость!) в дар Деметре:

«Частые детские болезни особенно сближали меня с матерью. (...) После долгой болезни я лежал в постели, размаянный, слабый, как вдруг нашло на меня блаженное чувство лёгкости и покоя»⁴⁸⁵.

Итак, Фальтер пытается объяснить Синеусову на «ребячьем при- мере» свою метаморфозу; детская тема — единственная возможная к употреблению на «человеческом языке» Фальтером: ребёнок есть последняя стадия в иерархии «человеческого духа» перед качественным изменением вышеозначенной породы. Фальтеру пришлось пережить её,

и измышленное Набоковым сверхсущество следует совету Геллертовой басни, которую Ницше воспроизводит в своей первой крупной книге:

«Её ты пользу зришь на мне;
Кому Бог отказал в уме,
Тот на примерах понимает»⁴⁸⁶.

Вот как, с многоточием, — а их писатель, *поработивший Слово*, должен бы избегать и в диалогах, — чуть ли ни с эканьем да с самовлюблённым растягиванием гласных на «и» да на «а», приподносит Фальтер Синеусову, своё дитя духа: «Ну, ещё там у детей... когда ребёнок просыпается или приходит в себя после скарлатины... электрический заряд действительности, сравнительной, конечно, действительности, другой у вас нет»⁴⁸⁷. Снова боль от отдачи — точно прикладом в плечо, — как следствие возгорания пороха от молнии: вот он, миниатюрный образ Дионисического взрыва, пережитого Фальтером; всё нужно объяснять по-горбтому «осколкам человека», ведь их мир упрощён до смехотворности: их желания так тщедушны, так вялы, так кукольно-тряпичны; сколько усилий надобно вновь образовавшемуся «Сверх-человеку», дабы спуститься к ним, сызнава прочувствовать мир «осколков человека», ужаснуться их простоте, свирепой линеобразности их душ, одним словом — сравнительной действительности их существования.

После же описания *электрической* вспышки, по всем правилам повествования следует — единственная возможная форма самозащиты, буфер сверх-души: снисходительное похлопывание «Сверх-человеком» по плечу «осколка человека»: мол, я-то перешёл в *другую... действительность*, подступа к каковой у вас не имеется, а потому вам остаётся довольствоваться исключительно тем примером, который я, следуя тем же словам «честного Геллерта», соизволил вам пожертвовать. Ибо я, «Сверх-человек», не только чую, но даже и сознаю, что грешу состраданием перед Богом моим.

После сказанного Фальтер позволяет себе передышку: «Возьмите любой трюизм, т.е. труп сравнительной истины»⁴⁸⁸. Опять последствия преступления! Убийство образа доступного «осколку человека»! Но разве можно предлагать заглянуть поверх самого себя этому простенькому существу, не вызвав в нём или ужаса смерти, или жажды

⁴⁸¹ Ibid., с. 58.

⁴⁸² Ibid., с. 112.

⁴⁸³ Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 21.

⁴⁸⁴ Владимир Набоков, *Соглядайте*, *op. cit.*, т. 2, с. 308.

⁴⁸⁵ Владимир Набоков, *Другие берега*, *op. cit.*, т. 4, с. 148.

⁴⁸⁶ Фридрих Ницше, *Рождение трагедии из духа музыки*, *op. cit.*, т. 1, с. 109.

⁴⁸⁷ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 454.

⁴⁸⁸ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 454.

умерщвления «другого», «отличного». Эпифании высшего создания достаточно, чтобы пробудить у «осколка человека» рефлекс – разорвать его, высшего, скрюченными ли пальцами, сжатыми ли челюстями, плебейским ли плоскомыслием: равенства, да, ихора и равенства! А потому, тотчас спохватившись, Фальтер возвращается к «детской» тематике, испугавшись заполнить каждый провал диалога нищевской субстанцией – подчиняясь «физике духа»: более плотная мысль вытесняет менее плотную (если довериться познаниям в этой учёной области «старика», как писал безграмотный Ширин, Ноэля):

«Разберитесь теперь в физическом ощущении, которое у вас вызывают слова: чёрное темнее коричневого, или лёд холоден. Мысль ваша ленится даже привстать, как если бы все тот же учитель раз сто за один урок входил и выходил из вашего класса. Но ребёнком в сильный холод я однажды лизнул блестящий замок калитки. Оставим в стороне физическую боль, или гордость собственного открытия, ежели оно из приятных, – не это есть настоящая реакция на истину»⁴⁸⁹ – ещё один *flash back* в Фальтерову юность: Фальтер – воспитатель; Синеусов – <вечный> ученик. А теперь совершив поглубже нырок в прошлое, найдём там «Фальтера ребёнка»: ещё не будучи драматером воли, воином познания, предвзрывовым дитём, задолго до первой метаморфозы, оказывается, прикоснулся Фальтер самым нежноотзывчивым, самым *Ja-sagen*-овым, ломтиком своей внутренности к охлаждённой до вне-гераклитового состояния – температуры *нетекучести воды* – тайне. Первый контакт мягкого испода тела с железом, холодом, блеском – первый небольшой взрывчик, – *Kriegsspiele*?! – как эрзац будущей Хиросимы: «... не это есть настоящая реакция на истину»⁴⁹⁰.

А она, эта истина – царство «Сверх-человека» – наступит. И Фальтер после ещё одного непростительного для писателя ўβρις'a, набоковского многоточия, заявляет: «Видите, так мало известно это чувство, что нельзя даже подыскать точного слова... Все нервы разом отвечают „да“, – так, что ли»⁴⁹¹. Новые тела, новые чувства, новые слова, Гамлет Гамлетович! Лукавь, «Сверх-человек» Набокова! Расставляй капканы «осколку»! – ожидая, естественно, утверждения, и в который раз парафразируя Заратустру. Да! Именно так! Ибо все нервы частично

понятной «человеку» части сверхсущества – «ребёнка», при контакте с истиной *отвечают Да – Ja-Sagen!*

Естественно, тот кто вложил пример персидской иронии в уста *Falter* 'a признаёт, что читал он *Заратустру* не в переводе Антоновского, а в подлиннике – что, кстати доказывает ложность «эстетогерманофобских» (но несомненно необходимых по приезду в США, да и впоследствии для получения имперского гражданства) высказываний Набокова: «за пятнадцать лет жизни в Германии (...) [Владимир Набоков <А.Л.>] не познакомился близко ни с одним немцем, не прочёл ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства от незнания немецкого языка»⁴⁹². «Дитя» же, исходя из первой речи Заратустры, есть буквально тот, кто *всеми нервами говорит сверхтайне «Да»*. Это «Не-ослиное „Ja“» трижды появляется в словах Заратустры о «дите»: «*Unschuld ist das Kind und Vergessen; ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja-sagen.*

Ja, zum Spiele des Schaffens, meine Brüder, bedarf es eines heiligen Ja-sagens: seinen Willen will nun der Geist, seine Welt gewinnt sich der Weltverlorene»⁴⁹³; или же: «*Дитя есть невинность и забвение, новое начинание, игра, самокатящееся колесо, начальное движение, святое слово утверждения. Да, для игры созидания, братья мои, нужно святое слово утверждения: своей воли хочет теперь дух, свой мир находит потерявший мир*»⁴⁹⁴, – можно для завершения воспользоваться несовершенным переводом-пересказом Антоновского, растерявшего два из трёх «ребячих» утверждений.

Первая речь Заратустры – зеркальное отражение последнего, восьмидесятого обращения перса, а также схема того, как будет развиваться весь *Так говорил Заратустра*. Поэма завершается составлением единого «Высшего человека» из «человеческих» осколков, процесс, который произойдёт в детской комнате пророка: ещё одно восстановление библейской схемы, ибо «Апокалипсис» – отражение «Бытия», если, конечно, исключить из *Ветхого Завета* «Песнь песней», являющуюся винопельческой вытяжкой всей Библии.

⁴⁹² Владимир Набоков, *Другие берега*, *op. cit.*, т. 4, с. 284.

⁴⁹³ Friedrich Nietzsche, *Also sprach Zarathustra*, *op. cit.*, S. 31. Курсив Фридриха Ницше.

⁴⁹⁴ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 19. Курсив Фридриха Ницше.

⁴⁸⁹ *Ibid.*

⁴⁹⁰ *Ibid.*

⁴⁹¹ *Ibid.*

Часть третья

О «СВЕРХ-ЧЕЛОВЕКЕ» ДОЛГОЖИТЕЛЕ

«„Я хорошо знаю, что я не сын ангела, венчанного диадемой звезды или другой планеты”, — сказал о себе бедный парижский школьник, способный на многое ради хорошего ужина»

Осип Мандельштам

В *Заратустре* «Сверх-человек» описывается до самого конца книги, а также до самого конца пророка — ещё «человека» знакомого нашим чувствам: завершается третья часть труда, подводящая Заратустру к стадии сверх-метаморфозы, а читателя-аргонавта к подробному доступного «человеку» описанию этого превращения. И Ницше-поэт, скатываясь прочь от ненужного, треклятого разума, разбалтывает свой секрет: «... дифирамбом „Семь Печатей”, которым завершается третья, последняя часть *Заратустры*, я поднялся на тысячу миль надо всем, что когда-либо называлось поэзией»⁴⁹⁵. Заратустра, телесно находится над тем, что ранее «создавалось» — подчёркивает Ницше по-гречески, «называлось поэзией», «... was bisher Poesie hiess»⁴⁹⁶. Но у философа всё должно быть конкретным. Потому, когда Дифирамб восславил кольцо с рождением не от женщины, начинается *Сверх-Заратустра*, и очищённый жертвоприношением да впитыванием частей «Высшего человека», «Сверх-человек» может предстать в полдень пронизательнейшему читателю вместе с Митрой. Проследим же за динамикой оукливания души, рассмотрим одну за другой все стадии сбрасывания Заратустрой «человеческого кокона»:

Всё зло «экстатировал» из себя Заратустра, мелкими дозами, чтобы ни в коей мере не повредить своей брахманской невинности необходимостью митраического выплёскивания из тел жертвенной крови: каждый из встреченных Заратустрой кусков «Высшего человека» вытянул из него часть того зла, от которого надлежит избавляться для поддержания тонуса — Великого Здоровья. Отныне сияет пророк, как Царь-Гелиос, часами излучает — на бегу! — добрые образы, *хорошие вещи*, и так — до самой полуденной паузы, когда предстоит совсем остановиться ему подле *дерева* — исполинского, на показ выставленного Деметрой клитора, чуть увлажнённого в Тартаре тенями героев тирса славной басариды, *наичистейшей* Матушки Земли (обычно, на беотийских вазах, окружённой множеством танцующих гималайских солнц); а тирс этот есть копия внутреннего мира «человека», ибо как броню меж жизнью и своим телом выставляет он — привычную — любовь! Цель этой любовной самозащиты — не увидеть себя самого, продолжать существовать, совершать как можно дольше, истовее и цикличнее раскинутомного-рукое моление, никогда не постигая смысла планеты: «*В полуденный час, когда солнце стояло прямо над головой Заратустры, проходил он мимо старого дерева, кривого и суковатого, которое было увито обильной любовью виноградной лозы и скрыто от себя самого; с него свешивались путнику пышные жёлтые гроздья*»⁴⁹⁷, их вид опьянил перса. Гипнотизирует Заратустра лозу, устанавливая нитеобразную связь с Богом. Опьянение. Открытые, сиречь — бесстрашные! — глаза. Тело, собрав пылицу «Высшего человека», отныне умудрённое бегом и Богом, в медовой паузе раскинувшись словно в афинскую полночь после контакта с козлиным стоном лучшего куска «человечества», ждёт теперь прикосновения Аполлона — пробуждения. Но не наступает оно. Ибо сейчас Заратустра наполняется новыми, не«человеческими», над-«человеческими», Сыновье-Божьими генами:

«Только глаза его оставались открытыми: ибо они не могли досыта насмотреться и насладиться деревом и любовью к нему виноградной лозы»⁴⁹⁸.

В тишине пляшет перед Заратустрой осмысленная Вселенная, легко, как искра по бетфордовому шнуру, скользит она, не напрямик, но

⁴⁹⁵ Фридрих Ницше, *Ecce homo*, *op. cit.*, т. 2, с. 726. Курсив Фридриха Ницше.

⁴⁹⁶ Friedrich Nietzsche, *Ecce homo* in Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Werke*, *op. cit.*, Band 6, S. 305.

⁴⁹⁷ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 198.

⁴⁹⁸ *Ibid.*, с. 199.

по дуге; воздушен танец её и размерен, как поступь приближающейся свиты блещущего Бога; не отводит от лозы взор перс, приручивший глаз к Митре – полуденной ипостаси Бога мрака, ибо «... *вечер седьмого дня пришёл*» [на душу Заратустры <А.Л.>] *как раз в полдень*»⁴⁹⁹.

«Высший человек» был увиден. О-«Выше-человечен». Полностью. Ведь увидеть такому как мы, значит – сотворить. Душа «Высшего человека», высосанная душой Заратустры, отныне впитана, полностью перенята персом. Её-то, души «Высшего человека», и не хватало Заратустре, чтобы стать «Сверх-человеком». Теперь чудовищное для «человеческого» понимания нагромождение мясистых душ – есть Заратустра-«Сверх-человек». И уже не «ялик», но триера мудрецов приуспевших в своём королевском опыте, причаливает к Острову Блаженных – телу Заратустры. Его душа-паук⁵⁰⁰ устремляется ко вновь прибывшим, как к вечной радости, привязывает навеки их судно к Земле Обетованной, паутиной, как расплетённым венчиком Галилеянина из лукиановых роз: «... *какой она становится длинной и усталой, моя странная душа!*»⁵⁰¹. Да уж, усложняется душа Заратустры до невероятности, становится схожей с вернувшейся на берега Оредежи из египетского оазиса тенью Василия Рукавишникова, владельца ассиропрофильного кучера.

Глаз «кокона-человека», привыкший к образу «кокона-человека» изумляется, но благодаря блаженству анестезии не в силах противиться метаморфозе, взрыву тишайшему, взрыву царскому. И Бог, наш Бог, смеётся, счастливый своим созданием, которое, – точно первый глоток воздуха новорождённым, – втягивает каплю вина. Время поглощения капли – срок оставшейся новому существу жизни, ибо отныне счастье есть смерть, счастье – в переходе к смерти, счастье – в послевзрывовом равновесии между обоими божествами, между сновидением и мирозрением, между полуднем и полночью: «*Не стал ли мир сейчас совершенен? Круглым и зрелым?*»⁵⁰² – отныне Вселенная упорядочена, кругла и сладка словно золотая виноградина, предназначена прессу, влитию в сусляный бочонок вечности – *обандрогинена* по её образу и подобию: тот кто видит её таковой – «Сверх-человек».

Всё произошедшее длилось одно-единственное полуденное мгновение; но открывает оно и завесу, именно – не *приоткрывает*, а – открывает перед тем, кто перелил эти строки из себя на шуршащее многолистье, и хор богов-танцоров назначает ему, в награду *rendez-vous*. И, выражая восхищение Вселенной, сам *не понимая* – и слава Богу! – того что творит он, «Высший человек» приветствует Заратустру *единицами криком о помощи*. Ах! сострадание. Ха! избавление!!!

* * * * *

Но задолго до описанной метаморфозы, ещё в речи Заратустры «О трёх превращениях» детально воспроизводится послевзрывовая стадия – то о чём я упоминаю выше, а именно – создание мира иного качества на территории, подверженной Дионисовой взрывной волне, мира изменяющегося вместе с эпицентром взрыва, мира приветствуемого Фальтером *Ja-Sagen*’ом «всех своих нервов».

«Откинем и удивление, как лишь *непривычность усвоения предмета истины, но не её самой*»⁵⁰³. Странное дело, курсив предполагает насилие над голосовыми связками, даже некую долю неистовства, выраженного в вопле, что в диалогах куда лучше передавать восклицательным знаком – одним, тремя, десятью, ежели надо! Всё зависит от *воинственного* вкуса, цветовой гаммы азбуки пишущего, количества допотопных гласных в его алфавите.

Конечно, курсив необходим в философском труде, возможен он и тогда, когда, например, доведённый до иступления и подхваченный крыльями андрогиновой инспирации перс вещает следующему за ним *брату*-Фридриху Ницше, эдакому скрибу, ухитряющемуся сходу записывать слова пророка, переводя их на *Hochdeutsch* с персидского, и, в то же время задавая наводящие вопросы:

«*Отчего крадёшься ты так робко в сумерках, о Заратустра? И что прячешь ты бережно под своим плащом? Не сокровище ли, подаренное тебе? Или новорождённое дитя твоё? Или теперь ты сам идёшь по пути воров, ты, друг злых?*» – *Поистине, брат мой! – отвечал Заратустра. – Это – сокровище, подаренное мне: это маленькая истина, что несу я*»⁵⁰⁴.

⁴⁹⁹ Ibid.

⁵⁰⁰ Гераклит, D.K. 67 A.

⁵⁰¹ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 199.

⁵⁰² Ibid., с. 200.

⁵⁰³ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, с. 454. Курсив Набокова.

⁵⁰⁴ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 46 – 47.

Но когда Набоков-писатель подчёркивает курсивом важные для него Фальтеровы слова, то он допускает непростительную ошибку вкуса, ещё один литераторский □βρις. Да, Набоков использует Фальтера для выражения — пусть сверхважных — истин, но как писатель он непростительно упрощённым «трюком» облегчает себе труд — слабо! — как если бы лучник, отстрелявшись, насобирав под мишенью, как колосья отпавшие от снопа, недолетевшие до неё стрелы, да навтыкал их в десятку. Умение стрелять из лука — только треть требуемых от созидателя качеств; ему надо также метко стрелять, и к тому же быть способным *говорить правду*. У Набокова здесь наблюдается нехватка персидских добродетелей, ибо у его персонажа, описываемого до курсива — у презрительно-расслабленного Фальтера, — мощи голосовых связок не достанет и на один-единственный восклицательный знак. И всё-таки Набоков, этот неверный схоластик, выделяет курсивом *предмет* истины: обозначает границу, отделяющую сверх-тело сочетавшееся со сверх-мыслью от взрыва — кокона, обтягивающего личинку во время её метаморфозы — Рождества, и Пасхой по совместительству.

После этого Фальтер, ненадолго избавившись от курсива (то есть до тех пор, пока Набоков, поддаваясь напору струи Дионисовой истины, снова не впадёт в писательское излишество), объясняет, опять же на примере, каким именно образом происходит *впитывание истины* порами тела.

Интересно, что ницшеанец Набоков преподносит «честному», т. е. не способному к познанию «осколку человека» следующий пример: честный (сиречь, непознавший) индивидуум оказывается-таки вором — возможно ночным разбойником, укравшим ялик, *der Nachen*:

«Если вы мне скажете, что такой-то — вор, то я, немедленно соображая в уме все те вдруг осветившиеся мелочи, которые сам наблюдал, всё же успеваю удивляться тому, что человек, казавшийся столь порядочным, на самом деле мошенник, но истина уже мною незаметно впитана, так что самое моё удивление тотчас принимает обратный образ ...»⁵⁰⁵.

«Осколок человека» вовсе неплохо понимает на примерах, ему даже позволительно приступить к чтению *Рождения трагедии*: «—Так.

*Это всё довольно ясно»*⁵⁰⁶, — сходит Синеусов на «полустанке Бездна», а Фальтер продолжает свою ницшевскую пирриху вокруг художника: «—Удивление же, доведённое до потрясающих, невообразимых размеров, — продолжал Фальтер, — может подействовать крайне болезненно, и всё же оно ничто в сравнении с самим ударом истины»⁵⁰⁷.

Взрывная волна мощна; взрыв, вызванный метаморфозой тела *quasi*-смертелен. Он насквозь пронизывает «Сверх-человеческое» чрево: «И этого уже не „впитаешь“»⁵⁰⁸, — подытоживает Фальтер. Причём ницшеанец Набоков, который из всех сил стремится выставить на показ каждый образ своего «воспитателя», похерил курсив и для разнообразия уже награждает своё «впитывать» кавычками. Спрашивается, как конкретно реальный Фальтер мог обозначить их? Американским ли жестом верхних конечностей с подрагивающим киванием указательных и средних пальцев? Дёрганьем ли обоих висящих усов, отращенных набоковским героем, чтобы более походить на закатного Ницше?

А *отковычившись* влать, Фальтер возвращается к ницшевско-гераклитову «случаю»; он прав, истин, управляющих миром немного — я говорю об истине *грянувшей* в Фальтера молнией («Смотрите, я провозвестник молнии и тяжёлая капля из тучи; но эта молния называется сверхчеловек»⁵⁰⁹), и соорудившей из Фальтера «Сверх-человека». Все ингредиенты, необходимые для сверх-познания собраны Фальтером в этой фразе: «Она меня не убила случайно — столько же случайно, как *грянула в меня*»⁵¹⁰.

Повторив ницшевский тезис, Фальтер снова рассыпается в примерах: новообразовавшийся «Сверх-человек», следует достославным Заратустровым повадкам⁵¹¹ и просто дурачит Синеусова примерами-костями: много шума, треска, Фальтер сыплет свой бисер перед

⁵⁰⁶ Ibid.

⁵⁰⁷ Ibid.

⁵⁰⁸ Ibid.

⁵⁰⁹ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 11. Курсив Фридриха Ницше.

⁵¹⁰ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 454.

⁵¹¹ «Гремя словами и игральными костями, дурачу я тех, кто торжественно ждёт, — от всех этих строгих надсмотрщиков должна ускользнуть моя воля и цель.»: Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 125.

⁵⁰⁵ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 454.

художником, чьё тело *не приспособлено к впитыванию* этих истин. Но Синеусов всякий раз преклоняет колени и со всем усердием собирает бисер обозначенных истин плохо гнущимися пальцами неловкого воришки.

«Проходные истины» Фальтера вырываются со страниц трудов Ницше: то образ, то имя дорогое немецкому мыслителю, тут и теорема Пифагора-молчальника, тут и обжигающий лёд, позаимствованный Заратустрой из «Апокалипсиса» (а может статья, и из диалога Князя с Тихоном?), тут и сверх-европейские каменистые просторы: «*Представьте себе любую проходную правду, скажем, что два угла, равные третьему, равны между собой; заключено ли в этом утверждении то, что лёд горяч, или что в Канаде есть камни?*»⁵¹². Каждый из данных образов — осколок истины, *случайно* заимствованный Фальтером из набоковской копилки нищезнания. Однако совсем рядом с эхами зазубренной истины гремит ещё и «не разорванная», единая правда, слепок сверхсложного тела. И Фальтер возвращается к извечной ницшевской *idée fixe*: «*Что же вы скажете об истине, которая заключает в себе объяснение и доказательство всех возможных мысленных утверждений?*»⁵¹³.

Вот оно, подлинное назначение пиррихи. Не случайно советовал Ликиург обучать робидасов ритмике и воинственным танцам — прыжок вперёд, в сторону — удар мечом, и — рывок в темноту от кровоточащего трупа илота. Так поступает «Сверх-человек» Набокова, беззастенчиво применяющий к Синеусову *Prügelknabebmethode*; его следующий пример — издевательство над куском «человека», причинение ему мук и презрение к его страданиям — глум ирена (заслужившего убийством право вступить в гиппейю) над ужасом смерти издыхающего дальнего отпрыска иного Менелая царедворца:

«*Можно верить в поэзию полевого цветка или в силу денег, но ни то, ни другое не предопределяет веры в гомеопатию или в необходимость истекать антилоп на островках озера Виктория Ньянджи...*»⁵¹⁴.

Сравним сказанное Фальтером с последним пристрастием умирающих «человеческих осколков» Синеусова:

«*Ты помнишь, не правда ли, этого странного шведа или датчанина, или исландца, чёрт его знает, словом этого длинного, оранжево-загорелого блондина с ресницами старой лошади, который рекомендовался мне „известным писателем“ и заказал мне за гонорар, обрадовавший тебя (ты уже не вставала с постели и не могла говорить, но писала мне цветным мелком на грифельной дощечке смешные вещи вроде того, что больше всего в жизни ты любишь „стихи, полевые цветы и иностранные деньги“), заказал мне, говорю я, серию иллюстраций к поэме Ultima Thule, которую он на своём языке только что написал*»⁵¹⁵.

Дважды повторяющееся «заказал» и эти скобки — не позднейшая ли это вставка, «трюк», пришедший Набокову в голову, когда он приводит Фальтеро-«осколочный» диалог, как необходимость подчеркнуть всезнание-жестокость (точнее все-чутьё и его следствие) Фальтера. Любовь к двум «осколкам человека», с которыми навеки расстаётся Синеусов — последний «артистический» всплеск недобродившей закваски того, что могло бы стать «Высшим Человеком»; с этими «осколками» общается художник воспроизведением *audition colorée* — хоть и не становятся огненными его буквы.

Фальтер кружится в пляске около Синеусова да куражится (ἄμφισσο, сказал бы Аристотель) над ним — бахвался своим совершенством. Однако, Фальтер-воин сознаёт краткость своего века и бахвалится *случайно* награбленной в лагере Хроноса добычей перед не таким удачливым и отчаянным (а потому куда более долгожительствующим) воякой: «... *но узнав то, что я узнал — если можно это назвать узнаванием, — я получил ключ решительно ко всем дверям и шкатулкам в мире, только незачем мне употреблять его, раз всякая мысль об его прикладном значении уже сама по себе переходит во всю серию открываемых крышек*»⁵¹⁶.

Количество перешло в качество: детское лизание ледяного замка⁵¹⁷ вкуче с награбленным хроновым добром, открыло множество замков;

⁵¹⁵ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 449.

⁵¹⁶ *Ibid.*, с. 455. Курсив Набокова.

⁵¹⁷ «Но ребёнком в сильный мороз я однажды лизнул блестящий замок калитки. Оставим в стороне физическую боль, или гордость собственного открытия, ежели оно из приятных, — не это есть настоящая реак-

⁵¹² Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 454.

⁵¹³ *Ibid.*, с. 455.

⁵¹⁴ *Ibid.*

и, как следствие полученной мудрости, прямо пропорционально ей увеличиваются муки познавшего тела. Но если Фальтеру подвластны все замки, то послевзрывовая сверх-мудрость лишает его самой необходимости предпринятия какого-либо действия. Фальтер жаждет смерти. Вот как объясняет этот феномен сам «анти-Пандора» (и «анти-Эпиметей»!) Фальтер — объясняет, конечно, не без помощи Набоковского курсива:

«Я получил ключ решительно ко всем дверям и шкатулкам в мире, только незачем мне употреблять его, раз всякая мысль об его прикладном значении уже сама по себе переходит во всю серию откидываемых крышек»⁵¹⁸. Ибо теперь Фальтер одинок, мрак окружает его, Бог мрака бурлит — в нём самом! Он очутился в атмосфере-сверх-разбойнице, генерирующей бандитов духа, перед коими распахиваются мистерии слов и, постепенно открывается и мистерия Слова — Слова «Бытия», вдохнутого в сверх-тело теперь одноязыким с ним Λόγος'ом. Недаром сам переживший подобное перс таким же образом описывал один из симптомов идентичной метаморфозы. Эту фразу Заратустры повторяет на свой лад Фальтер: *«В темноте время гнетёт больше, чем при свете».*

Здесь раскрываются все слова и ларчики слов всякого бытия: здесь всякое бытиё хочет стать словом, всякое становление хочет здесь научиться у меня говорить»⁵¹⁹.

* * * * *

«Я могу сомневаться в моей физической способности представить себе до конца все последствия моего открытия, то есть в какой мере я ещё не сошёл с ума, или, напротив, как далеко оставил за собой всё, что понимается под помешательством, но сомневаться никак не могу в том, что мне, как вы выразились, „открылась суть“. Воды, пожалуйста»⁵²⁰.

Тёмный Фальтер выражается отныне темно, подчас притчами, а выборы граждане *Честно-ланда*, сродни эфесцам (хоть и заслушивают-

ция на истину. Видите, так мало известно это чувство, что нельзя даже подыскать точного слова...»: Ibid., с. 454.

⁵¹⁸ Ibid., с. 455. Курсив Набокова.

⁵¹⁹ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 132.

⁵²⁰ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 455.

ся подчас сентенциями о кольце и о перманентно-огненном перерождении вечного космоса) не понимают своего Гераклита, в которого, кстати, некогда, и тоже около полуночи, грянула вакхическая молния — когда тот уединялся в храме Артемиды, разглядевши иранских магов вместе с Дионисическими «ночными ходоками». Гераклит медленно умирает, «наполняясь жидкостью», и вскоре уже не найдётся Асклепиада способного *иссушить* мудреца; тот ослабевает настолько, что «Диогену старшему» с подручными псами не составит труда растерзать «на осколки» философа, пахнущего коровьим навозом — для того, чтобы «Диоген младший» смог поведать приблизительную биографию Гераклита. Фальтер также наполняет себя жидкостью, и вскоре вода размягчит его окончательно — покамест же Набоков только вводит на страницы провозвестника клепсида, которому предстоит остановить вдарившегося в диалектику «Сверх-человека».

После взрыва наступает затишье. Тела вакхантов распластались на горном склоне, вздрагивают в судорогах — остаточных симптомах прикосновения Диониса, — вокруг их глав сплетаются кольцами змеи, паром исходит рваное мясо львов да царей, а из эпидермы планеты сочатся молочные ручейки, впоследствии ставшие реками в присказках савроматских легенд. Мир окутан дремой в ожидании нового явления Низийского Бога, удара его тирса по телам спутников, чтобы те очнулись со словами *Что же означает это новое?*

Еврипид, похеривший в конце концов Афины с их «разумом» (и, следовательно, с демократией, паразитирующей под эгидой божественного случая-κλήρος), отправился в Македонию, к «варварам»⁵²¹, но к варварам, чьи тела, впитавшие испарения издыхающей Эллады, в определённый момент забродили от смеси финикийского Бого-ведения, дорийского танцевального духа, собственной варварской мощи, и тотчас одарили мир ярчайшим примером того, как происходит контакт «человека» с Богом из Низы, — этот Еврипид почуял в тех варварских землях весь процесс того, *как* именно Дионис тирсовым прикосновением молниеносно пронизывает «человека», который, если выживет после малой дозы контакта с Богом, может приниматься за созидание. Не потому ли эта эллинизированная земля пришлась по вкусу скифам, некогда переселившимся туда, да владеющим ею и по сей день: *«... то не страсть пляшет перед нами в оргиастическом хмеле: мы видим Диониса и его менад,*

⁵²¹ См. Аристотель, *Политика*, VII, 1324 В, 11.

мы видим опьянённого мечтателя-безумца Архилоха, погружённого в сон, упавшего на землю — как это нам описывает Еврипид в своих Вакханках, — спящего на высокой альпийской луговине под полуденным солнцем, и вот к нему подходит Аполлон и прикасается к нему лавром»⁵²².

Но со «Сверх-человеком» происходит по-иному. Его контакт с Дионисом — не есть цепь кратких слияний и длительных разлук: «Сверх-человек» впитал в себя, — однажды и навсегда, — Божественную сущность. Его пост-контактное остывание — единственное оставшееся ему состояние, следующее за метаморфозой и неизбежно завершающееся его смертью. А потому «после-взрывовое» тело — здесь, Фальтер — наполняющее себя водой, ослаблено и лишено иммунитета на бактерии «до-взрывового» мира. В момент *реконкистовой реконструкции*, контакта Дионисом, оно прочувствовало суть Вселенной. После же начинается разлад: дух остаётся новообретённым (и останется им до физического исчезновения сверхсложного существа), тело же не в силах выдержать прежней нагрузки, и всё более и более скатывается *вниз*, *ко злу* — песне его. А потому, Фальтер уже способен «...сомневаться в [своей <А.Л.>] физической способности представлять себе до конца все последствия <сво>его открытия»⁵²³.

Произошёл вышеупомянутый *разлад*: образовавшаяся пропасть между ослабленным состоянием послевзрывовой плоти и мощнейшим духом, наполняющим это тело, постоянно увеличивается.

«*Ich will kein heiliger sein, lieber noch ein Hanswurst ... Vielleicht bin ich ein Hanswurst ...*»⁵²⁴, — да! глубже, глубже к сердцу Земли: или же, как некогда пропел с раскатистой славянской аллитерацией пан Ницки: «Nur Narr! Nur Dichter!», вспоминая, сизнова чуя, «каррр — каррр!» базельских *Die Krähen*, увиденных от подножья церкви Св. Маргариты в свою благодатную, осеннюю пору симбиоза поэта с порами планеты.

Осознание собственного «сумасшествия» или, точнее — древний, недрами Земли навеянный закон самосохранения, убегающего *фогельфрайство*, рывок маленького принца прочь от «разума» «осколков человечины», по праву соседствует у Фальтера с сознанием того, что

он есть вновь образовавшееся под воздействием Диониса тело обладающее все-знанием.

Ницше, описав своё новое сверх-тело, и окрестивши его *Narr-Nietzsche*, извещает тем самым о возвращении давно забытой эры — эры *большой политики* по отношению ко Вселенной. Ницше знает древний закон Якха — достаточно, в самый чуткий момент, *означить Словом* желанное существо и тот новый привкус, который оно придаёт миру, — и это существо не замедлит появиться на свет:

«Понятие политики совершенно растворится в духовной войне, все формы власти старого общества взлетят на воздух — они покоятся все на лжи: будут войны, каких ещё никогда не было на земле. Только с меня начинается большая политика»⁵²⁵, именно — «Политика», — а вовсе не какая-то «политика» — эдакий синоним вынужденной кадмовой, с стороне от трагедии прозябающей дипломатии «осколков человека», вот уже более столетия тянущих наследие Ницше каждый свою сторону, разрывающих его на части, сооружая, таким образом, себе подобное создание.

«*Ich bin kein Mensch, Ich bin Dynamit*»⁵²⁶. Брраааамм! Да! Набоковский «Сверх-человек» устанавливает на обоих концах персидского лука, в который он сам превратился, собственное (с «осколочно-людской» точки зрения) «безумие», кое я не прекращу воспевать — своё сверх-знание: «... в какой-то мере я ещё не сошёл с ума, или, напротив, как далеко оставил за собой всё, что понимается под помешательством, — но сомневаться никак не могу в том, что мне, как вы выразились, „открылась суть“»⁵²⁷. Отныне *Nur Narr* руководит Семелой: «*Erst von mir giebt es auf Erden (sic.) grosse Politik.*»⁵²⁸.

И ради вот такой бесполезной диалектической *физкультуры* расходует Фальтер остатки своей драгоценнейшей «сухости»: метание бисера перед «осколками человека», неизбежный ли это пост-метаморфозный этап сверх-существа, ещё не утерявшего контакт с миром «чандаловеков» — ещё окончательно «не сошедшего с ума»?! Фальтер признаётся

⁵²⁵ Фридрих Ницше, *Ecce homo*, *op. cit.*, т. 2, с. 763. Курсив Фридриха Ницше.

⁵²⁶ Friedrich Nietzsche, *Ecce homo* in Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Werke*, *op. cit.*, Band 6, S. 365.

⁵²⁷ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 455.

⁵²⁸ Friedrich Nietzsche, *Ecce homo* in Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Werke*, *op. cit.*, Band 6, S. 365. Курсив Фридриха Ницше.

⁵²² Фридрих Ницше, *Рождение трагедии из духа музыки*, *op. cit.*, т. 1, с. 73.

⁵²³ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 455.

⁵²⁴ Friedrich Nietzsche, *Ecce homo* in Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Werke*, *op. cit.*, Band 6, S. 365.

в этой слабости. Но он не единственный оказавшийся в данном положении: персидский провозвестник «Сверх-человека», только по прошествии срока, — когда немало мёда протечёт в его артериях, — пропоёт «осколкам» «Высшего человека» свою *Mea culpa*: «Когда в первый раз пошёл я к людям, совершил я глупость отшельника, великую глупость: я явился на базарную площадь»⁵²⁹.

Синеусов, бесстыдно абсорбируя Фальтерову «сухость», бесполезную, впрочем, ему, протягивает Фальтеру воду — Гераклитов яд (*«das Gift»*): «Вот вам вода»⁵³⁰; после чего художник сам заявляет о тщетности Фальтеровых усилий: «осколок человека» не чувствует Фальтеровой мудрости, основной чертой его «осколочности» является недоверчивость *par excellence* — недостаточный объём лёгких души: «Неужели вы отныне кандидат всепознания? Извините, не чувствую этого. Допускаю, что вы знаете что-то главное, но в ваших словах нет конкретных признаков абсолютной мудрости»⁵³¹.

Фальтеровы притчи не достигают ушей Синеусова даже в те редкие моменты повышенного внимания, когда Синеусову удаётся обратиться в гигантское ухо. Синеусов может воспринять или *учёные доказательства* — разложенный на лотке «учёный» товар, в чьи внутренности позволительно залезть небрезгливыми пальцами могильщика, привыкшего лишь к трупам и к распознаванию на ощупь денежных купюр; или полустанки диалектических посылок, не дающие разогнаться локомотиву духа и выпустить, со свистом, пар; или же ответ, грубый как шершавый кулак раба — который конечности «осколка человека» способны тактильно ощутить.

Как же возможно напитать такого «осколка человека» Дионисической метаморфозой, мистериями Омесесовых каннибальств, Бромиевым взрывом!?! — и Фальтеру не остаётся ничего иного, как снова пуститься в пляс, приняться увиливать от вопросов. Ницшеанец же Набоков заставляет Фальтера делать это по-ницшевски: «Берегу силы, — сказал Фальтер»⁵³². Сказал общем-то неточно, ибо силы он не бережёт. Да и то верно, зачем они ему? Он давно чувствует, что стирается с лица Земли.

Наиважнейший акт — *само-считие* — им уже совершён, после чего (как отмечает Набоков, — и даже курсивом!) всякое действие потеряло бы смысл: тотальное познание изъяло всяческую необходимость цепляться за бытие. А это знание Фальтер определяет следующей, во всех смыслах *сверх-сократовской* формулой: «Я только говорю, что знаю всё, что мог бы узнать»⁵³³. И вот, Набоков, словно спохватившись — слишком много смелости взял на себя самовольно, без воспитателя отправившись в путь, — принимается парафразировать гераклитовца⁵³⁴ Ницше, который есмь *рок*, запирающий священные границы Слова.

Фальтер воспроизводит это по-своему: «... (вот, кстати, даю вам более изящный термин: я знаю заглавие всех вещей) ...»⁵³⁵, и прибавляет: «... в этом разница между мною и самым сведущим человеком»⁵³⁶ — читай: самым напитанным сократовской «разумностью», самым диалектически подкованным «человеческим осколком», не ведающим, что нет большего счастья, чем скользить, ночью, по корягам копытом неподкованным. Да горланить фогельфраеву песнь, пока не отрастёт из лопаток шестикрылие.

«Видите ли, я узнал — и тут я вас подвожу к самому краю итальянской пропасти, дамы не смотрите, я узнал одну весьма простую вещь относительно мира. Она сама по себе так ясна, так забавно ясна, что только моя несчастная человеческая природа может счесть её чудовищной»⁵³⁷.

Пропасть-то — не «итальянская»! Фальтер косноязычен, неточен в наименованиях: ведь стиль необходим, когда, например, поёшь, предвещающая пришествие «Сверх-человека», странным образом ощущая свою связь с ним; стиль самооттачивается по мере слияния со Словом нарождающегося «Сверх-человеческого» тела, чей ритм, после завершения формировавшегося процесса, становится идеальным, «божественным» в фиванском, — после-Пенфеевой эпохи! — смысле. Каждая строка переполняется смыслом Вселенной, дрожит от напряжения, и вот вылетает из неё звенящая смерть; ибо стоит рваному «чандаловеку»

⁵²⁹ *Ibid.*

⁵³⁴ Гераклит, D.K. 41.

⁵³⁵ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 455.

⁵³⁶ *Ibid.*

⁵³⁷ *Ibid.*

⁵²⁹ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 206.

⁵³⁰ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 455.

⁵³¹ *Ibid.*

⁵³² *Ibid.*

(или одушевлённой продукции его деятельности) очутиться на пути у «Сверх-человеческой» стрелы — чандала, пронзённый, гибнет. Но впоследствии сверх-познание высасывает мощь сверх-тела, увлажняет сухость его души, тотчас становящейся тяжёлой, неповоротливой. Отныне, стрела выпущенная таким лучником не летит в цель, или, если воспользоваться переиначенным выражением любимого персидского сказочника Набокова, — такая стрела не летит *вечно*: «*Какая стрела летит вечно? — Стрела, попавшая в цель*»⁵³⁸. Фальтер размягчён, в его косноязычии сквозит дыхание смерти. А потому, итальянский профессор, сгинувший в бездне Фальтрова всезнания, разделяет с этой бездной свою паспортную принадлежность.

Впрочем, быть может «итальянская пропасть» и появилась в *Ultima Thule*, будучи вызвана к жизни звоном колокольчика туринского кучера, с авеню Массена: он всё отбивал ритм эммелии, пока круглолицей «Раскольников», он же «*Principis Tourinorum*», рыдая, *сцеловывал* конские слёзы — на вкус отличая их от собственных, — превратившись, таким образом на мгновение объятий в двухглавое подобие воспитателя Тезея.

Как бы то ни было, вакхическо-нищевская «генеральная линия» полностью выдерживается Набоковым. Мир стал ясен, забавно просто ясен для уже *затемнённого* Дионисом Фальтера. Создаётся патовая ситуация: некогда и Фальтер был «осколком человека», после-взрывовое вялое состояние физиологически приближает его к «человеку», но анатомически он уже познал новое, *по-ту-сторону-«осколка-человека»-лежащее* и «*простое*»: Фальтер перевалил через Эверест духа, его тело скатилось в долину, вдруг очутившись на уровне козопаса, вовсе не смеющего взглянуть на излишне яркую вершину: «... я узнал одну *весьма простую вещь относительно мира*. Она сама по себе так ясна, так забавно ясна, что только моя несчастная человеческая природа может счесть её *чудовищной*»⁵³⁹ — не устаёт, кстати, сыпать Фальтер любимейшими набоковскими словечками.

Наступает период шизофрении: бывшему «осколку человека» остаётся лишь ужасаться монстру, в коего он превратился — то же, несомненно, ощутил некогда Свифт, примеряясь к обеим крайностям «человеческой» телесности своего Гулливера, который, уже избегнув

лилипутова милосердия, с трепетной смесью восхищения и гадливости обозревал лицо королевы Бробдингнагов; а иной «итальянец-душевед» (усадивши ирландского Улисса на розовое канапе — желательно обитое не лошадиной кожей), принялся бы выведывать, насколько этот сверх-европейский мореход считает себя лилипутом.

Подобный феномен проявления симптомов «человечьей болезни» наблюдаются и у Фальтера. Как же не сетовать ему на несчастную (читай «разорванную», ищущую долгожительства) «*человеческую природу*».

Но что воистину занятно, когда принимаешься внедряться в Фальтеровы слова, так это — появление у вновь образовавшегося «Сверх-человека» внешних признаков жреческой тяги к повторению. Словно Фальтер в присутствии очередного любопытного, заглянувшего в храм доселе неведомого азиатского Божества, разражается следующей сентенцией: вы получили доступ ко мне? Интересуетесь мистериями моего Бога? Ну что же? Язык у меня подвешен неплохо (хоть и в виду моего предсмертного состояния стиль мой даёт сбой), а потому, сто раз да и на всякие лады буду славить я моё огненное Божество — но подходить к нему буду осторожно, и сняши мои провансальские сандалии, а главное — ни в коем случае не упоминая всуе имя Господа моего. Сверх-уважение к Дионису — таков принцип Фальтера; ведь даже если Дионисово естество и коснётся ушей «осколка человека», то им этот контакт не даст ничего. Но поступи я так, и — мой Бог в моих же устах будет замазан, и долго придётся потом мне, существу совершеннейшему, очищаться от святотатства. А где же мне взять время и силы на катарсис?! Следовательно: молчание и увиливание — вот моя тактика:

«*Когда я сейчас скажу „соответствует“, я под соответствием буду разумеать нечто бесконечно далёкое от всех соответствий, вам известных, точно так же, как самая природа моего открытия ничего не имеет общего с природой физических или философских домыслов: итак, то главное во мне, что соответствует главному в мире, не подлежит телесному трепету, который меня так разбил*»⁵⁴⁰.

Конечно, что тотчас бросается в глаза писателю, так это бесконечные спотыкания нудной Фальтеровой речи, ибо, в отличие от Лонгина (не того, кто пронзил Тело Христово), я не перестаю уповать на то, что ошибки Фальтера — не есть промахи Набокова! Тут и дважды на одной

⁵³⁸ Владимир Набоков, *Красавица*, *op. cit.*, т. 2, с. 429.

⁵³⁹ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 455.

⁵⁴⁰ *Ibid.*, с. 455 — 456.

набоковской строке повторяющаяся *природа* — и *открытия* и *физических* или *философских* домыслов. Более того, в предыдущем предложении Фальтер упомянул ещё и другую «природу» — «человеческую»⁵⁴¹.

Какова же подлинная причина заикливания Фальтера на «природе»? Чрезмерное чтение Аристотеля с греко-русским словарём? Или же анти-стоические атаки Ницше, когда философ, вдоволь набегавшись по голубооким горам, накидывается на этих «предтечех христианства»? Не важно! Что здесь интересно, так это новые траектории ницшевских прыжков, с помощью коих Фальтер, снова и снова, уклоняется от окончательных гоплитовых копий, направленных на него шеренгами демократических «разумностей» «осколка человека». А главное — в процессе оных прыжков Фальтер не забывает отплясать то «бесконечно далёкое» (наверное как «Сверх-человек» от «куска человека») из «соответствий, вам известных», — то есть образов, понятий, чувств, воспринимаемых несовершенными телесами: «такими, как, например ваше, господин Синеусов. Именно поэтому вам принадлежит не истина, а подобные вам несовершенные „домыслы”».

В нём же, в *Фальтере*, — он так и выражается, «*во мне*», — действительно появилось нечто, тотчас относимое им самим к наивысочайшему в мире рангу — *über* — то что ставится Фальтером над собственным, уже сумеречным телом: «... *итак, то главное во мне, что соответствует главному в мире, не подлежит телесному трепету, который меня так разбил*»⁵⁴².

Фальтер сызнова сетует на «поломку» аппарата, скатывающегося к смерти тотчас по его созданию — живой механизм, ухвативши у космоса стержень сверх-знания, сломался. Нет у него более сил, не осталось у него и времени для переименования космоса, — Фальтер только пассивно *жаждет алмазного ножа виноградаря*, обозначая состояние, в котором пребывает новообразовавшаяся субстанция именно — как «аппарат»: «*Вместе с тем возможное знание всех вещей, вытекающее из знания главной, не располагает во мне достаточно прочным аппаратом*»⁵⁴³.

⁵⁴¹ «... я узнал одну весьма простую вещь относительно мира. Она сама по себе так ясна, так забавно ясна, что только моя несчастная человеческая природа может считать её чудовищной.»: *Ibid.*, с. 455.

⁵⁴² *Ibid.*, с. 455 — 456.

⁵⁴³ *Ibid.*, с. 456.

Не настал ли момент задаться вопросом наиглавнейшим, имеющим к Ницше отношение лишь постольку, поскольку именно он *осмелился подобрать*, а главное озвучить недрами собственного тела понятие «Сверх-человек»: не пришёл ли момент замыслить следующий маршбросок лучших представителей касты воинов-мудрецов — заключительной стадии кампании по познанию Вселенной? А именно: выведение нового типа «кусков человека» способных к единению в некую андрогинную элитную рать номадов-аристократов, из которой, возможно, и при редчайшем соитии, выйдет тип «Сверх-человека» способного преодолеть последнее притяжение Земли. Ибо всасывание Землёю в свои недра сверх-познавшего, её страсть не носить его более на себе, подставляя его лучам Митры, как нового царя — необходимо планете! Ей *стыдно* быть познанной: ибо стыд, стыд и ещё раз стыд — есть покамест извечная история Земли, ведь даже своё первое совершеннейшее человекообразное создание родила она залившись краской стыда. А рефлекс сокрытия своей тайны космосом, выражающийся во всасывании Землёй существа осмелившегося на познание, и к тому же содежавшего познавательный акт — и есть она, та самая молниевидная кара *предвидца-Зевса*, направленная против андрогина, который скорее всего не прекратил бы само-усложнения, изменив на планете *упорядочение жизни* — *украшивши* её в греческом смысле слова — иными словами, расчленивши и переименовав Зевса, разбив своей лапой белокурого монстра старые скрижали, и заменив их новыми.

Что же до «Зевса-Прометей», то он бы и властвовал над миром, в качестве единственного сверх-бога-титана, будь он *един*, сиречь: если бы он и его «провидческая часть» не находились в перманентном разладе друг с другом. Так, в мифе о противостоянии Зевса и Прометей выражается подлинная суть Вселенной, самая ярая страсть космоса: он, космос, жаждет быть познанным, жаждет прихода «Сверх-человека», только не Заратустрова «Сверх-человека», а нового, того, о котором не успел допеть перс — жаждет он появления «Сверх-человека»-долгожителя! Поэтому, поддавшись первому своему естественному порыву и уничтожив зачинателя нового порядка, эта жизнь-космос-провидица тотчас сожалеет о своей реакции, как Агамемнон об отнятии ненужной вобщем-то ему, и вовсе не такой уж красивой, Бресеиды у её законного господина — служителя Аполлона поневоле. А не получив зачинателя нового порядка на своё ложе, жизнь-космос-провидица

направляет на своё чрево меч собственного отпрыска — *Ventrem feri!* — и самораспадается как Агамемнон-Клитемнестра-Электра-Орест: выживание же некоторых «кусков» оторванных от этого тела служит залогом деградации мира до уровня демократического 'ὄχλος'а — что, кстати, и составляет подлинно ужасный сюжет *Ористии*.

Новый же «Сверх-человек», о котором говорю я, Анатолий Ливри, преодолевает закон, обязывающий его жаждать ощущения проникновения лезвия в себе. И тогда полноценное сверх-напряженное существование «Сверх-человека» продолжится — не будет более оглядки на мгновение, не будет более и боязни не успеть ухватить — в кулак — *καίρος* за беотийский клочок волос. У «Сверх-человека» достанет времени для действия, а Семела предоставит ему для этого необходимое простанство. А потому — готовьтесь к слиянию, вы, будущие части «Сверх-человека»! — если только вы уже здесь, на Земле, и способны услышать мой клич.

* * * * *

Эллинский дух, рассеянный по азиатским и африканским пределам порывом неудавшегося вакханта Александра был подхвачен Римом, более «совершенным», «цельным», обладающим куда более победоносными, по сравнению с фалангой, легионами, ибо — более варварским. Но именно когда Рим был порабощён Элладой, — *Graecia capta, ferum victorem cepit*, — тогда получил он долю Дионисийско-дорической мудрости, заглотил её, переварил и отрыгнул в виде учения Христа, чудом занесённого к Семи Холмам. Не потому ли в Христовом отказе поделиться с императором собственным наследством, нам, поднаторевшим в мистериях нашего Бога, в первую очередь видится ответ кортежа эсхиловых бассарид, презирающих пенфеев спектр и жаждущих единственно прикосновения вакхического тирса. Не за ним ли вслед, за Дионисом-Христом, некогда не настигнутым Александром, охотился Тиберий в германских лесах, не вслед ли за ним, за Вакхом-Мессией, отправлял фараон Адриан своих послов в Китай, навстречу Митре!?

И вот, наконец, упали на колени в ожидании *нисхождения* на них Диониса, римские толпы. А их вопль:

Vexilla Regis prodeunt ...

O Crux ave, speas unica!

стал криком недавно смешанных на аппенинском полуострове «осколков» евразийцев, жаждущих единения, которого, впрочем, *не*

произошло, ибо, прежде Низийский Бог не соизволил прислушаться к их крику. И снова перемешались границы Дионисова мира. Прошли столетия и вот уже другой потомок финикийцев совершил *ἱερίσ*, — не даром же жрецы Диониса-Христа (уже прочно ставшего в ту эпоху Христом-Дионисом) так противились Колумбовому плаванью! — пределы мира расширены, и «осколки человека» оказались ещё более разбросанными по поверхности Семелового тела.

Вероятность слияния снизилась во много раз.

И, о ужас! Всё сильнее мельчают человекоподобные. С каждым днём являются на свет всё более и более раздробленные шматы «человечьего» мяса, называющие себя «человеком разумным», и отказывающиеся прислушаться к предостережениям Заратустры: «*Вы всё мельчаете, вы, маленькие люди! Вы распадаетесь на крошки, вы, любители довольства!*»⁵⁴⁴. Всё менее вероятным становится составление из них того дерзкого андрогина, чреватого всё более сложнейшими образованиями, и, следовательно — агрессией космоса для переименования его в нечто хрупкое, восхитительное и неистовое, что в настоящий момент я означаю десницей на белом листе.

Империю «чандаловека» надо разрушить! Читайте внимательно эти строки! Вы должны выковать из себя новую элиту, которая существовала бы в этой империи «человека» разорванного, элиту самодостаточную, беспощадную, молотолюбомудрую, устанавливающую собственные, — древние законы, — элиту закалённую колченогим божественным кузнецом, да скрывающуюся (как все добрые *ἱερίστοι*) до поры до времени, но продолжающую тайно пестовать свою, часто портативную, легко скрываемую в шатрах пустыни, Элладу; постоянный контакт греческого духа будет облагораживать вас до достижения вами наивысшей — трагической зрелости. А её надо *нащупывать* так, чтобы душа ваша безошибочно ощущала, отзываясь на контакт с ним, тотчас вопрошая: здесь ли запрятана, со всей азиатской хитростью, Дионисическая субстанция, или её стоит искать ещё дальше, на Востоке?

Империю «чандаловека» надо разрушить! Читайте внимательно эти строки. Из океана «маленьких людей» должны вы сделать вытяжку лучших из них, способных к «усложнению» — так опытный винокур из обыкновенного, вобщем-то, виноградного сока изготавливает напиток для царского стола — вам же его и пить да, окрестивши нектаром,

⁵⁴⁴ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, op. cit., т. 2, с. 122.

посылать через Симплегады Олимпийцам — коих, кстати, также надлежит реанимировать.

Империю «чандаловека» надо разрушить! Читайте внимательно эти строки. Вино бродит. Проходят десятилетия и века. Винный дух становится совершенным, смешанным, если требуется, с морской водичей в идеальной, единственной возможной пропорции, — хоть гроздь, из которой изговлен этот сок уже иссохла и сгнила, а виноградник вырублен и сожжён новыми варварами. Наподобие этой лозе — сверхдолгожительнице и ваш дух должен становится всё более таинственным, обонятельно более недоступным «осколкам человека», более изысканным, безжалостным и неистовым, *одним словом* — более гималайским! И верьте, наш Бог спеленает вашу наипреступнейшую *криптию* самым плотным, самым сочным мраком! Единственным вашим упованием станет его благородие случай, выжидание в засаде, преследование его — ибо случай преследуется как дичь: достаточно лишь иметь прирождённо тонкий нюх ловчего. Следует проходить тысячи вёрст, чтобы изловить дикого золотокопытного иноходца; сотни раз пролетает мимо лассо, сотни раз уносится конь дальше, в *Terra incognita*, оказывается он внезапно, за морем, в самой *Ultima Thule*. А состарившийся охотник передаёт приемнику страсть к погоне с мечтой о поимке скакуна, которого мало кому удавалось не только заарканить, но и увидеть. Ибо всё великое происходит незаметно: проходят фукидидовы фаланги на горизонте; доносятся пиндаровы ямбы да дактилический пентаметр Архилоха; собираются до-пирикловые кланы; приходит, наконец, «пост-матриархальный» монарх и тотчас, точно он поджидал его, возвращается в Афины Гомер во всей своей «*двух-алфавитной* славе»; обрушивается палладием наземь Фидий — вспыхивает *хриз-элефантовая* дельфийская Зевс-сверх-*Vita-Femina*, с коей после пан Ницки вытанцовывал своё фламенко. Но Фидий — лишь одна из теней, отбрасываемых на Землю нашим Богом, его золотой отблеск, предвестник его контакта с арийцами, случайно оказавшимися в Европе. И вот рождается Эсхил, приходит Софокл, а преступный Еврипид, будущий капеллан Пеллы, начинает своё долгое окольное паломничество в Македонию. И, взрываются дорийские толпы! И нисходит на них наш индийский Бог, которого столь долго подманивал этот таинственный, так непохожий на другие, народ. И вот уже свербящий наисочнейшие души глас Диониса рвёт в клочья «челове-чьи» стада, словно неистовый вихрь Камикадзе. И внезапно-неожиданно *склеивается* трагическим духом новое существо, ещё краткосрочное,

драгоценное, хрупкое. И точно камнем падает на энгадинское пастбище ястреб (по ошибке названный Фридрихом Ницше «орлом»), точас взмывая с агнцем в когтях. Мгновение, повремени! *καίρός!* подавай сюда свою голову с беотийско-казацкой причёской! Дай ухватить тебя за вихор!

* * * * *

*«Я усилием воли приучаю себя не выходить из клетки, держаться правил вашего мышления как будто ничего не случилось, то есть поступаю, как бедняк, получивший миллион, а продолжающий жить в подвале, ибо он знает, что малейшей уступкой роскоши он загубит свою печень»*⁵⁴⁵.

Знал ли в 1939 году Набоков о горькой участи ещё более горемычного буфетчика у Булгакова-ницшеанца? Ведь странно: Воланд советовал маркитанту Варьете тот же «вакхический» уход из жизни, о котором мечтал вслух Фёдор со своей Электрой, — с той лишь разницей, что предсказанной смерти от рака печени буфетчику предлагали избежать кончиной *à la Socrate*:

Ср. *Мастер и Маргарита*: «— Да я и не советовал бы вам ложиться в клинику, — продолжал артист, — какой смысл умирать в палате под стоны и хрип безнадежных больных. Не лучше ли устроить пир на эти двадцать семь тысяч и, приняв яд, переселиться под звуки струн, окружённым хмельными красавицами и лихими друзьями?»⁵⁴⁶ — куда «переселиться», однако, не уточняется; что это, софистическое обнадёживание мимоходом? Намеренное приоткрытие завесы? Или ещё проще — стилистический недочёт Булгакова?

Ср. Набоковское описание кончины чуткого акмеистического христианина, или, если уж на то пошло — повесть о смерти иного отшельника не пережившего последнего пророческого греха: «... был однажды человек... он жил истинным христианином; творил много добра, когда словом, а когда молчанием; соблюдал посты; пил воду горных долин (это хорошо, — правда?); питал дух созерцанием и бдением; прожил чистую, трудную, мудрую жизнь; когда же почуял приближение смерти, тогда, вместо мысли о ней, слёз покаяния,

⁵⁴⁵ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 456.

⁵⁴⁶ Михаил Булгаков, *Мастер и Маргарита*, Москва, 2000, с. 223.

прощаний и скроби, вместо монахов и чёрного нотариуса, созвал гостей на пир, акробатов, актёров, поэтов, ораву танцовщиц, трёх волшебников, толленбургских студентов-гуляк, путешественника с Тапробаны, осушил чашу вина и умер с беспечной улыбкой, среди сладких стихов, масок и музыки... Правда, великолепно? Если мне когда-нибудь придётся умирать [Обратите внимание на молниеносно ощущаемую жажду вечности только что доброкачественно слившихся «осколков человека» <А. Л.>], то я хотел бы именно так».

«Только без танцовщиц», – сказала Зина⁵⁴⁷, охраняя удачное своё единение и принимая участие в выборе счастья собственного умирания.

И среди вас, «булгаковеды», налагаю я свои скрижали, объясняя суть всего творчества вашего кумира. Вот оно, выпестованное Заратустрой ницшеанство Булгакова, пропетое в *Мастере и Маргарите*, одновременно с *Ultima Thule*, видно Булгаков также учуял пролёт Диониса над Евразией – в ожидании полагающегося ему жертвоприношения, – и устремил вслед за ним, на метле, наиболее чуткую, наивакхичнейшую – женскую! – часть своей души.

Итак, вот, проник Воланд в Зоорладию, этот «Чёрный Маг» – одновременно и спутник и ипостась ночного Диониса – как представляет его Гераклит: «Маг» – для эфесца VI-го века – жрец Зороастра: « $\nu\kappa\tau\iota\pi\acute{o}\lambda o\iota \square \mu\acute{\alpha}\gamma o\iota, \beta\acute{\alpha}\chi\chi o\iota, \lambda\acute{\iota}\nu a\iota, \mu\acute{o}\sigma\tau a\iota$ »⁵⁴⁸. Да и сам Зороастр, согласно Лаэртию, первый Маг⁵⁴⁹. Не оттого ли Булгаков путается, и «Чёрный Маг» у него, то Воланд – Дионис (« – Вот какое дело... гм... гм... У меня сидит этот... э... артист Воланд... Так вот... я хотел спросить, как на счёт сегодняшнего вечера?..

– Ах, чёрный маг? – отозвался в трубке Римский. – Афиши сейчас будут»⁵⁵⁰), то наоборот, «чёрный маг» – всего лишь один из лучших вакхантов, впитавших, естественно, бычью сущность нашего Бога – Коровьев: «Маг, регент, чародей, переводчик или чёрт знает кто на самом деле – словом, Коровьев – раскланялся и, широко поведя лампадой по воздуху, пригласил Маргариту следовать за ним»⁵⁵¹.

То, что жрец вдруг впитывает черты, функции и даже имя Бога – есть огрешность всякого усердного мифолога, верящего в свои строки. Так ли, Нонн? Истинно говорю ли, Юлиан, царь мой великодержавный? Правда, Лукиан?

Ну и, естественно, Воланд – ещё и ипостась одного из наивернейших вакхантов – ипостась Фридриха Ницше: он и «немец»⁵⁵², и «поляк»⁵⁵³ («Мои предки были польские дворяне (Ницки); должно быть тип хорошо сохранился вопреки трём немецким матерям. За границей меня принимают за поляка ...»⁵⁵⁴), и «француз»⁵⁵⁵ («Недаром поляков зовут французами среди славян»⁵⁵⁶) да ещё и «Профессор» вакхической зороастрийской мудрости: «Профессор <чёрной магии Воланд, – веско сказал визитёр...>»⁵⁵⁷ – проще, *der gute Europäer*. А перед тем как ввести Воланда на страницы *Мастера и Маргариты*, Булгаков, устами Берлиоза перечисляет все ипостаси Бога-апатрида, вплоть до самого близкого греческому – персидского Митры, однако имя самого Яхха всеу называть избегает: наисвященнейшее следует лишь означать.

Исключительно за отрицание трагического мифа, его <перманентного воз>рождения, вкпе с отрицанием существования эмиссаров Зороастра вскоре будет покаран Берлиоз. Расчленением! Вот как кощунственно убеждает он «поэта» переписать «поэму», уничтоживши Бога-младенца сократической майевтикой, и скрывши *трупсик*:

«... но соль-то в том, что ещё до Иисуса родился целый ряд сынов Божиих, как, скажем, финикийский Адонис, фригийский Атис, персидский Митра. Коротко же говоря, ни один из них не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса, и необходимо, чтобы ты, вместо рождения или, предположим, прихода волхвов, изобразил бы нелепые слухи об этом приходе. А то выходит по

⁵⁵² *Ibid.*, с. 20.

⁵⁵³ *Ibid.*, с. 13.

⁵⁵⁴ Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Briefe Kritische Studienausgabe*, „An Georg Brandes“, 10 April 1888, *Ibid.*, Band 8. Перевод К. А. Свасьяна in К. А. Свасьян, *Фридрих Ницше: мученик познания* в Фридрих Ницше, *op. cit.*, т. 1, с. 5.

⁵⁵⁵ Михаил Булгаков, *Мастер и Маргарита*, *op. cit.*, с. 13.

⁵⁵⁶ Фридрих Ницше, *Ecce Homo*, *op. cit.*, т. 2, с. 723. См. также Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Briefe Kritische Studienausgabe*, Januar 1889, *op. cit.*, Band 8, S. 577.

⁵⁵⁷ Михаил Булгаков, *Мастер и Маргарита*, *op. cit.*, с. 87.

⁵⁴⁷ Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 329.

⁵⁴⁸ Гераклит, Д. К. 14 А.

⁵⁴⁹ Дноген Лаэртий, *Пролог*, I, 2.

⁵⁵⁰ Михаил Булгаков, *Мастер и Маргарита*, *op. cit.*, с. 89.

⁵⁵¹ *Ibid.*, с. 265.

твоему рассказу, что он действительно родился!...»⁵⁵⁸, и поскользнётся Берлиоз на масле, но не оливковом, а — подсолнечном⁵⁵⁹ — этом «соке игемона», взращённого, по Набокову, в *осокращенной* России. Прозе Набокова это характерно — упоминание о подсолнухе всегда вызывает, как джинна, СССР: «*На вокзале была мерзкая, животная суета: это было время, когда щедрой рукой сеялись семена цветка счастья, солнца, свободы. Он теперь подрос. Россия заселена подсолнухами. Это самый большой, самый мордастый и самый глупый цветок*»⁵⁶⁰ — почитывал, выходит, Булгаков закардонного Набокова, сидючи в ало-пентаграмной столице.

Но Иван «усложняется» после вакхического иступления — его раздвоению посвящена вся 11-ая глава, а после призвания к молчанию, чёрная Дионисическая мудрость принимается творить в образах, зло, неистово, нещадно измываясь над «осколками человека», собранными в варьете для этой цели. Но открывает главу «Чёрная магия и её разоблачение» ницшеанец Булгаков, естественно, появлением «маленького человека», вертит его и так и эдак (ничего путного, однако, не выходит!), подчиняет его воли кольца, запирает его в круг:

«*Маленький человек в дырявом жёлтом котелке и с грушевидным малиновым носом, в клетчатых брюках и лакированных ботинках выехал на сцену Варьете на обыкновенном двухколёсном велосипеде. Под звуки фокстрота он сделал круг, а затем испустил победный вопль, от чего велосипед поднялся на дыбы. Проехавшись на одном заднем колесе, человек перевернулся вверх ногами, ухитрился на ходу отвинтить переднее колесо и пустить его за кулисы, а затем продолжал путь на одном колесе, вертя педали руками*»⁵⁶¹.

Наконец «*малютка лет восьми со старческим лицом*»⁵⁶² зашнырял меж карликами: эпоха «последнего человека» настала; Гесиод называл её по-иному и знаменовал рождением седовласых младенцев⁵⁶³. В 30-х

годах прошлого столетия было рановато. А сейчас — загляните-ка в ясли, вы, «Высшие люди», своим обновлённым оком — время пришло!

И сходится, завершается ловким штрихом ницшевское кольцо вечно-го возвращения в *Мастере и Маргарите*. И наполняется жертвенной кровью барона наиразумнейший осколок тела Берлиоза — голова! — становясь кубком, то есть буквально следуя пушкинским строкам о черепе предка Дельвига (также, естественно, барона); и одновременно самого Пушкина — этот некогда инкарнированный миф русского λόγος□а, — возрождая. И баронская кровь, становясь Дионисовым даром, — вместилище мозга заливается, наконец, вином! — вливается в Маргариту, сносит последние «человеческие» преграды, довершает метаморфозу ведьмы — в ожидании другой преображённой части, Мастера, этого «прозаика-Мандельштама». А Воланд, принимается за его *излечение*, так называется 24-ая глава романа — преддверие рождения трагедии.

Ведь все персонажи романа Булгакова страдают безмерно: мучим Митрой Пилат — Шопенгауэр, сосредоточивший всю свою земную страсть на псе, пока не встретит Его, тотчас излечившего прокуратора, столь истосковавшегося по σωτήρ'у-Дионису, от «гемикрании»⁵⁶⁴ — излишнего давления той же крови в черепе; мучаются Иван Николаевич с Николаем Ивановичем (целый кольцевидный пласт русской литературы!); страдает коленом и сам Воланд, ожидая успокоения, но не когда-нибудь, а именно через триста лет («— *Вздор! Лет через триста это пройдёт*»⁵⁶⁵), то есть не раньше, чем придёт предсказанная самому себе Фридрихом Ницше слава: «*Заблистать через триста лет — моя жажда славы*»⁵⁶⁶. Ибо все они жаждут выздоровления, момента, когда, наконец, наступит «*царство истины*»⁵⁶⁷ — царство «Сверх-человека»! — когда тело «человеческое» получит способность смотреть на дневную ипостась Диониса «*сквозь прозрачный кристалл*»⁵⁶⁸. Только вот невозможно это покамест! Свиристуют молнии — предвестницы его: перуном входит Эрот в Мастера и Маргариту «*Любовь выскочила*

⁵⁶⁴ «Да, нет сомнений, это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь... гемикрания, при которой болит полголовы... от неё нет средств, нет никакого спасения... попробую не двигать головой...»: Михаил Булгаков, *Мастер и Маргарита*, *ор. cit.*, с. 22.

⁵⁶⁵ *Ibid.*, с. 274.

⁵⁶⁶ Фридрих Ницше, *Злая мудрость, афоризмы и изречения*, *ор. cit.*, т. 1. с. 727.

⁵⁶⁷ Михаил Булгаков, *Мастер и Маргарита*, *ор. cit.*, с. 35.

⁵⁶⁸ *Ibid.*, с. 349.

⁵⁵⁸ *Ibid.*, с. 13.

⁵⁵⁹ «*Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила.*»: *Ibid.*, с. 19.

⁵⁶⁰ Владимир Набоков, *Дар*, *ор. cit.*, т. 3, с. 138.

⁵⁶¹ Михаил Булгаков, *Мастер и Маргарита*, *ор. cit.*, с. 126.

⁵⁶² *Ibid.*

⁵⁶³ См. Гесиод, *Теогония*, v. 181 — 182.

перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!»⁵⁶⁹ — страсть редкая, одна на миллионы, а толкает Мастера к Маргарите мука, причинённая молнией, и жажда выздоровления от неё: «По Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не то тревожно, а даже как будто болезненно»⁵⁷⁰; а Маргарита, поднаторевшая в вещах платонических, вообще по-аристофановски объясняет своё обоняние «человеческого осколка» называемого Мастером: «Она-то [Маргарита <А.Л.>] впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя, и что она жила с другим человеком, и я там тогда... с этой, как её...»⁵⁷¹; после, когда обе части, каждая на свой лад, изменили свою изначальную «человеческую» природу, дабы изготавиться к единению («Я из-за тебя всю ночь вчера тряслась нагая, я потеряла свою природу и заменила её новой ...»⁵⁷²), начинается дикая ярость молниевой пляски, благодатное и столь жаждуемое нами безумие перунового разгула среди надвигающейся Якховой тьмы: «Они пролетели над городом, который уже заливала темнота. Над ними вспыхивали молнии.»⁵⁷³.

Дионис торжествует над Варенухами да Могарычами — так отбиваются лозой атаки шнапса. Ярясь в вакхическом исступлении, нищиеанец Булгаков катарсизирует Москву гераклитовым огнём: Грибоедов, Торгсин, дом застройщика вкупе с домом на Садовой триста два-бис — жаль только, что не спалил Кремль, эту ново-фиванскую крепость Диониса изгнавшую!

А прокуратор, сам того не сознавая — в том-то и сладость! — мстит Иуде именно Дионисом! Именем его! Рождением его! Вторичным! Издыхающий предатель, не подозревая того, славит, как некогда Пенфей, как Ликург, как Дериад, его, Бога с Низы — арабской («индийской», скажет Филострат) горы, где Дионис, получивши своё имя Νύσα ὄρος⁵⁷⁴, появился

из Зевесова бедра и был воспитан средь исполинских коней нимфами⁵⁷⁵, отнявши, после этого, у Аполлона истинное царство созидания!: «Ни... за... — не своим, высоким и чистым молодым голосом, а голосом низким и укоризненным проговорил Иуда и больше не издал ни одного звука»⁵⁷⁶. И Ζεῦς ἐλὼς празднует сыновью месть: «Тело его [Иуды <А. Л.>] так сильно ударилось об землю, что она загудела»⁵⁷⁷.

Ха! Кто следующий, нечестивцы?!

Пилатово вино несёт смерть, а затем возвращает жизнь Мастеру и Маргарите. И вот он рождается, «Высший человек» концовки *Так говорил Заратустра* — нищиеанец Булгаков романизирует её тотально! Да, именно «Высший человек», но не «Сверх-человек» — ибо сверхслияния две эти половинки всё-таки не удостаиваются: «— Он не заслужил света, он заслужил покой, — печальным голосом проговорил Левий»⁵⁷⁸.

Какая же именно лоза приносит единение Мастеру и Маргарите? «Прошу заметить, это то самое вино, которое пил прокуратор Иудеи. Фалернское вино»⁵⁷⁹.

Фалернское вино есть смертоносный, ибо нерабавленный, дар Якха, Якха торжествующего — ни капли воды в нём, впрыснутой для сохранности после ликургового святотатства. Вот он появляется на сцене, чистый, «человечинку» сводящий с ума, динамитом расчлняющий душу чанда-ле, и нестепимый этой касте Вакх, вечно юный, в небриде, да произносит свой священный македонский монолог. Как?! Естественно, по-русски, по-пушкински, когда поэт обращается к нежному отроку Катулла:

*«Пьяной горечью Фалерна
Чашу мне наполни, мальчик!
Так Постумия велела,
Председательница оргий.
Вы же, воды, прочь теките
И струёй, вину враждебной,
Строгих постников поите:*

⁵⁶⁹ Ibid., с. 150.

⁵⁷⁰ Ibid., с. 149.

⁵⁷¹ Ibid., с. 150.

⁵⁷² Ibid., с. 389.

⁵⁷³ Ibid., с. 395.

⁵⁷⁴ Диодор Сицилийский, *Историческая Библиотека*, XXVII, 3.

⁵⁷⁵ Второй Гомеровский гимн Дионису, в. 5 и Третий Гомеровский гимн Дионису, в. 6 — 10.

⁵⁷⁶ Михаил Булгаков, *Мастер и Маргарита*, *op. cit.*, с. 337.

⁵⁷⁷ Ibid.

⁵⁷⁸ Ibid., с. 383.

⁵⁷⁹ Ibid., с. 392.

Чистый нам любезен Бахус»⁵⁸⁰. Ницшеанец Булгаков так бы и мог обозначить на первой странице романа: «Республика гениев. Чандалам-„учёным” вход запрещён!».

А теперь приходит время ночному странствию, при луне — 32-ая глава *Мастера и Маргариты*. Идём же, *vuktipóloi*, начнём нашу песнь опьянения — бросим лот в глубины Вселенной!

Так куда же идти Мастеру? Туда, где легчайшими семитскими перстами наяправляют Шуберта, как чистейший бриллиант, через который поутру будешь смотреть на Гелиоса, покамест кубриково дитя по-царски выплывет из-за правого бока голубой Земли! Ответ даёт Воланд, *случайно* парафразируя Ницше:

Ср. у Ницше, пишущего новое предисловие к *Рождению трагедии* в Сильс-Мариин после окончания четвёртой части *Заратустры*: «... разве не представляется необходимым, чтобы трагический человек этой культуры, для самовоспитания к строгости и ужасу, возжелал нового искусства, искусства метафизического утешения, трагедии, как ему принадлежит и предназначенной Елены, и воскликнул вместе с Фаустом:

Не должен разве я стремительную мощью

Единый вечный образ вызвать к жизни?

Разве не представляется необходимым?... Нет, трижды нет, о молодые романтики, это не представляется таковым!»⁵⁸¹.

Ср. у Булгакова, подтибтившего у Ницше даже Фауста: «*О трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днём гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели ж вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда [Dorthin! <А.Л.>]. Там ждёт вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой. Прощайте! Мне пора...*»⁵⁸².

Действительно, пора. Давно пора! Ср. у ницшеанца Булгакова «*Прощайте!* — одним криком ответили Воланду Маргарита и мастер»⁵⁸³.

Ср. у Ницше: «... а высшие люди, услышав рёв его [льва <А.Л.>], вскрикнули в один голос и, побежав обратно, исчезли в одно мгновение»⁵⁸⁴.

Радость слияния жаждет вечности, она «*рвётся в отчий дом. В свой кровный, вековечный дом!*»⁵⁸⁵ — таков русский перевод этой песни, сочинённой Заратустрой, и пропетой для одного из этих русскоязычных «Высших людей», созданных под занавес Булгаковым: «*Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду*»⁵⁸⁶. И ещё раз. Да! Ибо название песни ночного исступления есть «Ещё раз»; Булгаков подчиняется наказу Заратустры, и новое высшее создание, *Мастеромаргарита*, возвращается под свой вековечный кров: «*Так говорила Маргарита, идя с с мастером по направлению к вечному их дому, и мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шептал оставленный позади ручей, и память мастера, беспокойная, исколотая иглами, память стала потухать*»⁵⁸⁷.

И ведь у Булгакова — сплошные ошибки, вкупе с непростительной неряшливостью письма! Ведь и сердце коровьевское «сосёт»: «*Что-то сосало моё сердце!*»⁵⁸⁸, и прыгает «*безногая*»⁵⁸⁹ курица Поплавского (которой вообще-то следовало бы быть одноногой), а Афраний и вовсе дал маху: «*поднял глаза кверху, подумал и ответил...*»⁵⁹⁰. Несёт Булгакова Дионис! Не сопротивляется Вакху бывший асклепиад? И правильно, к дьяволу их, подслеповатых от библиотечной пыли корректоров!

Итак, отчего такое «Сверх-человеческое» единообразие Набокова и Булгакова, да и прочих Фридрихом Ницше налитанных созидателей? Возможно потому, что подобно самому трагическому Все-Духу витают во Вселенной мысли, Дионисические образы, запертые, точно в Босховом шаре, который внезапно лопаются, — и Вакхические образы поочерёдно втягиваются то одним, то другим осенним полушарием планеты,

⁵⁸⁴ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 237. Курсив Фридриха Ницше.

⁵⁸⁵ *Ibid.*, с. 235.

⁵⁸⁶ Михаил Булгаков, *Мастер и Маргарита*, *op. cit.*, с. 407.

⁵⁸⁷ *Ibid.*

⁵⁸⁸ *Ibid.*, с. 295.

⁵⁸⁹ *Ibid.*, с. 215.

⁵⁹⁰ *Ibid.*, с. 326.

⁵⁸⁰ Александр Сергеевич Пушкин, *Мальчику (из Катуллы)*, *op. cit.*, т. 1, с. 506 — 507.

⁵⁸¹ Фридрих Ницше, *Опыт самокритики*, *op. cit.*, т. 1, с. 56. Курсив Фридриха Ницше.

⁵⁸² Михаил Булгаков, *Мастер и Маргарита*, *op. cit.*, с. 407.

⁵⁸³ *Ibid.*

оседа на самых чутких душах «Высших людей», а уж им остаётся только пропеть свои ощущения тем единым тотальным вечным Λόγος'ом.

Но вернёмся к ней, тотчас пославши её к дьяволу, к метастазной печени продавца тухлой осетрины, а от неё — к фальтеровской фразе, главное в коей то, что в данном «физиологическом примере» сквозит весь ужас Силена перед последствиями излишеств присущих жрецам Диониса — извечный страх загубить вакханалией печень, этот орган любви к «человеку», если верить стенаниям ещё-одноглазого Зевсова племянничка. Обращаясь к «осколку человечины», Фальтер, снова подчиняясь кастовому рефлексу, разграничивает синеусовское и собственное «Сверх-человеческое» мировосприятие. Фальтер заявляет о необходимости быть осторожным: не стоит пугать напоследок своим жутким видом очередную Психею-купецку дочку, обуянную жаждой идеального единения с отпрыском Афродиты Урании, более того, добивающейся своего, спускаясь к *Феррефатте*, вступая в диалог с Паном, и, в конце концов получая право на слияние и, как следствие — на *амброзиевое* «Сверх-человеческое» состояние, подносимое ей в свадебный *дар* Зевсом-жизнью⁵⁹¹. Середина романа Апулея — романа в романе⁵⁹² — о Психее полюбилась и Аксакову и, впоследствии, Набокову. Не потому ли после третьей главы *Дара* — романа «берлинско-буколического», также повествующего о контакте с идеальным Эротом, романа полного грёзовых *quiproquos*, добавляет Набоков и четвёртую главу, травестируя таким образом структуру *Метаморфоз*, дабы завершить *Дар* внезапным, как-же-иначе *выздоровлением* Эрота, а также описанием на варварском наречии воссоединённых Зевсом героев: верховное Божество возмещает урон нанесённый им же «человеку».

Но вернёмся же, наконец, к мукам Синеусова: в ответ на пирриху Фальтеровой мысли «осколок человека» испускает ещё один вопль, где слышится и ностальгия по утеренным частям, и мечта о драгоценном склеивающем снадобье, а главное — о приходе совершенного лекаря. Слышатся в крике художника и муки плоти, утерявшей надежду на *выздоровление*, — а через рану, нанесённую опять же Зевсом-жизнью, сочитя, капля за каплей, на покрывающуюся мурашками Семелу завистливая душонка-уродец «осколка человека»: «*Но сокровище есть у вас, Фальтер, — вот что мучительно*»⁵⁹³.

Синеусов принимается нащупывать (давно ясно — без всякой надежды на успех!) трясущейся — от страха — конечностью истину Фальтера, которого пытается он втянуть во грех, превышающий разглашение элевсинских тайн. Ибо набоковский «Сверх-человек», несомненно согласится и с Ницше да и с автором этих строк о проведении «образовательного геноцида» — запрещения передачи даже «*теней истин*», вплоть до тотального отучения «читательских масс» «человеческого» мяса от чтения и, — тем более! — от писания: «*От этих стремительных удались в безопасность: лишь на базаре нападают с вопросом: да или нет?*»⁵⁹⁴, — ведь именно рыночный путь распознавания истины пытается навязать ловкопалый шмат человечины Фальтеру: «*Я вам предлагаю другой метод вопросов и ответов: я вас не стану спрашивать о составе вашего сокровища, но ведь вы не выдадите его тайны, если скажите мне, лежит ли оно на востоке, или есть ли в нём хоть один топаз, или прошёл ли хоть один человек в соседстве от него. При этом если вы ответите на любой из моих вопросов утвердительно или отрицательно, я не только обязуюсь не избирать данного пути для дальнейшего продвижения однородных вопросов, но обязуюсь и вообще прекратить разговор*»⁵⁹⁵ — базарный приём этот был, кстати, подмечен Заратустрой у Сократа, *впрыснувшего* его в практику любомудрия прямо с рынка, где, по милости сварливой Ксантиппы, основатель диалектики принуждён был слоняться, изнывая от скуки и жары, пока иной Агафон — любитель всяческих монстров и логиков, а вместе с ними и *мостров логики*, — не зазывал его попить надармовщину.

Интересно, что вышеупомянутый «трюк» был взят Заратустрой у Сократа, когда тот, шутки ради, сначала доказывает тщетность поиска воссоединения «человеческими кусками», а затем, спохватившись, да подсластивши свой афинский говор иронией иного метека выгодно сбывающего египетские плоды, взращённые ханаанскими мудрецами, эмигрировавшими на берега Нила (а свою *неафинскую* ряху — гримасой), тотчас доказывает противное.

Итак: «да или нет» — такую тактику избирает Синеусов для того, чтобы подкрасться к истине. В капкан, уготовленный монстру-Фальтеру подливает он мёду, сваливает туда лакомства, которые, в его представлении, могли бы оказаться Фальтеру *по душе*. Делается

⁵⁹¹ Апулей, *Метаморфозы*, VI, 23.

⁵⁹² *Ibid.*, IV 28 — VI, 24.

⁵⁹³ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 456.

⁵⁹⁴ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 38.

⁵⁹⁵ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 456.

это Синеусовым как наивно-сознательно («Я вам предлагаю другой метод вопросов и ответов ...»⁵⁹⁶ — Сократ против Диониса!), так и бессознательно, что как всегда интереснее. Бессознательность же поступка Синеусова проявляется в его отсыле фальтеровой находки на Восток, в истовой, и вовсе не столь уж неверной надежде на то, что некий «человек» некогда был способен «пройти рядом с истиной» — точно Константин Годунов-Чердынцев рядом со в замороженным в лёд «яком»-Дионисом, которому до поры до времени заказан путь в Европу, демократическую, диалектическую, «разумную», перенаселённую «осколками человека», лучшие из коих, отдадим должное художнику, принадлежат к синеусовскому типу неудачников.

* * * * *

Мудрость, как и жизнь-Δία — женщина. Сверхмудрость, переиначивающая жизнь на свой лад — женственность, глубоко внедрившаяся в недра планеты, — черпает там свою мощь открывающуюся лишь немногим, в Элевсине. Завладеть такой сверхженщиной — мечта познающего. Обитель её располагается на крайнем Западе, на берегу Океана; каждый из взоров её смертоносен — навсегда обездвиживает он пирриху неудачливого воина из касты брахманов, посягнувшего на неё, если мощь сгустка его мужества окажется недостаточной для обуздания её сверхженственности. Однако, стоит лишь отрубить ей голову кривым клинком да выставить её на показ всем монстрам мира и «осколкам человека» жаждущим слияния с Принцессой Савской (*единившись*, благодаря этому челлиньевому жесту в победно набрякший фаллос — менадочку, змеино прыскающую свой ночной гимн солнцу), то они окаменевают, — тем самым становясь совершенными, ибо наиболее приближёнными к природе скульптурами⁵⁹⁷. Избегнувшие же лика Медузы обращаются в покорных вассалов героя из страха испытать на себе взор *прежде необходимого ему куска* его покорённой подруги.

Для победы над такой сверхженщиной молодому мудрецу необходим божественный ментор — сверхпреступник, который совершенствуя (как иной бог вырва вопящий корень — произведя эпиляцию Матери-Земли!) его боевую пляску, дарит ему щит, о коем не мечталось даже астрологу

Гомеру, поможет добыть крылатые сандалии, которые вознесут бойца до необходимого для битвы уровня: не в стратосферу, где клубится Вакхическая субстанция, но до привычных вечноженственным высот.

Ницше воспользовался для победы над своей Медузой не поддержкой Гермеса, но помощью его воспитанника — оба Божества *почти* идеально обездвижены Праксителем. Да! Дионис помог Ницше-Заратустре одолеть и жизнь-Δία, детооую грехотворницу («*kindsäugige Sünderin*»⁵⁹⁸ — «Лолита», — тотчас буркнет, приснувши слюной, иной, поднаторевший в делах запретной повсеместно теперь педофилии «набоковед», никогда, впрочем, не слыхивавший о тезеевых *ébats* с Еленой), которая пророку милее мудрости, чья причёска, от шипящих косм спутниц Вакха («*К тебе прыгнул я — ты отпрянула вмиг; и лизнули меня на лету зашипевшие змейки волос вдруг взлетевших твоих!*»⁵⁹⁹) до привязанной к поясу победителя головы (обильно накапавшей кровью породившей африканских змей), делает из персидского Персея «бассариду». А рядом уже *окукливается* из крови поверженной горгоны Пегас, расправляет крылья да изготавливается лететь к Геликону для *выбивания* из Матери-Земли источника созидателей⁶⁰⁰.

Так повествует Ницше о своей победе — заполучением сверх-женщины (сопровожаемого одновременной потерей «невинности духа») в главе *Заратустры* «Другая танцевальная песнь», которую я бы назвал по другому — «Персеева пирриха», и где поэтически воспроизводится столь восхитившая философа *Кармен*: «Я слышал вчера — поверите ли — в двадцатый раз шедевр Бизе. Я снова вытерпел до конца с кротким благоговением, я снова не убежал»⁶⁰¹. Что же делает с этим ницшевским отрывком ницшеанец Набоков? Для его героя Гумберта, который впервые прилаживается к лолитиным телесам, американская девочка — Кармен:

«Среди моего лепетания мне случайно попало нечто механически поддающееся повторению: я стал декламировать, слегка коверкая их, слова из глупой песенки бывшей в моде в тот год — о Кармен, Карменситочка, вспомни-ка там,... и гитары, и бары,

⁵⁹⁸ Friedrich Nietzsche, *Also sprach Zarathustra*, op. cit., S. 283.

⁵⁹⁹ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, op. cit., т. 2, с. 164.

⁶⁰⁰ См. Павсаний, *Описание Эллады*, IX, 31, 3.

⁶⁰¹ Фридрих Ницше, *Казус Вагнер, Проблема музыканта*, op. cit., т. 2, с. 528. Курсив Фридрих Ницше.

⁵⁹⁶ Ibid.

⁵⁹⁷ Пер □ ψουζ, XXXVI, 3.

и фары, тратам — автоматический вздор, возобновлением и искажением которого — то есть особыми чарами косноязычия — я околдовал мою Кармен и всё время смертельно боялся, что какое-нибудь стихийное бедствие мне вдруг помешает, вдруг удалит с меня золотое бремя, в ощущении которого сосредоточилось всё моё существо, и эта боязнь заставляла меня работать на первых порах слишком поспешно, что не согласовывалось с размеренностью сознательного наслаждения»⁶⁰².

И покамест длится этот полуаполлонический полуречитатив дуэтом, продолжается поиск мест будущих контактов, завершившийся сначала молитвенным «аминь», а также извлечением из тела Гумберта оргазменной смазки: «Повисая над краем этой сладострастной бездны (весьма искусное положение физиологического равновесия, которое можно сравнить с некоторыми техническими приёмами в литературе и музыке), я всё повторял за Лолитой случайные нелепые слова — Кармен, карман, кармин, камин, аминь, — как человек, говорящий и смеющийся во сне, а между тем моя счастливая рука кралась вверх по её солнечной ноге до предела дозволенного тению приличия»⁶⁰³, — Гумберт застыл на самом рубеже вакхической стадии. Митра омидачил Лолиту, как прежде — других лидийских женщин Набокова. Случайные, детские слова становятся предвестниками будущего чудовищно благодатного для слияния случая. Ещё немного — и Кармен поведёт его к Богу.

Но где же искать происхождение этой «заратуштраизированной» набоковской греховодницы, как не в детстве самого Набокова! С ней, этой Лолиточкой-Кармен (а звали её Колеетт, ту девочку с «английской гувернанткой»⁶⁰⁴, которая через несколько страниц стала почему-то «ирландской»⁶⁰⁵ — ляпсус непростительный для выпускника Кембриджа) мечталось ему, десятилетнему, сбежать. Но сбежать куда?

⁶⁰² Владимир Набоков, *Лолита*, Том пятый дополнительный к Собранию сочинений в четырёх томах, Москва, Издательство Правда, 1990, с. 58. Курсив Набокова.

⁶⁰³ *Ibid.*, с. 59.

⁶⁰⁴ «... девочку с фокстерьером и английской гувернанткой послали в скучном „сидячем“ вагоне обыкновенного rapide.»: Владимир Набоков, *Другие берега*, *op. cit.*, т. 4, с. 220.

⁶⁰⁵ «Там он взял двухдневный отпуск, чтобы совершить покаянное путешествие в священный Лурд, куда поехал впрочем в обществе смазливой и бойкой молодой ирландки, состоявшей в гувернантках при моей маленькой пляжной подружке Колеетт.»: *Ibid.*, с. 227.

«У меня была золотая монета, луидор, и я не сомневался, что этого хватит на побег. Куда же я собирался Колеетт увезти? В Испанию? В Америку? В горы над По? "Là-bas, là-bas dans la montagne", как пела Кармен в недавно слышанной опере»⁶⁰⁶.

То есть Набоков выхватывает из уст Кармен именно ту фразу, когда эта средиземноморская менада парафразирует на варварском кельтском наречии, навязанном ей Бизе, хор вакханок Еврипида: «ε□□ □ρο□ ε□□ □ρο□ □ ».

* * * * *

Ох как хочется Синеусову сорокалетнего Набокова взглянуть на Фальтерову горгону! Только какой же «сверх-ебать», — сиречь, Божий наперстник, при Божественном же посредничестве сваянный, — согласится разбазаривать сверх-мощь своей подруги на радость шматам «человеческого» мяса?! А потому, незачем разворачивать шкуру с завёрнутой туда головой Медузы, незачем лишать себя спокойного ожидания смерти, возясь с полицией, которая заявится инспектировать кудесы, противоположные тем, что некогда исхитрился вымолить у Афродиты персидской Пигмалион:

Синеусов: «Повторяю, ваш отказ дать мне взглянуть на вашу медузу принят мною к сведению...»⁶⁰⁷. К сведению же Набокова следует заметить, что Медуза — имя одной из горгон, а потому пишется с заглавной буквы (ошибка, допущенная Владимиром Набоковым при жизни. Не придётся пенять ему с той стороны Стикса на бескультурных наследников!⁶⁰⁸).

Итак, в обмен на приобщение даже к части Дионисовых мистерий обещается Синеусов навсегда покончить с диалектикой, вовсе «прекратить разговор»⁶⁰⁹, хотя, несомненно, предчувствует художник, что таковой контакт с Богом окажется бесполезен: тому не нужен цемент, кому нечего склеивать (если разжиревший во время разлуки

⁶⁰⁶ *Ibid.*, с. 281.

⁶⁰⁷ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 456.

⁶⁰⁸ Впервые произведение *Ultima Thule* было опубликовано в «Новом журнале», Нью-Йорк, 1942, № 1.

⁶⁰⁹ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 456.

с Дионисом гоголевский Силен не будет на меня в обиде за заимствование ритма его лаконизмов).

Художническое «да или нет», которое Набоков позаимствовал для своего Синеусова с базара (где в обществе Дюринга-чичерона расхаживал Заратустра), для Фальтера — «теоретически ловушка», куда его заманивает «теоретический» же «человек», ловушка, впрочем, сработанная грубо: хищник молниеносно замечает, что валежник прикрывает капкан не соответственно с канонами притяжения Семелой сосновых частей, а навален на западню «человеческой» рукой:

«Теоретически вы привлекаете меня в грубую ловушку, — сказал Фальтер, слегка затрясаясь, как если бы смеялся. — На практике же это есть ловушка, лишь поскольку вы способны задать мне хоть один вопрос, на который я смог бы ответить простым да или нет»⁶¹⁰.

Не потому ли реакция Фальтера становится реакцией Киплингера хищника: смех — сотрясение тела, пока зверь изволит ещё терпеть замок на дверце клетки (куда Фальтер, в отличие от Багиры сам себя же и запер) — пока не придёт срок, и жаждущий воссоединения с джунглями хищник не сойдёт замка ударом лапы. Но дело в том, что если Фальтер держит себя в клетке («Я усилием воли приучаю себя не выходить из клетки, держаться правил вашего мышления как будто ничего не случилось...»⁶¹¹), то его организм — и в этом наиглавнейшая проблема Фальтера — не переполнен животной волей к власти. Душа зверя, а тем паче *сверх-зверя*, слишком проста; она-то и способна ответить «да или нет»; Фальтер же *непростительно* усложнён, и в то же время недостаточно сложен для «Сверх-человеческого» долгожительства. Поэтому ждёт он смерти: ожидание казни в заключении ему предпочтительней добровольной отдачи себя ловцу или убийства этого ловца, ибо мир вне Диониса опротивел ему, и всякий поступок стал отвратен. Единственное, что у Фальтера общего с Багирой, так это — «подобие смеха», проявление хищнической мощи духа, когда «Сверх-человек» слышит далёкое изъяснение мук разорванного «человека».

Интересно также, что перед тем как скатиться с поверхности планеты, Фальтер позволяет себе времяпрепровождение, некогда из-

бранное и эллиноязыким певцом «Вечного Возвращения», отринувшим роль эфесского законодателя вкупе с (явно не по-платоновски!) приглашением Дария — как оказалось, собеседники Сократа и Божьи собутыльники расходятся во мнениях относительно того что есть добрая компания⁶¹².

Любопытно обратить внимание и на то, как Набоков в *Ultima Thule* постоянно возвращается к буквально нескольким ницшевским образам, точно он заперт в кольцо откровением, однажды излучённым на него из *Ницше* (также брезговавшего излишним чтением) и смешавшимся с нутром Набокова-поэта, а потому сделавшим из него странную креатуру — пред-«Высшего Человека» артиста, коим Набоков и остался навеки.

Фальтер-«ребёнок» соглашается поиграть с Синеусовым. А в виду того, что Синеусов не воспользовался сверх-случаем — одним из многочисленных *шансов* слияния, — у него попасть стрелой в «десятку» «шансов *весьма мало*»⁶¹³, так выражается полный *сострадания* к «осколку человека» Фальтер. Хотя, Фальтер мог бы избежать эвфемизмов, прямо заявивши о том, что видит он перед собой: «У тебя, мол, бедный «чанда-ловек», *шансов* нет никаких. Ты не удался, ибо голубокровый, белоко-стный случай, этот изгой из царства «чандаловека», его высочество *Prinz Von Vogelfrei* пролетел мимо тебя! Ха! Ну и что ж!», — в этот момент Фальтер ухватил бы свою мысль за крыло да водворил бы её на кресло, в себя, дланью драматурга.

Диалектик есть перманентный плебей — продать хорошее мнение о своей мысли его задача; «мысль» подменяет в дискурсе его само-го: «диалектик», как, и всякий раб, жаждет быть самым дорогостоящим, наилюбимейшим рабом господина. Именно «разумным» сократовским демаршем реагирует «осколок человека» на фальтеровское предложение поиграть в кости: «Я подумал (sic.) и сказал ...»⁶¹⁴. И верно, что ему ещё остаётся? И как же он может ещё выразиться, если не будет действовать исключительно по анти-Заратустрову шаблону, основательно, тяжело, словно швабский, — только не Гауфом в бременском погребке напитанный! — путешественник в околосредиземноморские страны:

⁶¹² См. Диоген Лаэртский, *Жизнь Гераклита*, XI, 12 — 14.

⁶¹³ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 456.

⁶¹⁴ *Ibid.*

⁶¹⁰ *Ibid.*

⁶¹¹ *Ibid.*

«Позвольте мне, Фальтер, начать так, как начинается традиционный турист, с осмотра старинной церкви, известной ему по снимкам. Позвольте мне спросить вас: существует ли Бог»⁶¹⁵.

«И все боги смеялись тогда, качаясь на своих тронах, и восклицали: „Разве не в том божественность, что существуют боги, а не Бог!“»⁶¹⁶. Каждый миг «человеческой» жизни контролируется и анализируется богами, если, конечно, это конкретное существование достойно внимания Олимпийцев. Более того, каждое из мгновений жизни избранных «людей» посвящено тому или иному богу, или же той или иной богине; каждое же из божеств, в свою очередь, многолико, или, по меньшей мере, *андрогинолико*. И как подметил Ницше во время одного из своих теологических походов, среди Олимпийцев есть два главенствующих божества ведающих «людским» формированием уже после того, как Прометей и Эпиметей потрудились над ними — Аполлон и Дионис — замирение перед взрывом=Аполлон, и сам взрыв=Дионис; вбирание в себя духа Европы, Евразии, планеты=Аполлон, и контрудар=Дионис, — так сменяют друг друга на посту *антропоургии* сребреннотетивнозвукий дельфийец и его иступленно хохочущее дополнение — истинный *Исаак* дорийского мира!

Вобщем-то Синеусов начинает своё расследование не так уж неверно. Выбор направления его *мышления* точен. Только вот его бедное существо «чандаловека» не в состоянии мыслить многопланово. Потому близко подходит Синеусов к истине — хоть и не способен он ни разглядеть её, ни прочувствовать, — а уже-монстр-познания Фальтер на может не «огрызнуться», одновременно будучи не в силах отказать в удовольствии своему духу-ребёнку продолжить *игру* с художником:

«— Холодно, сказал Фальтер.

Я не понял и переспросил.

Бросьте, — огрызнулся Фальтер. — я сказал „холодно“, как говорится в игре, когда требуется найти запятанный предмет»⁶¹⁷.

И теперь, чтобы хорошенько запутать собеседника, Фальтер вновь пускается в пляску — не может же он пропеть «осколку человека» Синеусову усовершенствованную библейскую притчу о «сверх-зерне»,

случайно упавшем в «сверх-чернозём» (который не снился, и в самой провидческой грёзе наиматематичнейшему сынку Чернышевского), и о миллионах зёрен, разбросанных по колхозному полю, откуда, после введения кратковременной демократии, тотчас переходящей в полярную тираническую ночь, навеки изгнано всё Деметрово семейство! Но в виду того, что Синеусов получил случайное мистическое причастие благодаря своей телеснообразовательной попытке приблизиться к тайне — Фальтер решается отдать должное Синеусову, но сделать это всё также по-детско-хищнически: позабавиться ещё разок, ткнувши Синеусова носом в очертания круга, который его расчленённой «человеческой» мысли (читай «разуму осколка человека») не преодолеть. Другими словами: как только Фальтер допускает для себя возможность выражаться «по-человечески», он говорит по-Заратустровски:

«Сказать же что, может быть, стул-то существует, но предмет не там, то же, что сказать, что, может быть, предмет-то там, но стула не существует, то есть вы опять попадаетесь в излюбленный человеческой мыслью круг»⁶¹⁸.

Только Фальтер оттанцевал своё — снова Синеусов приступает к нащупыванию Бога, точнее места его недавнего присутствия. Бог же, согласно логике Синеусова, не может не располагаться рядом со знакомыми ему предметами — способность мировосприятия Синеусова, «взор его души» менее совершенен, слабее охватывает он жизнь, чем взор «Сверх-человека»; даже в присутствии «Сверх-человеческого» Синеусову жаждался «знакомого», привычного его глазу. Причина этого желания — привычка Синеусова к тому, что называется «любовью»: как токсикоман, жаждет всякий «чандаловека» эйфорического забвения достигаемого вдыханием душой запаха материала склеивающего «осколки человека»; следовательно «любовь» «осколка человека» — ни что иное как попытка *обоняния запаха образа вещи* — недостижимое, неисполнимое, ибо несуществующее, а оттого ещё более желанное.

Дурно видящий взор Синеусова прицеливается; лапа его несовершенного тела движимого наркоманским желанием, метит в образ «Бога», который, хоть и написан с «*заглавной*» буквы, не одинаков для Фальтера с Синеусовым; истина, подчиняясь воли ироника Набокова (он-то, ницшеанец, знает о множественности смеющихся божеств, хоть

⁶¹⁵ Ibid.

⁶¹⁶ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 131.

⁶¹⁷ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 456.

⁶¹⁸ Ibid., с. 457.

и выделяет особняком из них одного) снова, непойманная, проскальзывает рядом с Синеусовым: «— Но согласитесь, Фальтер, если вы говорите, что искомое не находится ни в каком соседстве с понятием Бога, а искомое это есть по вашей терминологии „заглавное“, то следовательно понятие о Боге не есть заглавное, а если так, то нет заглавной необходимости в этом понятии, и раз нет нужды в Боге, то и Бога нет»⁶¹⁹.

Снова Фальтер вынужден уворачиваться в пляске от объятий неповоротливого Синеусова да парафразировать на свой лад (сиречь на манер русскоязычного ницшеанца проживающего во Франции) Гераклита — опять же остающегося непроницаемым взору «осколка человека»: «Природа любит прятаться.»⁶²⁰ Как же любит скрываться от «осколков человека» жизнь-Ζεύς, — в свою очередь дающая жизнь и одновременно вскармливающая плод, φύσις, — вместе с её отпрысками, зачатými от смертных!: «Тем же, что вы упорствуете в своём вопросе [о Боге <А.Л.>], вы не только сами прячитесь, но ещё верите, что, разделяя с искомым предметом свойство „спрятанности“, вы его приближаете к себе»⁶²¹.

Даже вялый Фальтер — оказывается слишком крупным и ловким <познавшим> монстром для ловушки, сработанной «осколком человека». Запросто уходит он от ловца да ещё, ускользая, поучает незадачливого охотника, в то же время чуть издеваясь над ним, что в свою очередь ещё больше облегчает фальтерову задачу — увода Синеусова подале от гнезда, где другой, Божественный ловчий, Дионис, высиживает, покамест, своё очередное дитя, готовит новый взрыв:

«А если вам кажется, что из этого ответа можно сделать малейший вывод о ненужности или нужности Бога, то так получается именно потому, что вы не там и не так ищете»⁶²².

Вся соль — шуанская, с вендейских берегов у короля-батушки наварованная, — в том, что Синеусов ищет там, только не так. Но незачем разбирать, словно головоломку, истину перед шматом человечины,

способным нащупать один лишь её торец, самый явственный, — да ещё и неверно осязать его из-за несоответствия нащупанного предмета с тактильной способностью своей конечности. В конце же своей *тирады* Фальтер ещё раз иронично взывает к своей игрушке: к чёрту, мол, диалектическое плебейство! Брось, Синеусов, логику! Ты же называешься «художником», — так будь же артистом до конца, или же, если запустить стрелой парафраз 26-летнего Ницше: подумай, «осколок человека» «Быть может, существует область мудрости, из которой логик изгнан? Быть может, искусство — даже необходимый коррелят и дополнение науки?»⁶²³. У Фальтера выходит куда проще, чем вычеканенная долголетним впитыванием феогнидовых сентенций фраза филолога: «А не вы ли обещали, что не будете мыслить логически?»⁶²⁴, — Набоков, и не только в *Ultima Thule*, берёт повторениями, заклинаниями с ницшевской начинкой, и редко в них проскальзывает доказательство наличия гераклитовой «пустыни» — отшельничества, долгого выпестовывания собственной мысли. Набоков — художник; он схватывает образ, уже преподнесённый другим, а затем дорабатывает его, подчас излишне пётрыми красками, — какие только попадутся ему под кисть! Μίμνησις сотворяемый набоковской дланью на белом листе — есть воспроизведение молниеносных, сплетённых многопланностью мышления образов; он не плод медленного погружения в аполлоническую бездну.

Синеусов — охотник неуклюжий. Но он тотчас *реагирует* на упоминание о «логике»: затронута незажившая сократическая рана, — снова пытается, с *базарной стремительностью*⁶²⁵ изловить монстра-Фальтера. Синеусовский подход к познанию — есть бесконечная *реакция* слепца на муку; только боль и желание забыться любым способом; ни единой попытки брахманского замедления кровотока, поиска чистоты, доверчивого вручения себя случаю!: «Сейчас поймаю и вас, Фальтер. Посмотрим, как вам удастся избежать прямого утверждения. Итак, нельзя искать заглавия мира в иероглифах божества?»⁶²⁶, — хотя Фальтер, со своей стороны не предпринимал ни малейшего усилия для того, чтобы художника изловить. Никудышный охотник сам лезет в сети. Вот оно,

⁶¹⁹ Ibid.

⁶²⁰ Гераклит, D.K. 123.

⁶²¹ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, op. cit., т. 4, с. 457.

⁶²² Ibid.

⁶²³ Фридрих Ницше, *Рождение трагедии из духа музыки*, op. cit., т. 1, с. 112.

⁶²⁴ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, op. cit., т. 4, с. 457.

⁶²⁵ «От этих стремительных удались в безопасность: лишь на базаре нападают с вопросом: да или нет?»: Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, op. cit., т. 2, с. 38.

⁶²⁶ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, op. cit., т. 4, с. 457.

наигротескнейшее поведение «логики»! Он проходит столь близко от истины! Но произнесённые Синеусовым звуки образуют магму, и он уже не способен выкарабкаться на *землю* из бесформенности согласных и гласных, в которых барахтается он, постепенно погружаясь ко дну. И всё-таки куски магмы, попадающиеся ему под руки, могут превратиться в идеальнейшее Слово — составь он их по-иному: тут и «*заглавие мира*» (уж не упорядоченной ли жизни? одним словом — *Ζεύς*), и «*иероглифы*» (Солоном ли, Платоном ли, через море в Грецию перевезённые?) «*божества*» — а уж Его-то стоит писать именно с заглавной буквы, как во все времена обозначали Сына.

Но такова уж натура «осколка человека»: всем навязывает он свои «добродетели» (которым, надо сказать, далековато и до *vitru* в римском понимании этого термина) — обрывки тотального Λόγος'а.

Интересно отметить, что Фальтер с Синеусовым, каждый по своему, располагают определённым количеством «*трюков*», как вскоре выразится сам Фальтер. «*Трюки*» эти, скроенные по образу и подобию их пользователей, немногочисленны, а потому оба персонажа прибегают к ним беспрестанно, только используя их по-разному. Именно по этой причине Синеусов сызнова требует от Фальтера возвращения к базарным «да или нет», торопится заполучить прямое подтверждение о всё том же — существует Бог или нет:

«— Простите, — ответил Фальтер. — Посредством цветистости слога и грамматического трюка вы просто гримируете ожидаемое вами отрицание под ожидаемое да. Я сейчас только отрицаю»⁶²⁷.

И вот, Фальтер тяжко, словно приподнимая тёмноресничные веки гоголевского Эрота, низосходит до мировоззрения «осколка человека». Ещё раз! Он снова «лев» *Заратустры*, «заявляющий свою волю» отрицанием — а ведь ему, доподлинному Фальтеру-умирающему-ребёнку, нелегко возвращаться вспять, снова выпускать *пронзительные и хорошо знакомые когти*. Но игра есть игра: к какой только метаморфозе не приходится прибегать, дабы скрыть Дионисовы мистерии, а потому дух Фальтера терпеливо сносит чудовищную самодеградацию по «шкале Ницше» во имя *непроизнесения* истины, пеняя всё-таки Синеусову на его базарные методы, призывая его, возможно — *к уходу с базара*.

Для Синеусова же всё просто: для него с одинаковым равноправием существует либо волевое львиное «Нет» — наивысшая стадия превращения духа, которую он только *способен обозреть*, — либо, даже не «верблюдов», но «осёл» со своим «Да!» — «*Ja!*», буквально опутавшим со всем присущим ему *злорадством* четвероногой твари эту странную поэму, *Так говорил Заратустра*, гораздо туже, чем верёвки фессалийских разбойников — Луция⁶²⁸.

Впрочем, подлинное «Да» — «*Ja*» ницшевских ослов — неизмеримо более нюансированно, чем «*Ja*» ограниченных Наумановских комментариев, и поверхностных, «женских» интерпретаций церковной истории, носящей название *festum asinorium*.

А истина в том, что «осёл» из *Так говорил Заратустра* является частью ницшевского «Высшего человека», поющей древнюю хвалу Господу, которая не имеет ничего общего с какофонической концовкой некоей средневековой Мессы. Ведь спутник королей есть осёл из пословицы аристофановских времён, везущий багаж уже посвящённых на Элевсинские мистерии — с ним сравнивает себя Дионисов «Лепорелло» в *Лягушках*⁶²⁹. В *Так говорил Заратустра* этот осёл славит Бога, наподобие *женщины* «Песни Песней» превозносящей своего возлюбленного — как *несафическая женщина-поэт*. Ибо «*Ja!*» ницшевского «осла» звучит поэтическим древнееврейским именем Бога, которому объясняется в любви его суженая: «*Yah!*»⁶³⁰. Таков подлинный корень «*Ja!*» произносимого отличным от Синеусова «осколком» — частью высшего существа, — «*Ja!*» чуть приглушённое на конце гортанным семитским «х». Да и — если мне будет позволено задаться таким вопросом, — не одинаковый ли корень у поэтического еврейского имени Бога и пришедшего из Индии *Īa-kṛṣṇa*'а, как называли Диониса его бесчисленные возлюбленные? Что же до ницшевского «осла», то в пещере Заратустры песней выражает он свою страсть к новому господину Вселенной — «Сверх-человеку» — ибо там, в *детской комнате* Заратустры, «осколки» «Высшего человека» временно объединены пещерными стенами, что, к счастью, делает их менее «логичными», насильно наделяет их относительной целостностью и, как следствие, лепит из них существа куда более *отзывчивые* на великое.

⁶²⁸ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 177, 206, 226.

⁶²⁹ Аристофан, *Лягушки*, v. 159 — 160.

⁶³⁰ «Песнь Песней», гл. 8.

⁶²⁷ *Ibid.*

Вместе с тем, бестиальность «осла», четвероногого «осколка» «Высшего чело́вкa» из *Так говорил Заратустра* — залог трещинки духа, западни уловляющей тех, кто избрал неверный путь к Дионисическому выздоровлению. Древняя истина Силена по-новому восстаёт здесь перед нашим взором: «умереть как можно быстрее», становится неспособностью к выздоровлению, хуже — *шулерской* (также и в немецком смысле) подменой его иллюзией здоровья, импровизация коего достигается путём поиска опьянения «осколками человека» (поисками «любви») — убегающим трезвой арзрумской струи.

Итак, в *Заратустре* пара «Мидасов» привозит на силеновом животном вино («При этом удобном случае, пока прорицатель просил вина, удалось и королю слева, молчаливому, также промолвить слово. „О вине, — сказал он, — мы позаботились, я с моим братом, королём справа: у нас вина достаточно — осёл целиком нагружен им”»⁶³¹), а другой «осколок человека» тут как тут со своим извечным отказом от чётко выработанного порядка изящнейших смен аполлонических и Дионисических стадий — сего арсенала необходимого для единения. Напротив, «осколок человека» — раб выработанного рефлекса самозабвения:

«Не всякий, как Заратустра, пьёт от рождения одну только воду. Вода не годится для усталых и поблекших: нам [и Ницше выделяет курсивом объединяющее «осколков человека» „иис”⁶³² <А.Л.>] подобает вино — только оно даёт внезапное выздоровление и импровизированное здоровье!»⁶³³.

* * * * *

Итак, Фальтер снизошёл до «львиной стадии». А потому, как же не испустить ему тотчас рык соответствующий данному уровню: снова вступает он в «человеческую, слишком человеческую» битву с теоретическим «александрийцем», с его «наукой о богах», принятой среди современных ему «человечьих осколков», а главное с труженицей-«мыслью» «осколка человека», и, как следствие, с его отказом от вакхической исступлённости — залогом *тулика*, нереализации всякой, даже начав-

шейся, Дионисической метаморфозы: «Я отрицаю целесообразность искания истины в области общепринятой теологии, — а во избежание лишней работы со стороны вашей мысли спешу добавить, что употреблённый мною эпитет — тупик. Не сворачивайте туда. Я прекращу разговор за неимением собеседника, если вы воскликнете „Ага, есть другая истина!” — ибо, это будет значить, что вы так хорошо себя запрятали, что потеряли себя»⁶³⁴, выделяет Набоков фальтеровым голосом, тотчас становящимся эхом ницшевского, и тоже курсивного: «Если ничего не ловилось, то это не моя вина. Не было рыбы ...»⁶³⁵, да ещё и делает многоточечный непростительный для писателя ляпсус. Более того, невнимательный Набоков столь поглощён диалогом, со всеми его многочисленными повторениями, что вкладывает в уста «Сверх-человека» Фальтера выражение, употреблённое за минуту до этого «осколком человека», Синеусовым, в момент его базарных посулов:

Ср. Синеусов: «При этом если вы ответите на любой из моих вопросов утвердительно или отрицательно, я не только обязуюсь не избирать данного пути для дальнейшего продвижения однородных вопросов, но обязуюсь и вообще прекратить разговор»⁶³⁶.

Ср. ещё раз со словами Фальтера: «Я прекращу разговор за неимением собеседника, если вы воскликнете „Ага, есть другая истина!” — ибо, это будет значить, что вы так хорошо себя запрятали, что потеряли себя»⁶³⁷.

Господин серьёзнейшим образом (а не иронично, как в случае с предсмертными словами двух частей Синеусова) воспроизводит звуковые шаблоны, используемые его рабом. Новый, только уже не стилистический, но «драматургический» промах Набокова! Дело, наверное, было под вечер. Усталость. Истерические вопли ребёнка. Жена села в угол и, как говорится, *se mit à bouder*. Излишне лёгкий ужин с кофе давили на желудок. А потому Набоков не только предоставляет непозволительную свободу Фальтеру выделять *курсивным тоном* важный для

⁶³¹ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 205.

⁶³² Friedrich Nietzsche, *Also sprach Zarathustra*, *op. cit.*, S. 353.

⁶³³ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 205. Курсив Фридриха Ницше.

⁶³⁴ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 457. Курсив Набокова.

⁶³⁵ Фридрих Ницше, *Ecce Homo*, *op. cit.*, т. 2, с. 754. Курсив Фридриха Ницше.

⁶³⁶ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 456.

⁶³⁷ *Ibid.*, с. 457. Курсив Набокова.

автора элемент, но и не совершает более необходимейшего для романиста усилия, заключающегося в беспрестанном переселении из одного персонажа в другой, сопровождая этой пирриховой метампсихозой весь процесс их диалога — танец, естественно, сложный, ибо заключающийся в перманентной смене уровней — не закружиться бы голове!

Что ж, будем снисходительны, отметив главное — *очеловечившись*, Фальтер ещё раз исполняется ницшевским словом: однажды философ заприметил заплутавших в дедаловых потёмках «осколков человека» (отнюдь, кстати, не героев, а потому ищущих не быкорогого монстра, и не критскую царевну, суженую Диониса, а самих себя, себя же одновременно и теряя), и тотчас Ницше, коему некогда самому пришлось побывать в шкуре следопыта с нитью зажатой в кулаке, нарёк своего «осколка человека» «человеком лабиринтным»⁶³⁸. А уже отмечено: одним из качеств лабиринтного скитальца — является неспособность выносить собственный вид. Скрывается «осколок человека» инстинктивно, *самостирается* в своём сознании: «лучше уж мне не видеть самого себя: настолько я несовершенен!», — шепчут «маленький человек» со своей ещё менее совершенной спутницей, — «совершенство невозможно», — твердят они, и, конечно, моргают. Так закон кольца навязывает «осколку человека» его вековую муку — $\alpha\pi\tau\omicron\phi\omicron\varsigma$.

Впрочем, Фальтер прав — не существует *другой* истины вне «божественности». Но, опять же, о каком «Боге», — или же, каких «богах», — идёт речь? Какого поклонения требуют они? Какая «иерархия» разделяет их жрецов? Всего этого ни в коем случае не стоит открывать непосвященным.

Диалог продолжается. Отчаявшийся Синеусов реагирует очередным взмахом ловческой сети — в этот раз его словесный порыв и вовсе неловок, движения его $\lambda\omicron\upsilon\omicron\varsigma$ угловаты: Синеусов выражает свои мысли неряшливо, косноязычие захлёстывает его волной, становится одним из главенствующих симптомов его разорванной телесности.

Ответ Фальтера: «*Барыня прислала сто рублей ...*»⁶³⁹ — «Что хотите, то купите. Чёрный, белый не берите. „Да“ и „нет“ не говорите!». Что же это, если не *случайное* русскоязычное сопровождение «отроческо-гераклитовской» игры, цель которой — очищение ребёнка от рефлекса

⁶³⁸ «Ein labyrinthischer Mensch sucht niemals die Wahrheit, sondern immer nur seine Ariadne — was er uns auch sagen möge.»: Friedrich Nietzsche, *Nachgelassene Fragmente* in Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Werke*, op. cit., Band 10, S. 125.

⁶³⁹ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, op. cit., т. 4, с. 457.

базарных «да и нет» (коими брезговал пророк), приучение детей, на фальтеровский манер, к «многопланнным», почти Роммелевым мёневрам во имя предохранения $\Lambda\omicron\upsilon\omicron\varsigma$ от опошливания?

Всё это так конечно, если только в ответ Синеусову, ипостась Фридриха Ницше — Фальтер не воспроизводит смысл строк «... *единственного психолога, у которого* [Фридрих Ницше <А.Л.>] *мог кое-чему поучиться...*»⁶⁴⁰: со «счастливым случаем» — романами Достоевского⁶⁴¹ познакомился Ницше через десяток лет после «открытия» им Стендаля. Мне же остаётся только отметить некоторую *хромоногость* столь понравившейся Фридриху Ницше идеи Кирилова, источником коей является отсутствие у инженера кастового взгляда на «человека» — этому, конечно, не мог он научиться ни в Американских Штатах, ни в Европе с окончательно рассыревшей душой: «*Я начну и кончу, и дверь открою. И спасу. Только это одно спасёт всех людей и в следующем поколении переродит физически; ибо в теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без прежнего Бога* [Зевеса расчлняющего <А.Л.>] *никак*»⁶⁴². Да, вакхант Достоевский! Ты прав, «люди» изменятся *физически*. Только не все.

Как близко, однако, прошёл Достоевский со своим Кириловым от «Высшего человека»! И если уж на то пошло, не тот ли самый Кирилов преподнёс в дар «Высшего человека» — Иисуса после тайной вечерни, то есть «тринадцатикускового» и уже распятого Христа, — Фридриху Ницше, дабы философ смог приглашать подобных «осколков человека» в пещеру персидского пророка, составить из этого пущля предтечу «Сверх-человека» — смысл и дитя исторгаемое Семелой из чрева ея, — усовершенствовать «*большую идею*» политики Достоевского:

«*Слушай, остановился Кирилов, неподвижным, исступлённым взглядом смотря перед собой. — Слушай большую идею: был на земле один день, и в середине земли стояли три креста, безуспешно предлагая небу выменять на щепотку соли свой благородный груз. Тьфу! чёрт! Сбилс! С чего начать? С начала! Ну что ж, ещё раз!*

⁶⁴⁰ Фридрих Ницше, *Сумерки идолов, или как философствуют молотом*, op. cit., т. 2, с. 620.

⁶⁴¹ «... он [Достоевский <А.Л.>] принадлежит к самым счастливым случаям жизни ...»: Ibid.

⁶⁴² Фёдор Михайлович Достоевский, *Бесы*, op. cit., с. 653.

Слушай, остановился Кирилов, неподвижным, иступлённым взглядом смотря перед собой. — Слушай большую идею: был на земле один день, и в середине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: „будешь со мной сегодня в раю”. Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресенья. Не оправдалось сказанное. Слушай: Этот человек был вышший на земле [Ха! <А.Л.>], составлял то, для чего ей жить [Хо! <А.Л.>]. Вся планета, со всем, что на ней, без этого человека — одно сумасшествие [Ха! Ха! Ха! Хо-Хо! Ну, как тебе, номад-аристократ (ежели, эти строки попадутся тебе на глаза), наше, с Достоевским и Ницше, вакхическое братство!?! <Анатолий Ливри>]»⁶⁴³.

А потому остаётся возможным, что попытка Синеусова выманить у Фальтера истину сравнивается тем с милостыню генерал-лейтенантши Ставрогиной бывшему её крепостному Шатову, на выздоровление, как известно, пользы *ex-рабу* не принёсшей и возвратившейся в семейство дарительницы единственно верными, окольными путями: «*Варвара Петровна после его [Шатова <А.Л.>] болезни переслала ему секретно и анонимно сто рублей. (...) Липутин очень укорял его потом за то, что он не отвергнул тогда с презрением эти сто рублей, как от бывшей его деспотки-помещицы, и не только принял, а ещё и благодарить потащился*»⁶⁴⁴, и позже, когда, наконец, Шатов выносил своего ребёнка да разродился, доставляет он этого «*радужного*» младенца Царевичу — несостоявшемуся швейцарскому апатриду: «... *подождите, остановил Шатов, поспешно выдвинул из стола ящик и вынул из-под бумаг радужный кредитный билет; — вот возьмите, сто рублей, которые вы мне выслали: без вас я бы там погиб. Я долго не отдал, если-бы не ваша матушка; эти сто рублей подарила она мне девять месяцев назад на бедность, после моей болезни*»⁶⁴⁵.

Синеусову ничего не остаётся, как согласиться с Фальтером, хотя артистическое чутьё художника подсказывает ему, дурному ловчему, «*неуловимый*» факт собственного прохождения недалеко от истины. Однако и вербальные пируэты Фальтера — не более чем пирриха,

ускользание наконечника копья, ибо решение о сокрытии Дионисовых мистерий принято: как только Синеусов умудряется доковылять до тайны, Фальтер молниеносно даёт почувствовать ему свои когти, сей же час подтверждая верность ощущений отчаявшегося «осколка человека» и унося истину в безопасное место:

«— Ладно, оставим и этот неправильный путь. Хотя вероятно вы могли бы мне объяснить, почему именно он неправилен (ибо тут есть что-то странное, неуловимое, заставляющее вас сердиться), и тогда мне было бы ясно выше нежелание отвечать?

— Мог бы, — сказал Фальтер, — но это было бы равносильно раскрытию сути, то есть как раз тому, чему вы от меня не добьётесь»⁶⁴⁶.

* * * * *

После ещё одного «львиного» «Нет!» Фальтера, Синеусов отправляется, хромая, по другому пути — пути «Потусторонников», *die Hinterweltern* из *Так говорил Заратустра*:

«Вы повторяетесь, Фальтер [**а весь диалог просто соткан из повторений, намеренно, будем надеяться на лучшее — неподверженность Набокова парéνθυρσov <А.Л.>]. Неужели вы будете так же изворачиваться, если я, скажем, спрошу, можно ли рассчитывать на загробную жизнь»⁶⁴⁷. Так находит желаемый выход синеусовская ностальгия по слиянию, — хоть в царстве Персефоны! — с частями, изъятыми у него, из него, Божественными молнией и злорадством.**

Непрочность «разумности» выявляется Набоковым: его «осколок человека» Синеусов стремится придать своей «разумной» мечте стабильность, гарантию коей ищет он в подтверждениях «сумасшедшего» Фальтера. И если обращение по-ту-сторону-мира — в *Hinter-Welt*, «...вниз, в мрак и глубину, — ко злу ...»⁶⁴⁸ (о, этот наитрагичнейший русский язык!) — последняя карта «осколка человека», то выбор ницшеанцем-Набоковым темы, которой завершится весь этот этап конфронтации Синеусова с Фальтером не случаен: глава «О потусторонниках» — первая речь, где Заратустра вещает о «разорванном человеке», измышляющем несовершенного, — сиречь по своему образу и подобию скроенного, —

⁶⁴³ Ibid., с. 652.

⁶⁴⁴ Ibid., с. 33 — 34.

⁶⁴⁵ Ibid., с. 259.

⁶⁴⁶ Владимир Набоков, *Ultima Thule, op. cit.*, т. 4, с. 458.

⁶⁴⁷ Ibid.

⁶⁴⁸ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра, op. cit.*, т. 2, с. 30.

«Бога». Вот что говорит перс в «Потусторонниках» о «чандаловеке» с его кумиром и «миром» кумира; каждое Заратустрово слово есть подтверждение того, о чём я повествую на страницах этой дерзкой поэмы, где также идёт речь о «любви», этом запахе материала склеивающего тела и жаждуемого токсикоманами-«осколками человека» до конца сохраняющимися, всё-таки, сократическую верность «разумности»:

«Отвратить взор свой от себя захотел Творец – и тогда создал он мир.

Опьяняющей радостью служит для страдающего – отвратить взор от страдания своего и забыться»⁶⁴⁹.

Der Schaffende предстаёт у Ницше страдальцем, а его создание не может не нести следы мук, ибо оно – отражение собственного творца во времени и пространстве. Глубже погружает свой взор Заратустра в мир и, замечает, что Бог – тот самый, заглавно-буквенный, за которым Синеусов готовится охотиться даже в Стигийских лесах (собирая, покамест, сведения о дичи), этот «Бог» – лишь слепок несовершенного «человека». И Заратустра раскрывает своим «братьям-воинам»⁶⁵⁰ <из касты брахманов> (к числу коих Ницше относит и себя самого, ибо можно проследить его родственную связь с Заратустрой, благодаря Дионисическо-креативной оплошности: «– Поистине, брат мой! – отвечал Заратустра. – Это сокровище, подаренное мне: это маленькая истина, что несу я»⁶⁵¹) все несовершенные понятия: «человек» <«осколок человека»> = <заглавнобуквенный> «Бог» <осколок человека> = рваный «мир» <осколок человека>. Ритм и построение Заратустровой фразы, как и полагается – гераклитовские, словно их вечный, как веретено Анаanke, стержень был позаимствован из обрывков эфесских фраз:

«Этот мир, вечно несовершенный, отражение вечного противоречия и несовершенный образ – опьяняющая радость для его несовершенного Творца, – таким казался мне некогда мир.

Итак, однажды устремил и я свою мечту по ту сторону человека, подобно всем потусторонникам. Правда ли, по ту сторону человека?

Ах, братья мои, этот Бог, которого я создал [создал сам Заратустра, снизошедши до Hinterweltern! <А.Л.>] был человеческим творением и человеческим безумием, подобно всем богам»⁶⁵².

Ох, тяжёлёхонько вынести «осколку человека» своё разорванное несовершенство! Слишком слаб он даже для того, чтобы взглянуть, – и тотчас в ужасе отвести взор от него, – на своё отражение. Если же он осмеливается посмотреть на себя в зеркало, то собственный образ принимается неотступно, словно Эринии гелиосову колесницу отклонившуюся от проторенной Митрой стези, преследовать «осколка человека», карая его за андрогиново преступление – поднять руку на всемогущество Зевса-жизни, – преступление, которое дурно не потому, что было совершено, но лишь затем, что оно не увенчалось успехом: попытка обозреть себя есть разведка – соглядатайство, как первый этап военных действий. А в войнах надо побеждать.

Для того чтобы забыться ищет «осколок человека» опьянения на свой лад, опьянения «осколочного» – не краткосрочного врывчатого контакта с Дионисом, но перманентного самозабвения, подлинного ύβρις'a. Вот она, последняя предсмертная слабость «осколка человека». Ибо, если ностальгия по прежнему сложному андрогиновому состоянию толкает его на поиск отнятых у него частей, то, принимаясь искать постоянного опьянения, – ещё более деградирует «осколок человека», всё ниже опускается он, в *Hinter-Welt*, к «Потусторонникам», где, в действительности, не найти ему ни единого из оторванных от него «осколков». В этом, кстати, зиждется причина русского алкогольного ύβρις'a, и немудрено: волею случая оказаться столь близко – как ни один после-Периклесовый народ! – от Эллады, от языка Гомера! Овладеть центром равновесия Евразии разлинованной Дионисовыми путями, и, в то же время, снова и снова упускать и Бога, и Божественную паузу, беспрестанно сталкивать к «Потусторонникам» дух Эсхила и изгонять раскаявшегося, порвавшего с Сократом Еврипида, другими словами – так и не дать трагедии повторно угодить в цель русской стрелой. Как же тут не забыться, погрязнувши в *около-вакхическом*, псевдо-Дионисовом излишестве!? Потому пьянящая жидкость Деметры подменяет колоссальному телу – русскому народу – способ достижения забвения, достигаемого у других, западных рас, одним лишь «запахом смазки», столь

⁶⁴⁹ *Ibid.*, с. 21 – 22.

⁶⁵⁰ «Братья мои по войне! Я люблю вас до глубины души ...»: *Ibid.*, с. 33.

⁶⁵¹ *Ibid.*, с. 47.

⁶⁵² *Ibid.*, с. 22.

жаждуемой «осколками человека». Мощь жажды опьянения москвитян столь велика, что иссякает она *по ту* — юго-юго-восточную — *сторону русских*, и «человеческая» волна обрушивается в самую гущу наций не приемлющих ни капли даже самого слабого хмеля. Хотя, вскоре, быть может, русский λόγος воссоединит в себе и Бога, и Евразию, и трагического поэта с эпической прожилкой — где-нибудь за пределами России: преподнесём же на этот раз в *дар* Божественному случаю свободу — многоточием...

* * * * *

Желанное перманентное опьянение находит «осколок человека» в средствах, предлагаемых «александрийской культурой» — безудержный оптимизм познания уносит «осколка человека» прочь от самого себя; вера в добродетель «человека» и равенство «людей» перед этой добродетелью, — которой, якобы, *можно научиться* — вот гамма токсических запахов, жаждущих «осколками человека». Все два с половиной тысячелетия пост-платонизма предоставляют «осколку человека» данный, так или иначе сконцентрированный наркотик, извлечённый алхимиком-Сократом из своего «не-греческого» разума⁶⁵³.

«Осколок человека», находясь в эйфорическом состоянии после вприскивания в него «равенства» грезит себя более сложным, и, следовательно — «равным более сложному». Но в то же время ужас продолжает скывать его члены при одной только мысли — взглянуть на себя. Перманентный страх заставляет его вести себя диаметрально противоположно «осколкам» способным воплотиться в высшее создание: он уже не ищет оторванных частей, но жаждет *трения* с другими «осколками человека» — трения бесполезного, ибо оно ни в коем случае не завершится единением под эгидой Бога. Порочный круг создан; «человек» заперт в него. Отныне, доза страха содержащегося в крови «осколков человека», возрастает в десятки раз, более того: становится необоримым ужасом, лишь только вновь оказываются «осколки человека» перед зеркалом. Калибан отворачивается от отражения собственного лица. Начинается *иллетризм*.

⁶⁵³ «Сократ по своему происхождению принадлежал к низшим слоям народа: Сократ был черню. Нам известно, мы даже видим это, как безобразен был он. Но безобразие, являющееся само по себе возражением, служит у греков почти опровержением. Был ли Сократ вообще греком?»: Фридрих Ницше, *Сумерки идолов, или как философствуют молотом*, *op. cit.*, т. 2, с. 564.

Подобный экстаз, вызываемый оптимистическим самозабвением — трением сотен, тысяч «людских осколков» — гораздо более велик, чем удовольствие от полового акта вдвоём. Превышает он и оргазм акта соития *тринадцати* «осколков человека». Это число, кстати, Набоков постоянно силится превзойти, *очеловечив* тринадцать «осколков человека» линкеевым взором своих «Высших людей» и, конечно, тотчас подчёркивая факт превосходства этих «Высших», особенно ежели *очеловечиваются* ими «осколки» азиатские, тем самым воспитателю-Ницше дорогие:

«На одной наиболее яркой и дорогой по исполнению картинке монголка с овальной тупой физиономией и с какой-то жуткой высокоценной причёской совокуплялась с шестёркой довольно упитанных гимназистов с бесцветными лицами среди чего-то, напоминавшего витрину магазина со всякими ширмочками, цветами в горшочках, шелками, бумажными веерами и фаянсовой посудой. Трое, искривившиеся в позах, явно для себя неудобных, одновременно воспользовались тремя основными входами в плоть распутницы; двое клиентов постарше обслуживались ею вручную; шестому, карлику, пришлось довольствоваться её корявой ступнёй. Шестеро других сластолюбцев одновременно обрабатывали её партнёров сзади, а ещё один сумел внедриться ей под мышку. Дядюшка Дэн, терпеливо распутав взглядом весь этот клубок конечностей и жировых складок, прямо или косвенно связанных с сохраняющей полную невозмутимость дамочкой (на которой задержались кое-какие остатки одежды), вывел карандашом стоимость этой открытки, озаглавив её: „Гейша с тринадцатью любовниками“. Между тем Ван разглядел четырнадцатый пупок, выведенный щедрой рукой художника, однако не смог отыскать его анатомическое продолжение»⁶⁵⁴, — всему своё время, ибо, гораздо ранее, по-иному подготавливаясь к многочастивому слиянию, изрядно руссифицированный немец Эрвин не достигнул единения с тринадцатью «осколками»: к двенадцатому часу ночи, начиная с двенадцати часов дня (что, как говаривал Заратустра, одно и то же) бедняга набрал двенадцать женщин. «Если же не удался человек — ну что ж!»⁶⁵⁵ — точно так же, как Заратустра, пожалевший о расчленении «человека» (как

⁶⁵⁴ Владимир Набоков, *Ада или страсть*, *op. cit.*, с. 136 — 137.

⁶⁵⁵ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 211.

некогда Земля, услышавшая <лживую> весть об убийстве Великого Пана), по-персидски подытоживают нереализовавшуюся *Сказку* единения персонажи Набокова-нищееанца, позимствовавшего имени героев рассказа из окружения Ницше: *Эрвин Роде* и *Луиза Отт* – парижская корреспондентка, коей философ запоем сетовал на *муки одиночества* за несколько лет до *выздоровления* с помощью Заратустры⁶⁵⁶:

« – Чёт, – усмехнулся Эрвин, поводя пальцем по пыльной дверце.
– Знаю, знаю, – равнодушно ответила госпожа Отт. – Тринадцатая оказалась первой, Да, у вас это дело не вышло.
– Жалко, – сказал Эрвин.
– Жалко отозвалась госпожа Отт.
– Впрочем всё равно, – сказал Эрвин.
– Всё равно, – подтвердила она и зевнула»⁶⁵⁷.

Кольцо заперло «осколка человека». Круг завершён: «Тринадцатая оказалась первой». Неотвратим закон кольца, давящий над «осколками человека», хмельными без вмешательства Бога, – или обворовавшие его, – но из-за предвкушения запаха крови, мнящими себя слитыми в сверх-сложное существо. Состояние это обманчиво: «осколки человека» остаются лишь суммой несовершенств, жаждущих контакта, *трения* друг о друга, стремящихся к забвению в наслаждении, состоящем в получении «разума» своего «ближнего»⁶⁵⁸, – уж не этот ли тип «разумности» начал воспитывать эротик Сократ на оголённых, после изгнания Диониса, эrogenных зонах Европы?

Но существует и определённая форма превосходства, свойственная самозабвенной, запертой в круг толпе чандаловеков – эта толпа уже не простой шмат «человека», но – колоссальный сгусток страдания, дарующий ей определённую чувствительность – способность выявить присутствие более сложных существ.

⁶⁵⁶ «Frau Louise Ott mit den ergebensten Grüßen und Wünschen ihres Dieners Friedr. Nietzsche (Krank, schweigsam, allein, doch muthig, mitunter glücklich, fast immer ruhig – es geht schon! es geht schon! – und trotzdem, liebes Schicksal! ein klein wenig mehr Sonnenschein! bitte! bitte! –)»: Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Briefe* Kritische Studienausgabe, „An Louise Ott in Paris“, Basel am Ende des Jahres 1878, op. cit., Band 8, S. 596. Курсив Фридриха Ницше.

⁶⁵⁷ Владимир Набоков, *Сказка*, op. cit., т. 1, с. 319.

⁶⁵⁸ «Когда сто человек стоят друг возле друга, каждый теряет свой рассудок и получает какой-то другой.»: Фридрих Ницше, *Злая мудрость, афоризмы и изречения*, op. cit., т. 1, с. 766.

Будто ужаленный тарантулом огромный кус мук, движется свора «чандаловеков», и *разрывается* брахман, имеющий несчастье попасться ей на пути; также стая «александрийских библиотекарей» – сократических «учёных», насквозь пропитанных тарантуловым ядом, – рвёт созидателя, выражая таким образом свой инстинктивный порыв сделать его, артиста-брахмана, равным себе, сфабриковать из него ещё одно подобие прочим мучающимся шматам «человечьего» мяса. В процессе расчленения брахмана толпой трение меж «осколками человека» усиливается – краткосрочная стадия наслаждения сменяет стадию мук. И Набоков знает об этом, как всякий брахман чует инстинктивную чандалю ненависть и подбирает, при приближении представителей этой касты, кончики сложной разгильдяйки – гильдии высшей! – души. В 1936 году, в нищееанском упражнении в стрельбе перед *Даром* – рассказе, названном, конечно же, *Круг*, – Набоков отмечает ощущение сладострастия, этот сок, выделяемый обычно средним чандалой в предвкушении процесса трения о других «осколков человека» и в надежде на расчленения брахмана. В *Круге* первичным симптомом «уровневой ненависти» чандалы является именно *сладострастное сжатие челюстей* (чью силу столь неудачно продемонстрировал Пьер Цинциннату), – уж не подобная ли судорога исказила некогда черты лица тайного сластолюбца Пенфея, который, одураченный Дионисом, вознамерился посягнуть на тайны менад. Вот как описывает истинно *невинный* чандалий рефлекс нищееанский физиолог Набоков: «Так, ему [Иннокентию <А.Л.>] казалось омерзительным всё, что окружало летнюю жизнь Годуновых-Чердынцевых, – скажем, их челядь, – „челядь“, повторял он, сжимая челюсти, со сладострастным отращиванием»⁶⁵⁹, – да и что с него взять, с Иннокентия-то Ильича! Даже фамилия его не «Бык»: такого стоит лишь назвать – волей-неволей восславишь Диониса! Иннокентий всего-навсего – «Бычков»⁶⁶⁰!

* * * * *

Именно дьявольской похотью объясняется появление в последние два столетия новых предлогов для того, чтобы «осколки человека»

⁶⁵⁹ Владимир Набоков, *Круг*, op. cit., т. 4, с. 326.

⁶⁶⁰ «...покойный его отец, Илья Ильич Бычков, le maître d'école chez nous au village ...»: *Ibid.*, с. 322.

были брошены на трение друг с другом — на создание новых форм толпы: среди народов Европы, так или иначе наследовавших Элладе, возникают «социализмы», «ислам», «экологизмы», «феминизмы» и прочие «терроризмы республиканские». Вливаясь в эти заранее сфабрикованные формы и забываясь в них, «осколки человека», как прежде его александрийские предтечи, ощущают себя полноправными частями целого, а потому *имеющими право* на «добродетель» наравне с прямыми отпрысками Тезея или Кадма.

Отныне «осколок человека» уже не воплощает возможность воспользоваться счастливым случаем — для этого ему опять же необходимо мужество взглянуть на себя, — теперь он не более чем, или «пролетарий», или «женщина», или «часть природы», или «мусульманин», или же *δῆμος*, навязывающий высшим созданиям своё насилие — преддверие тирании⁶⁶¹. Такие «осколки человека» окончательно утрачивают физиологическую способность разглядывания звёзд, теряют лёгкость, сиречь уподобляются духу тяжести, а ведут их к уготовленным им тюрьмам-формам *«das Sozialisten-Gesindel, die Tschandala-Apostel»*⁶⁶²: *«Кого более всего ненавижу я между теперешней сволочью? Сволочь социалистическую, апостолов чандалы, которые хоронят инстинкт, удовольствие, чувство удовлетворения рабочего с его малым бытием, — которые делают его завистливым, учат его мести... Нет несправедливости в неравных правах, несправедливость в притязании на „равные” права... Что дурно? Но я уже сказал это: всё, что происходит из слабости, из зависти, из мести.»*⁶⁶³ — сколь важны для диагноза философа-врача ощущаемое «осколками человека» удовольствие, которое вовсе не стоит путать с поиском наркотического забвения! Излечит же «человека» тот, кто отнимет право на иступлённое (однако *невакхическое*) желание «рваных» стать «равными» с цельными. И не начать ли этот процесс оздоровления с избавления «осколков человека» от права на трение, от тиранических спазмов удовольствия принятия *участия частей* в управлении чем-то (уж не самими ли собой, упаси Господь!?!), а именно — предоставить им на поверхности «Семелы»

⁶⁶¹ «— Так вот, тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как из демократии; иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство.»: Платон, *Государство* VIII, 564 е, *op. cit.*, т. 1, с. 381.

⁶⁶² Friedrich Nietzsche, *Der Antichrist*, *op. cit.*, Band 6, S. 244.

⁶⁶³ Фридрих Ницше, *Антихрист*, *op. cit.*, т. 2, с. 686. Курсив Фридриха Ницше.

воплощение небесного единства, стабильности, брахманской неподвижности, чистоты.

Мысль Рене Жирара о Христе — избавителе от перманентной необходимости «козла отпущения» — верна, истинностью своею повторяя, впрочем, *ощущения* Фридриха Ницше. Вместе с тем новоиспечённый академик не доводит свою мысль до конца — даже в *Palais de l'Institut* просочилось зелье «равенства». Слишком брахманский *завет* принёс Христос из Индии в Палестину: царство небесное, обещанное Назореянином⁶⁶⁴ — есть, на деле, царство земного высшего здоровья, начинающегося для каждого человекоподобного в нём самом; царство сверх-чистоты, существование коей чандала чует превосходно в другом, в высшем существе, и это ощущение чуждой чистоты вызывает у чандалы единственный рефлекс — рвать! Рвать брахмана на куски, в крайнем случае распиная его! Ибо, как верно заметил Заратустра, истина в том, что *«люди не равны»*⁶⁶⁵.

И пока тысячи священных случаев не произведут рядом с избранными «людьми» столь необходимых Дионисических спазмочек Вселенной, — до тех пор Завет Христа останется непропетым. А ведь ещё немного, и Иисус мог подытожить новые истины, вывести новый Божественный баланс своим тенором, мелодичный, лучезарный, отмеченный земной правдой — правдой о неравенстве, правдой о необходимости огородить избранных для созревания, там, где до Христа также зрели, но не поспели, Адам со своей спутницей, сделавшие попытку слияния неверного, а потому разорванные, изгнанные прочь за Limes «парадейзы», обречённые огненным мечом на участь осколков — да! остракизм есть худшая из кар, коей некогда могли подвергнуться брахманы.

И то верно: не дождался этот иудей возраста проповедника! Ибо в тридцать лет надо иметь достаточно мускулистые ноги для восхождения на гору, а потом, начав проповедывать лишь через десять лет, не растратить жар в икрах, чтобы удирать, когда взбредёт в голову, к вечным снегам от звенящих кошельми апостолов.

⁶⁶⁴ «Евангелие от Матфея», гл. 18, 3. «... истинно говорю я вам, если не обратитесь, и не будете как дети, не войдёте в царство небесное.».

⁶⁶⁵ «Я не хочу, чтобы меня смешивали и ставили наравне с этими проповедниками равенства. Ибо как говорит ко мне справедливость: „люди не равны”.

И они не должны быть равны! Чем была бы моя любовь к сверхчеловеку, если бы я говорил иначе?»: Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 72. Курсив Фридриха Ницше.

Стоп! Здесь моим словам необходима иллюстрация. Откуда бы мне её позаимствовать? Предпочтительнее будет обратиться к ницшеанскому роману, упомянутому мною покамест в этой книге лишь однажды, ради представления типа идеальнейшего «александрийского библиотекаря» — последней стадии мутации диалектика, библиотекаря тюрьмы: напоследок всегда оставляется самое лакомое блюдо («печень врага!», восторгается древний воин, дремлющий в каждом из номадов-аристократов). Раскроем же Приглашение на казнь, приправив его, для пикантности, специями из Лолиты.

* * * * *

Цинциннат — хоть и попытались «осколки человека» его сократить до своего подобия, ни в коей мере «Сократиком» называться не может, и к афинскому болтуну отношения не имеет ни малейшего — даже если пресловутая мать его и «акушерочка»⁶⁶⁶. Никогда не помогал Цинциннат разрешаться родами «человеческому» разуму, не снисходил он до «человеков» вообще, — «куклами» называл он их. Я же предпочитаю и далее придерживаться моего прежнего, куда более подходящего термина — «осколки человека».

Совсем в другом, далёком от евангельского луча, свете следует искать отца Цинцинната, зачатого, естественно, ночью, когда расцветают по планете и вьются иступленно в волосах Семелы менады, да бассариды. Итак кто он, отец Цинцинната? Мореход ли, или друг мореходов? но уж точно, что не вифлеемский мирный плотник! Гекатор ли — единственный из всей тирренской банда не утеревший «человеческого» облика? Или странник, а быть может и его тень, наделённая впоследствии Набоковым голосом, поэтическим даром да сожжённая различным в ночи бледным пламенем? Будучи ребёнком, Цинциннат встречается с оной тенью, навесившей сына, выждавши, как добрый охотник в затыне, пока «осколки человека» удалятся, а Цинциннат окажется надёжно окован Аполлоном, и наступит «полдень-полночь»:

«Когда-то в детстве, на далёкой школьной площадке, отбившись от прочих, — а может быть, мне это только приснилось, — я попал знойным полднем в сонный городок, до того сонный, что когда че-

⁶⁶⁶ «— Не беспокойтесь, — сказал директор, подняв ладонь, — эта акушерочка совершенно нам не опасна. Назад!»: Владимир Набоков, *Приглашение на казнь*, op. cit., т. 4, с. 78.

ловек, дремавший на завалинке под яркой белёной стеной, наконец встал, чтобы проводить меня до околицы, его синяя тень на стене не сразу за ним последовала... о, знаю, знаю, что тут с моей стороны был недосмотр, ошибка, что вовсе тень не замешкалась, а просто, скажем, зацепилась за шероховатость стены...»⁶⁶⁷.

Итак, кто отец Цинцинната, лучший вакхант, или сам Бог? That is the question! Я отвечаю, Цинциннат — сын Сына Бога, зачатый в одно из рысканий Диониса по Земле: «Неужели он так-таки исчез в темноте ночи, и вы никогда не узнали, ни кто он, ни откуда — это странно...

— Только голос, — лица не видела, — ответила она всё также тихо.

— Во, во, подыграйте мне, я думаю, мы его сделает странником, беглым матросом, — с тоской продолжал Цинциннат, прищёлкивая пальцами, и шагая, шагая: — загулявшим ремесленником, плотником...»⁶⁶⁸. — От Диониса досталась Цинциннату его ночная сущность, вакхическое, непроницаемое для несовершенного взора «осколков человека» тело, тотальный гераклитизм, за всё это «осколки» его, кстати, и казнят, то бишь пытаются, чандалы. Ха!

«Он не сердился на доносчиков, но те умножились и, мужая, становились страшны. В сущности тёмный для них, как будто был вырезан из кубической сажени ночи, непроницаемый Цинциннат поворачивался туда-сюда, ловя лучи, с панической поспешностью, стараясь так стать, чтобы казаться светопроводным»⁶⁶⁹ — да! сызнова к помощи плодороднейшего Пана, трагоногого спутника Диониса, прибегает Цинциннат — вакхическое, суть полуночное создание, спасается от света у беса полуденного; Ich bin eine Nuance, — может прибавить Набоков.

Ах, эта планета эпохи Цинцинната! «Калеки» — единственные кто отрывается от Земли, да и то по праздникам, и на разжиревшем буржуа-самолёте⁶⁷⁰; человекообразные распадаются на части постоянно и, расчленяясь, умножаются (*«Голосок: „Аркадий Ильич, посмотрите на*

⁶⁶⁷ Ibid., с. 29.

⁶⁶⁸ Ibid., с. 76.

⁶⁶⁹ Ibid., с. 13.

⁶⁷⁰ «... за изгибом Стропи виднелись наполовину заросшие очертания аэродрома и строение, где содержался почтенный, дряхлый, с рыжими, в пёстрых заплатках, крыльями, самолёт, который ещё иногда пускался по праздникам, — главным образом для развлечения калек.»: Ibid., с. 24.

Цинцинната...” Он не сердился на доносчиков, но те умножились и, мужая, становились страшны»⁶⁷¹) таит в себе подлую, с сикофантской начинкой, угрозу:

«Цинциннат понемножку перестал следить за собой вовсе, — и однажды, на каком-то открытом собрании в городском парке, вдруг пробежала тревога, и один произнёс громким голосом: „Горожане, среди нас находится —” тут последовало страшное, почти забытое слово, — и налетел ветер на акации, — и Цинциннат не нашёл ничего лучше, как встать и удалиться, рассеянно срывая листики с придорожных кустов. А спустя десять дней он был взят»⁶⁷².

А ведь так хотелось ему, Цинциннату, усложниться, стать более-чем-андрогином, слиться с Марфинькой, вобрать в себя этот презренный, но столь желанный инвалидо-духий осколок, превратиться в «Высшего человека» à la нищеанец Набоков. Не умудрённому Дионисом Цинциннату не известно ещё, что не с ней, и не у Потусторонников, а здесь, на Земле предстоит ему таинство: «Наперекор всему я любил тебя, и буду любить — на коленях, со сведёнными назад плечами, пятки показывая кату и напрягая гусиную шею, — всё равно, даже тогда. И после, — может быть, больше всего именно после, буду тебя любить, — и когда-нибудь состоится между нами истинное, исчерпывающее объяснение, — тогда уж как-нибудь мы сложимся с тобой, приставим себя друг к дружке (sic.), решим головоломку: провести из такой-то точки в такую-то... чтобы ни разу... или — не отнимая карандаша... или ещё как-нибудь... соединим, и получится из меня и из тебя тот единственный наш узор, по которому я тоскую»⁶⁷³ — Ну чем не андрогин!? Чем не тоска по «Сверх-человеку»!?

Ведь ежели Цинциннат максимально приближён к качеству «Высшего человека», ежели он способен учуять Вселенную во всех её нюансах своими совершенными, «другими» органами, а потому является единственно живым, — Цинциннат не простой, — настаивает Набоков («Я не простой... я тот, который жив среди вас... Не только мои глаза другие, и слух, и вкус, — не только обоняние, как у оленя, я осязание, как у не-

топыря, — но главное: дар сочетать всё это в одной точке...»⁶⁷⁴), то Марфинька, наоборот, — проста, — являясь слепком и одновременно частью «осколочного мира», и, следовательно, попадая в рамки цинциннатова космоса, жива лишь частично:

«Я уже не могу собрать Марфиньку в том виде, в каком встретил её в первый раз, но помнится, сразу заметил, что она приоткрывает рот за секунду до смеха, — и круглые карие глаза, и коралловые серёжки, — ах, как хотелось бы сейчас воспроизвести её такой, совсем новенькой и ещё твёрдой, — а потом постепенное смягчение, и складочка между щекой и шеей, когда она поворачивала голову ко мне, уже потеплевшая, почти живая. Её мир. Её мир состоит из простых частиц, просто соединённых; простейший рецепт поваренной книги сложнее, пожалуй этого мира, который она, напевая, печёт, — каждый день для себя, для меня, для всех»⁶⁷⁵.

Но покамест Цинциннат страдает «осколку человека», чандала безжалостно завлекает его в кольцо собственного изобретения, Цинциннат порабощается, превращается в не-взрывчатое существо — в «учёного», щёлкающего орехи счетовода грехов («Слишком долго сидела моя душа голодной за их столом; не научился я, подобно им, познанию, как щёлканью орехов»⁶⁷⁶), в мученика-соглядатая того, как его жена, сливаясь на время с другим «осколком человека», становится частью монстра, тотчас, кстати обрезанного взором Цинцинната поперёк туловища, как перуном:

«Сосчитать, сколько было у неё... Вечная попытка: говорить за обедом с тем или другим её любовником, казаться весёлым, щёлкать орехи, приговаривать, — смертельно бояться нагнуться, чтобы случайно под столом не увидеть нижней части чудовища, верняя часть которого, вполне благообразная, представляла собою молодую женщину и молодого мужчину, видных по пояс за столом, спокойно питающихся и болтающих, — нижняя часть это — четырёхное нечто, свивающееся, бешеное...»⁶⁷⁷.

⁶⁷⁴ Ibid., с. 29.

⁶⁷⁵ Ibid., с. 35.

⁶⁷⁶ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, op. cit., т. 2, с. 90. См. также об учёных — поедателях орехов у Набокова: Анатолий Ливри, *Набоков нищеанец*, op. cit., с. 125 — 128.

⁶⁷⁷ Владимир Набоков, *Приглашение на казнь*, op. cit., т. 4., с. 35 — 36.

⁶⁷¹ Ibid., с. 13.

⁶⁷² Ibid., с. 17.

⁶⁷³ Ibid., с. 33 — 34.

Марфинька — последняя «осколочная» попытка Цинцинната. После неё прекратит он свой титанический порыв во благо «человеку», оставит Тезееву надежду заполучить непочатую, чистую, и вобщем-то никчемную Елену — благо карикатурные Диоскуры под рукой, и даже навещают Цинцинната в тюрьме: «... *братья Марфиньки, — близницы, совершенно схожие, но один с золотыми усами, а другой с смоляными ...*»⁶⁷⁸. Впоследствии Набоков изобразит уже другого оптимистического неудачно склеенного — любителя скороспелых фиг Гумберта-эллиниста⁶⁷⁹, «старомодного европейца» и обладателя «*сильных ногтей*». Этому даже не по нутру дожидаться вызревания своей опьяняющей Лолиты: взять её тотчас, вывернуть на изнанку да выпитать, — несмотря на все Зевесовы препоны — и лозу духа, и будущий плодоносный орган:

«Упрекаю природу только в одном — в том, что я не мог, как хотелось бы, вывернуть мою Лолиту на изнанку и приложить жадные губы к молодой маточке, неизвестному сердцу, перламутровой печени, морскому винограду лёгких, чете милых почек!»⁶⁸⁰.

И только потом, уже сыгравши роль Аполлона в погоне за своей, чуть ли не из яслей украденной тёлкой, и повстречав её, повзрослевшую, с поспевающим плодом в чреве, Гумберт понимает, что Лолита необходима ему лишь в качестве недостающего «осколка человека». Тотчас следует предложение о побеге — последняя попытка подчинить себе случай: «*Нет, нет. Ты меня превратно поняла. Я хочу, чтобы ты покинула своего случайного Дика и эту страшную дыру и переехала ко мне — жить со мной, умереть со мной, всё всё со мной.*»⁶⁸¹.

Оказывается, «осколок»-Гумберт перезрел, сок его перебродил в его виноградном мясе, таящем покоробленные тленом косточки под сгнившей кожей с приторным душком. Время ушло, и Бог не желает более ни Гумберта, ни Лолиты. Первый совершает *преступление* — приводящее его за решётку, а после — к Потусторонникам. Лолита же умирает. Конечно, от родов. И замысловатый бог, который впоследствии с прак-

сительной настойчивостью нянчил Диониса, может смело натягивать лолитину шкурку на черепаший панцирь.

Что до «Цинцинната-уже-почти-Высшего-человека», плоть от Плоти Дионисовой, то он, пророчесствует, воспроизводит на своих разлетающихся по разрушаемой тюрьме листьях хитросплетения Λόγος'а необычайные. Стиль Цинцинната превосходен, ритмичен, всё мощнее совершенствуется он по мере приближения праздника Пасхи, точно личинка в предчувствии окукливания неистово наращивает качество своего тела. Только Бог пооткусывал окончания Цинциннатовых строф, — поймите это, куклы! Но скоро, скоро, очень скоро восполнит он промежутки драгоценного созидания — тогда, когда воссоединится, под эгидой Диониса, со своей ещё большей телесной частью, блуждающей, до поры до времени, где-то в пустыне, среди оазисов: «*Речь будет сейчас о драгоценности Цинцинната; о его плотской неполноте; о том, что главная его часть находится совсем в другом месте, а тут, недоумевая, блуждала лишь незначительная доля его ...*»⁶⁸².

Однако, покамест, обкарнанное мясо цинциннатовых фраз Дионисовой клыко-молнией это — Гомерово молчание, внезапная пауза Эсхила, скобки элевсинской недоговорённости, урчание сверх-мысли в одном из желудков Хазара, отрыгивающего проглоченное, и снова мерно жующего свою тысячилетнюю жвачку. Короче — не для «человека» пишет Цинциннат. Своим «*пьяным*»⁶⁸³ почерком славит он Господа Бога своего, превозносит Всевышнего нашего на одном с Богом языке — тотальном, лишь нами ощущаемом Λόγος'е, который никогда не рождался, который никогда не исчезнет, который вобрал нас, и вечно будем мы возвращаться в его бледном пламени, вспыхивать и излучать вечные звуки, от которых у чандалы сводит челюсти, и рождается в нём неизбывная охота расчленивать нас до образа и подобия своего:

«*Нет, я ещё ничего не сказал или сказал только книжное... и в конце концов следовало бы бросить и я бросил бы, ежели трудился бы для кого-либо сейчас существующего, но так как нет в мире ни одного человека, говорящего на моём языке; или короче: ни одного человека, говорящего; или ещё короче: ни одного человека, то заботиться мне приходится только о себе, о той силе, которая нудит высказаться*»⁶⁸⁴.

⁶⁷⁸ Ibid., с. 55 — 56.

⁶⁷⁹ См. Анатолий Ливри, *Набоков ницшеанец*, *op. cit.*, с. 211 — 216.

⁶⁸⁰ Владимир Набоков, *Лолита*, *op. cit.*, с. 168.

⁶⁸¹ Ibid., с. 271.

⁶⁸² Владимир Набоков, *Приглашение на казнь*, *op. cit.*, т. 4, с. 68.

⁶⁸³ «... почерк мой — видишь — как пьяный...»: Ibid., с. 82.

⁶⁸⁴ Ibid., с. 53 — 54.

Цинциннату достаточно своего тела; ни к чему ему книга на Заратустровом языке, случайно принесённая ему перед «казнью» тюремным библиотекарем, естественно, подчёркивает нищееанец Набоков, — самым человекообразным из «осколков человека»! *«Цинциннату, однако, сдавалось, что вместе с пылью книг на нём [библиотекаре <А.Л.>] осел налёт чего-то отдалённо человеческого»*⁶⁸⁵.

В течении трёх десятилетий вызревал Цинциннат для ножа виноградаря, в отличие от Гумберта, оставаясь упругим, нежным, способным к самопреобразованию — ребёнком: *«Цинциннат мог сойти за болезненного отрока, — даже его затылок, с длинной выемкой и хвостиком мокрых волос был мальчишеский — и на редкость сподручный»*⁶⁸⁶.

Точно также, в отличие от Гумберта, притягивает Цинциннат к себе куда более ладную, чем Лолита, более симметрично названную, чем американочка — дочь директора тюрьмы по имени Эмма. Как и Гумберт свою Лолиту (в эгоистических целях), и Фальтер своих «детей» в момент непростительной оптимистической слабости духа, Цинциннат мечтает воспитать девочку, свою потенциальную спасительницу (способную «напоить сторожей» вакхическим даром) при условии, что её духовное развитие затормозится на высшей — ребяческой — стадии духа. Трижды, на древний лад, закликает Цинциннат гераклитов случай словом «ребёнок»:

Ср. в Лолите: «Долорес, с двумя ракетками под мышкой в Вимблдон (1952), Долорес на рекламе папирос «Дромадер» (1960), Долорес ставшая профессионалкой (1961), Долорес, играющая чемпионку тенниса в кинодраме (1962). Долорес и её седой, смиренный, притихший муж, бывший её тренер, престарелый Гумберг.»⁶⁸⁷.

Ср. в *Ultima Thule*: «... но думалось мне, нельзя ли воспитать новое поколение знающих, т.е. не обратиться ли к детям»⁶⁸⁸.

Ср. в Приглашении на казнь: *«Когда она сегодня примчалась, — ещё ребёнок, — вот что я хочу сказать, — ещё ребёнок, с какими-то лазейками для мысли, — я подумал словами древних стихов — напоила бы сторожей... спасла бы меня. Кабы вот таким ре-*

*бёнком осталась, а вместе повзрослела, поняла, — и вот удалось бы: горящие щёки, чёрная ночь, спасение, спасение...»*⁶⁸⁹ — удался бы пасьянс?!

Воссоединение с «осколком» созревшим телесно, и защитившим ребяческий дух? Да, но только не такое простенькое воссоединение! Ибо ты, Цинциннат, сын Божий, Внук Зевесов. Тебе предстоит другое связывание и развязывание, нищевское, горное да оазисное — у Зулейки с Дуду, некогда принявших странника в своём пустынном шатре да вдохновивших на песнь тень Заратустры: *«И напрасно я повторяю что в мире нет мне приюта... Есть! Найду я! В пустыне цветущая балка! Немного снегу в тени горной скалы!»*⁶⁹⁰ — туда позже добрался Чердынцев младший⁶⁹¹.

Монолог Цинцинната на листе — точно диалог Заратустры с одним из «осколков» «Высшего человека», завершившийся тройным отрицательным утверждением:

*«Так вздыхал прорицатель; но при последнем вздохе его сделался Заратустра опять весел и уверен, как некто из глубокой пропасти выходящий на свет. „Нет! Нет! Трижды нет! — воскликнул он твёрдым голосом и погладил себе бороду. — Это знаю я лучше! Существуют ещё блаженные острова! Не говори об этом, ты, вздыхающий мешок печали!»*⁶⁹².

Впрочем: Эмма пытается слиться с Цинциннатом, прикладывается к нему и так, и эдак, уже по собственной инициативе обещая узнику и искомое спасение, и себя самое:

«Цинциннат погладил её по тёплой голове, стараясь её приподнять. Схватила его пальцы и стала их тискать и прижимать к быстрым губам.

⁶⁸⁹ Владимир Набоков, *Приглашение на казнь*, *op. cit.*, т. 4, с. 30.

⁶⁹⁰ *Ibid.*

⁶⁹¹ «За последние десять лет одинокой и сдержанной молодости, [Фёдор Константинович <А.Л.>] жи[л] на скале, где всегда было немножко снега, и откуда было далеко спускаться в пивоваренный городок под горой ...»: Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 148.

⁶⁹² Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 174. Курсив Фридриха Ницше.

⁶⁸⁵ *Ibid.*, с. 103.

⁶⁸⁶ *Ibid.*, с. 36.

⁶⁸⁷ Владимир Набоков, *Лолита*, *op. cit.*, с. 241.

⁶⁸⁸ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 460. Курсив Набокова.

– Вот ластушка, – сонно сказал Цинциннат, – ну, будет, будет. Расскажи мне...

– Но ею овладел порыв детской буйности. Этот мускулистый ребёнок валял Цинцинната, как щенка.

– Перестань! – крикнул Цинциннат. – Как тебе не стыдно!

– Завтра, – вдруг сказала она, сжимая его и смотря ему в переносицу.

– Завтра умру? – спросил Цинциннат.

– Нет, спасу, – задумчиво проговорила Эмочка (она сидела на нём верхом).

– Вот это славно, – сказал Цинциннат, – спасители отовсюду! Давно бы так, а то с ума сойду. Пожалуйста слезь, мне тяжело, жарко.

– Мы убежим, и вы на мне женитесь⁶⁹³ – всё это не для Цинцинната! К тому же Цинциннату известен горький опыт присутствия других «детей», которых Марфинька приносила ему со стороны, этих уродливых «осколков человека» *par excellence*: «Скоро она [Марфинька <А.Л.>] забеременела – и не от него. Разрешилась мальчиком, немедленно забеременела снова – и снова не от него – и родила девочку. Мальчик был хром и зол; тупая, тучная девочка – почти слепа»⁶⁹⁴ – подчёркивает действующий строго по нищевской схеме Набоков да ещё и, измываясь, крестит сына Марфиньки именем ахейского богоборца; вместе с автором ещё-ладная, неиспорченная Эмма издевается над колченогим тёзкой противника Ареса с Афродитой – прадеда и прабабки Диониса:

«Цинциннат уже почти добрался, но вдруг раздался злобный взвизг Диомедона. Он оглянулся и увидел Эмочку, неизвестно как попавшую сюда и теперь дразнившую мальчика: подражая его хромоте, она припадала на одну ногу со сложными ужимками»⁶⁹⁵.

Но пока избавление ещё не пришло. Цинциннат – запертый в камеру мученик, свидетель-очеловечец насилия «чандаловека» над брахманом. Вот как Набоков описывает высшее строение «андрогина» и вызванную видом Цинцинната чандалью жажду разодрать Цинцинната, приправленную, конечно же любопытством Бандар-Лога. А чтобы задобрить чандалу

на время, отвратить этого «учёного» от желания расчленить сверх-плоть, – сквозь аполлоническую оболочку коей лучатся Дионисические жар с чистотой, – надо замаскироваться. Как? Конечно же сделать вид что читаешь книжку: «... всё в нём [Цинциннате <А.Л.>] дышало тонкой, сонной, – но в сущности необыкновенно сильной, горячей и своебытной жизнью: голубые, как самое голубое, пульсировали жилки, чистая, хрустальная слюна увлажняла губы, трепетала кожа на щеках, на лбу, окаймлённом растворённым светом... и так это всё дразнило, что наблюдателю хотелось тут же разъять, искромсать, изничтожить нагло ускользающую плоть и всё то, что подразумевалось ею, что невянятно выражала она собой, всё то невозможное, вольное, ослепительное, – довольно, довольно, – не ходи больше, ляг на койку, Цинциннат, так, чтобы не возбуждать, не раздражать, – и действительно, почувствовав хищный порыв взгляда сквозь дверь, Цинциннат ложился или садился за стол, раскрывал книгу»⁶⁹⁶ – за это по хребту подручного ката! С размаху! Да сиренью! Персидской, естественно!

Путь к плахе начинается в полдень, и Родя хлещет уже замученную лошадь по лицу – уж не по глазам ли проходит бич!?! – только так для нищееанца Набокова может начаться первый этап одарения Цинцинната Божественным с-ума-с-шествием: «Родриг, который был за кучера, хлопнул длинным бичом, лошадь дёрнула, не сразу могла взять и осела задом. Некстати раздалось нестройное ура служащих. Приподнявшись и наклонившись вперёд, Родриг стегнул по вскинутой морде и, когда коляска судорожно тронулась, от толчка упал почти навзничь на козлы, затягивая возжи и тпрукая»⁶⁹⁷.

Хоть и не по туринским авеню провозит нас Родя, улицы стоят нашего внимания. Бросим же взор с коляски на то, как Зевс продолжает свою забаву расчленения «человека», не щадя даже состряпанных «человеком», по своему образу и подобию, статуй: «За сквером, белая, толстая статуя была расколота надвое, – газеты писали, что молнией»⁶⁹⁸, а ближе к плахе: «От статуи капитана Сонного остались только ноги до бёдер, окружённые розами, – очевидно её тожехватила гроза»⁶⁹⁹.

⁶⁹⁶ *Ibid.*, с. 69.

⁶⁹⁷ *Ibid.*, с. 124.

⁶⁹⁸ *Ibid.*, с. 125.

⁶⁹⁹ *Ibid.*, с. 126.

⁶⁹³ Владимир Набоков, *Приглашение на казнь*, *op. cit.*, т. 4, с. 85.

⁶⁹⁴ *Ibid.*, с. 17.

⁶⁹⁵ *Ibid.*, с. 59.

Во время «казни», к слову сказать, происходит таинство — разрушение мира «чандаловека», распадающегося на части, становящегося «осколком» *rag excellence*. Только тогда Цинциннат замечает, что он, вобщем-то, не один на поверхности Семелы, и направляет свои стопы к существам своей касты. Лишний «осколок» ему не надобен, Цинциннат возвратил себе свою самость — самосскую самость можно сказать. Троекратно, по-своему, утверждает он её:

«— Сам, — сказал Цинциннат. (...)

— Сам, сам, — сказал Цинциннат и ничком лёг, как ему показывали, но тотчас закрыл руками затылок»⁷⁰⁰.

Отмечается «александрийский шлак» — необходимость в счёте, во времени. Цинциннату хватило нисхождения на него Λόγος'а, того самого — нашего безудержно веселящего наши души Бога:

«— Я ещё ничего не делаю, — произнёс м-сьё Пьер с посторонним силным усилием, и уже побежала тень по доскам, когда громко и твёрдо Цинциннат стал считать: один Цинциннат считал, а другой Цинциннат уже перестал слушать удалявшийся звон ненужного счёта — и с не испытанной дотоле ясностью, сперва даже болезненной по внезапности своего наплыва, но потом преисполнившей веселием всё его естество, — подумал: зачем я тут? Отчего так лежу? — и задав себе этот простой вопрос, он ответил тем, что привстал и осмотрелся»⁷⁰¹.

Цинциннату не совершить пути Мартына Эдельвейса — возвращения души к стигийским лесам; а потому, Набоков окончательно уничтожает ненужную цинциннатову телу, и ему подобным, декорацию — тополя, испокон веков ведущие к Потусторонникам. Не об этих ли деревьях сообщила Цирцея Улиссе, направляющемуся к Дионису, в Аид?⁷⁰²: «Площадь была обсажена тополями, не гибкими, валковыми, — один из них очень медленно... . (...) Вот повалился ещё тополь»⁷⁰³.

⁷⁰⁰ *Ibid.*, с. 128 — 129.

⁷⁰¹ *Ibid.*, с. 129.

⁷⁰² См. Гомер, *Одиссея*, X, v. 510, *op. cit.*, с. 133.

⁷⁰³ Владимир Набоков, *Приглашение на казнь*, *op. cit.*, с. 127, 128.

Одна из любопытнейших форм оправдания взаимоотношения «осколков человека» — ислам, его современная форма. Адепты этой воинственной религии вот уже полтора тысячелетия возродили «Право на ратуимию», растраниженное по афро-евро-азиатским просторам македонской конницей с фалангами, а, вслед за ними — «культурой» Лагидов, которой и впрямь неплохо бы пригрозить револьвером.

Ислам воистину странен своими взаимоотношениями с Дионисом. С одной стороны, преследование Бога осуществляется исламской толпой «осколков человека» объятых подлинным вакхическим неистовством, и в то же самое время отрицающих всякое присутствие Бромия среди них; с другой стороны они отказываются от слияния под эгидой Диониса — мусульман можно назвать «пенфеейцами», не будь их аполлонизм пронизан не эллинской отказчивостью, но варварским, даже животным отрицанием нашего Бога на Земле. Для них контакт с Дионисом (естественно вместе с семьюдесятью разнополами «осколками человека», идеально, по-брахмански чистыми — ибо прореха, через которую произойдёт обещанное единение молниеносно зашивается исламским Аполлоном) возможен лишь у Потусторонников. Отказ от вакхических благ делает исламскую форму поиска слияния поиском вечным, безысходным. Джихад есть бесконечный порыв в пустоту.

Существует ещё одна причина формирования толп «людских осколков»; обратимся же к ней: «Тяга к стаду старше происхождением, чем тяга к Я; и покуда чистая совесть именуется стадом, лишь нечистая совесть говорит Я»⁷⁰⁴, скажет Заратустра. Я же позволю себе сейчас совершить то, ради чего и решил написать эту поэму — углубить Заратустровы постулаты следующим: «Стадо — „Мы” — всегда рядом с „Я”». Цельное „Ich” — вдох и выдох, жизнь и медленное угасание; русское „Я”, подытоживая алфавитный ряд, всегда вырывается прочь из „Мы”, уворовывает у осколочной магмы её части. Каждое мгновения существования „Мы” переполненно чандалей жаждой отмщения дерзкому „Я”, перманентным и неискоренимым стремлением низвести

⁷⁰⁴ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 43. Курсив Фридриха Ницше.

его до собственного уровня: низвести Бога „Я” до уровня идола „Мы”, низвести космос „Я” до уровня порядка „Мы”, и художник, однажды нарисовавший дордонских бестий, несомненно, был растерзан толпой сородичей, ибо закон уничтожения созидателя низшими — вечен. С противоположной же стороны, сверху, реакция отторжения чандалы идентичная: брахманское самовыражающееся, из-„Мы”-вырывающееся-„Я”, и сознающее себя таковым, цельным, тройной очистки, вопиёт от ужаса при нарушении кастовых рубежей. Контакт с чандалой означает для такового „Я” неизбежный распад, приобщение к «человеческой» магме. Расчленение же высшего, чистейшего тела, которое воспоследует за первым прикосновением чандалы — сама казнь — только завершение, заключительная стадия преступления, начавшегося бесстыдным лапаньем брахмана, насилием над самой мечтой о «Сверх-человеке»:

«Всё тело моё — в отпечатках ладоней, / Ладоней, намазанных красным сандалом; / Мукою и пудрою весь я осыпан, / И хоть человек я, но волею рока, / Животному жертвенному уподоблен. (...) Мой знатный род, очищенный от скверны / ценою сотен жертвоприношений, / Молитвами, которые читались / У жертвенников среди толп народа, — / Мой знатный род сегодня упомянут / В позорном и жестоком приговоре / Людьми, которые в грехе погрязли / И род мой недостойны называть»⁷⁰⁵.

Одно-единственное прикосновение чандалы и — молниеносно уничтожается результат очистительной деятельности многих поколений. Именно осквернение, а вовсе не убийство, следующее за осквернением, вызывает ужас брахмана. Не случайно Законы Ману предписывают бережное отношение даже к преступному высшему существу, тягчайшим наказанием для коего становится отрывание его от арийской почвы — того же «парадейза» — во всей драгоценности своей оправы. Да и афинский ostracism является неплохим доказательством того, что дорийцы в сохранности перенесли на Пелопоннес свои гималайские традиции.

Обрубание же брахманской ветви от ствола, который корнями уходит в почву, завещенную арийцам их богами — и есть наивысшая узаконенная кара. Именно так сам Ницше ощущал свою Германию, страну, куда

⁷⁰⁵ Шудраки, Глиняная повозка, X in. В. Н. Топоров, Древнеиндийская драма Шудраки, Глиняная повозка, Приглашение в медленному чтению, Москва, Наука, О.Г.И., 1998, с. 165.

некогда Дионис привёл голубоглазых завоевателей, коим не посчастливилось осесть на благодатных берегах Эгейского моря.

Подчас Ницше проклинает свой народ, — происходит это в моменты, когда чандала его нации становятся властителями дум европейцев, палачами брахманов и разрушителями условий, в которых те могут пестовать свою чистоту («... у современных немцев появляется то антифранцузская глупость, то антиеврейская, то антипольская, то романтико-христианская, то вагнерианская, то тевтонская, то прусская (стоит только обратить внимание на этих бедных историков, на этих Зибелей и Трейчке и их туго забинтованные головы...»⁷⁰⁶), — и одновременно Ницше не способен заставить себя не уповать на будущее своего народа, возможное при возрождении в его душе трагического мифа: «„Соблюдать верность и ради верности полагать честь и кровь даже на дурные и опасные дела” — так поучаясь, преодолел себя другой народ, и, преодолевая себя, стал он чреват великими надеждами»⁷⁰⁷.

Отношение Ницше к немцам сравнимо с океанскими приливами и отливами: бегство прочь от Германии к странам «Средиземноморья»⁷⁰⁸ и возвращением в Германию — «Элладу духа», с её Тюбингеном и Фрайбургом — Академией и Ликеем; и снова подале от Германии устремляется Ницше к полуденным волнам, — в коих плавал вместе с Ахилловой матерью Дионис, — где происходит уже тактильный контакт с Элладой. А после краткого контакта с Югом — очередное возвращение Ницше к «матери-Земле» немцев, ибо из неё, и только из неё черпает он свои силы, припадая к ней, как некогда исполины-богоборцы эпохи становления планеты — пока не явился Геракл-мудрость⁷⁰⁹ и не поразил насмерть титанов, оторвавши их от материнской груди. Постоянное вечное возвращение Фридриха Ницше в ненавистно-любимую им Германию подразумевает для него также контакт с ненавистно-любимой сестрой,

⁷⁰⁶ Фридрих Ницше, По ту сторону добра и зла, op. cit., т. 2, с. 393.

⁷⁰⁷ Фридрих Ницше, Так говорил Заратустра, op. cit., т. 2, с. 42.

⁷⁰⁸ См. например: «Предположим, я выхожу из своего дома и нахожу перед собою вместо спокойного аристократического Турина немецкий городишко: мой инстинкт должен был насторожиться, чтобы отстранить всё, что хлынуло бы на него из этого плоского и трусливого мира. Или мне предстал бы немецкий город, этот застроенный порок, где ничего не произрастает, куда всё, хорошее и дурное, втаскивается извне»: Фридрих Ницше, Эссе ното, op. cit., т. 2, с. 717 — 718.

⁷⁰⁹ См. Псевдо-Гераклит, 34, 7.

питавшей к брату, даже после его смерти, чувство идентичное⁷¹⁰. Элизабет Фёрстер-Ницше, несомненно страдавшая неизлечимым «комплексом Электры», отождествлялась с Родиной-матерью в представлении Фридриха Ницше, которого слабо образованный венский бонапартист определил бы в «Эдипы» — «комплекс Ипполита» подходит куда более данной ситуации; ведь Эпид поднимает руку не на отца, женится не на матери, и лишь затем божественный Von Ohngefähr открывает тайну фиванскому царю на благо тезеевым афинянам. А спустя несколько тысячелетий, «Фрейд-мифолог» посчитал возможным назвать установленную Мойрами судьбу «карой богов», сиречь, в понимании «разумного душеведа» Эры Бескультурия — «болезнью».

Что же до Базеля, — немецкоязычного полу-кантона, с прилагающейся к нему *природной половиной*, вблизи которой Ницше поселился на Шпалентор, — одарившего Фридриха Ницше, апатрида артистического, неподдельным *laisser-passer* апатрида (шутка судьбы!), то именно там, в Базеле, Ницше нашёл концентрацию немецкого, пост-эллинского духа. В атмосфере сжатой с одной стороны городскими патрициями, вроде Буркхардтов, владеющих *Hochdeutsch*, а с другой стороны — бьющимся об их «высоту» морем диалектального плебса, сконцентрировался немецкий дух уже разрушающейся Германии, как некогда, в «не-греческой» Македонии — дух Эллады. Оттуда, из Базеля можно было бросить возвышенный взор на обе немецкоговорящие империи, создать там «парадейзу», дабы выпестовать свой язык, собственный стиль: Ницше исхитряется сделать в Базеле то, чего Вагнер добился под Люцерной и в Баварии. В этой чуждой для Германии «теплице Слова» возмужал глас Заратустры, заговорив на наречии в «Плоскомании» непонятном. Иными словами, Ницше оказался в пушкинской ситуации: первый уровень — «человечье» море, расплавленный λόγος — внизу, с ним Пушкин предпочитал не соприкасаться, но при контакте впитывал его жадно, как аргонавт, как воин-испытатель попирает стопую варварские страны, чтобы *эллинизировать их исконно греческое руно* — эллинировать его грабежом! Второй уровень — окружение равных, на русском языке изъясняющихся редко. Но именно на третьем уровне, в «параδείзе», выпестовал Пушкин свой стих, и, высокопьяное, душистое «Слово» забродило в его теле.

⁷¹⁰ «Heute Mittag gegen zwölf Uhr entschlief mein heiss-geliebter Bruder Friedrich Nietzsche. Weimar, den 25. August 1900. Elisabeth Förster-Nietzsche, geb. Nietzsche»: Письмо Элизабет Фёрстер-Ницше in Дом-Музей Фридриха Ницше в Сильс-Марии.

Итак, высота, множество рубежей, кругообразных, скалистых, восстановление «людских» каст — вот залог, без которого немислимо всякое созидание.

* * * * *

Перед тем как снова бросить взор на «Потусторонников», я посвящаю несколько страниц моей книги анализу той своры «осколков человека», которая вот уже более двух столетий набирает силу, и довольно-таки активно искрамсывает «человека» в ещё более мелкие куски. И верно, ни один другой тип чандаловеков не способен надёжнее отдалить вас от «Сверх-человеческого» идеала, чем — «женщина».

«Ибо только тот, кто достаточно мужчина, освободит в женщине женщину»⁷¹¹, — только вот, спрашивается, на что «александрийскому библиотечарю» virtù!? Вера в добродетель рваного «человеческого» мяса, чандалы, Graeculus'a — достигла своего апогея в парижских салонах где, скрываясь за особями женского пола, орудовали «феминисты» с мужскими гениталиями, делая из самки «осколка человека» существо неспособное к *генерации и трансмиссии*. Они побуждали «мужающих женщин» заполнять своим духом те области деятельности и мысли, которые постепенно, по мере женоуподобления, сдавал шмат «человеческого» мяса с мужскими половыми признаками, так, чтобы в конце концов достигнуть низведения женщины до уровня своры шакальих самок, в слепой ярости рвущих тела лучших, сжигающих их произведения и пожирающих собственных отпрысков. Лучшего демократы-«учёные» и придумать не могли!

Чтобы достигнуть подобного результата, изначально необходимо было вживить в тело женского «осколка человека» «до-Еву» — представляющую собой уносящийся ввысь, от Земли, даймон *Ewig-Weibliche*, спутницу того мужчины, который, убивая своих врагов, ещё пожирал их тела — о чём, кстати, однажды поведала Земля любимому профессором Пниным ницшеанцу Джеку Лондону: некогда истину впитав, Лондон только и делал, что повторял её, славил своего ночного Бога, вторил его Λόγος'у⁷¹².

⁷¹¹ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 121. Курсив Фридриха Ницше.

⁷¹² См. Например Джек Лондон, *Прежде Адама*, 1907.

«Ева» — та женская субстанция, к которой *должен прилипиться, чтобы стать единой плотью*, «Красноземный мужчина» — Адам-Земля, Адам-Кадмон, Адам Фальтер. Благодаря этому единению, угодный Богу мужчина способен не дать иссохнуть матери-Земле, превратиться в *облако красной пыли* — образ, помеченный корректором-Виламовицем знаком, холопски согнутым из изначального вакхического восклицания. Однако, безвыходность, ужас современной ситуации заключается в том, что мужчина перестал прислушиваться к сердечному ритму планеты, её законам — сам он более не *Земля* — Адам; он выпустил из рук «Еву», и её место заняла сатанинская, урчащая *Ur-Eve*.

Александрийские «феминисты» не обманулись. Заговор против трагической целостности «человека» — почище Еврипидо-Сократовского! — удался. Орды потомков Египетских рабов получили власть, объятые жаждой «справедливости» равной их оптимистической вере в *добродетель* «осколка человека»: «справедливость» должна быть восстановлена по отношению ко всем «кускам человека» и минувшего и будущего!

А кто ревнивей — даже к Божьей власти над своей «свободой», — чем «женщина» лишённая Бога, чем «до-Ева»?! Кто ревнивей к более совершенной женщине, не потерявшей связи с мужской субстанцией?! Кто ревнивей к прекрасному, и тому кто способен более восжелать это прекрасное для себе подобных, чем «до-Ева»?! Кто более ненавидит это мужественное прекрасное (*καλός*), и кто более жаждет низвести его до собственного уровня чем «до-Ева»?!

И «осколки человека» женского пола, объединяясь в своры, осознают свой женский статус, как необходимость «быть вместе в мести» и выражают не стремление стать «человеком» полным или, как минимум более совершенным, — нет! — они определяют себя как *женщины*, и тотчас принимаются мстить за «несправедливость причинённую женщинам» минувшего, настоящего, а также за ту «несправедливость», которая будет причина им в будущем.

Свора «человечьих осколков» женского пола идёт от малых «грехов» к большим, — и вот уже убийство становится нормой, *актом облегчения собственного чрева от «человека»*. Но ревности «до-Евы» этого недостаточно. Ибо «до-Ева» вечнонеудовлетворена. Истинное название её «социализма» — фригидность. «До-Ева» требует приношения себе всё новых «человеческих» жертв, жаждет новых убийств — ибо мимо истины пролетела стрела того, кто некогда спустился с Синая, волоча десяток тяжелых скрижалей, а «смертный грех» (как сказал Христос одного

нищенского писателя) есть один — трусость, неспособность бросить пристальный взор *вглубь* себя, страх увидеть в себе дегенеративный шмат «человечьего» мяса вроде Джоттового Иуды — естественно, женского полу.

Бегите, теперешний «осколок человека» и его спутница, от самозабвения! *Имейте мужество* взглянуть на собственное отражение, и пусть ужас — сводный брат презрения и прозрения — вызванный вашим обликом, придаст вашим ногам крепость и унесёт вас прочь от контакта с прочими «осколками», туда, где возможно находится более сложные, отзывающиеся на укол вашей древней ностальгии существа.

* * * * *

«Человеком был он, и притом лишь бедной частью (*sic.*) человека и моего Я»⁷¹³.

Даже до состояния «чандаловека» снизошёл Заратустра в своей страсти к познанию, сделавши из себя, подобно первым Асклепидам и старику Сенеке, подопытный организм.

Итак, спуститься на уровень «осколка человека», чтобы констатировать равенство *εἰδος* «осколка человека» с ним самим — «бедной частью человека», то есть, вобщем-то, с тем, во что снова превратилось Заратустрово «Я» при добровольном спуске к «Потусторонникам».

Одновременно с нисхождением происходит с Заратустрой и повторная метаморфоза, ибо сложное существо не способно долго заставлять себя оставаться «бедной», рваной частью «человека» не подвергая опасности свою высшую самость. Заратустре предстаёт видение, преобразившее пророка и научившее его древней таинственной мудрости. Вот что видится Заратустре, избавившемуся как от бедной части своего «Я», так и от духа тяжести, уже давно пытавшегося вдавить перса в *Hinter-Welt*:

«И поистине, ничего подобного тому, что увидел я, никогда я не видел. Я увидел молодого пастуха, задыхавшегося, корчившегося, с искажённым лицом; изо рта у него висела чёрная, тяжёлая змея.

Видел ли я когда-нибудь столько отвращения и смертельного ужаса на одном лице? Должно быть он спал? В это время змея заползла ему в глотку и впилась в неё.

⁷¹³ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 22.

Моя рука рванула змею, рванула: напрасно! Она не вырвала змеи из глотки. Тогда из уст моих раздался крик: „Откуси! Откуси! Откуси ей голову!“ — так кричал из меня мой ужас, моя ненависть, моё отвращение, моя жалость, всё доброе и всё злое во мне слилось в один общий крик. — (...)

— И пастух откусил, как советовал ему крик мой; откусил голову змеи! Далеко плюнул он её — и вскочил на ноги. —

Ни пастуха, ни человека более — предо мной стоял преображённый, просветлённый, который смеялся! Никогда ещё на земле не смеялся человек так, как он смеялся!»⁷¹⁴.

Вероятно, произошло это с Ницше-Заратустрой ещё до того, как он впервые спустился к людям, до его сорокалетия, возраста мудрости; скорее всего Ницше повстречал своего «пастуха» в Энгадине, в году эдак 1882, и собственным выздоровлением, подвинувшим его написание Заратустры философ обязан этой встрече. Призраком, о котором вещает пророк был он сам, выздоровевший — откусивший и отплюнувший голову рептилии; «ни пастуха, ни человека более» — не есть стилистическая оплошность перса; Заратустра увидел желанного, немислимого, наисложнейшего! Об этом поведал он частям «Высшего человека» — своим животным, — в речи «Выздоровливающий», именно там перс позволяет себе крик сожаления об «осколке человека», или, как он его называет — «маленьком человеке», запертом в кольцо «Вечного возвращения»:

«Великое отвращение к человеку — оно душило меня и заползало мне в глотку; и то, что предсказывал прорицатель: „Всё равно, ни что не вознаграждается, знание души“».

Долгие сумерки тянулись передо мною, смертельно усталая, пьяная до смерти печаль, которая говорила, зевая во весь рот:

„Вечно возвращается человек, от которого устал ты, маленький человек“ — так зевала печаль моя, потягиваясь и не могла заснуть.

В пещеру превратилась для меня человеческая земля, её грудь ввалилась, всё живущее стало для меня человеческой гнилью, костями и развалинами прошлого.

Мои вздохи сидели на всех человеческих могилах и не смогли встать; мои вздохи и вопросы каркали, давились, грызлись и жаловались день и ночь:

„Ах, человек вечно возвращается! Маленький человек вечно возвращается!“

Нагими видел я некогда обоих, самого большого и самого маленького человека: слишком похожи они друг на друга, — слишком ещё человек даже самый большой человек!

Слишком мал самый большой! — это было отвращение моё к человеку! А вечное возвращение даже самого маленького человека! — Это было неприязнью моей ко всякому существованию!»⁷¹⁵.

На горе, куда столь долго карабкался Заратустра с полукротом-полукарликом на плечах, происходит его освобождение — выздоровление. Это случается, несомненно, по соседству со скрывающимся во мраке Дионисом и на том же уровне, где фиванские вершины усыпаны менадами, магами да прочими *νυκτιπόλοι*⁷¹⁶, к которым, именно из-за этой «тёмной» гераклитовой фразы, причисляет себя сам Заратустра, насыщающийся, покамест, аполлонической пластикой ночи да принося звёздную жертву⁷¹⁷: *«После этого Заратустра шёл ещё два часа, доверяясь свету звезд: ибо он был привычный ночной ходок и любил всему спящему смотреть в глаза»⁷¹⁸.*

Итак, Заратустра вступил во мрак и увидел Бога. И вот он перед нами, метаморфозированный Заратустра — уже «более сложный», «просветлённый»⁷¹⁹, Заратустра, вытащивший за шкуру природу из берлоги, Заратустра выигравший у неё в кости своё сверх-здоровье да ещё и посетовавший, однажды, издеваясь, на несчастливых в той же игре «Высших людей».

Кстати, да позволится моей мысли ещё один прыжок в сторону — приведённая выше цитата Заратустры объясняет и название ницшевской поэмы Набокова *Pale Fire*: «осколок человека», воображающий себя сверх-цельным, монархом, тлеет пламенем бледным, а не Заратустровым светлым пламенем сложного существа. Уверен, что подобные отступления, благодаря своей пространности, вызовут упреки придирчивых «учёных».

⁷¹⁵ *Ibid.*, с. 159 — 160. Курсив Фридриха Ницше.

⁷¹⁶ Гераклит, D.K. 14 A.

⁷¹⁷ Ницше, вспоминая свою *Лаэртиану*, в «Прологе» *Заратустры* воспроизводит этиологию имени Зороастра «Пролога» *Жизнеописаний знаменитых философов* — «Тот, кто приносит жертвы звёздам». Диоген Лаэртский, *Пролог*, I, 9.

⁷¹⁸ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 15.

⁷¹⁹ *Ibid.*, с. 114.

⁷¹⁴ *Ibid.*, с. 113 — 114. Курсив Фридриха Ницше.

О, как ужасно для выздоровевшего, только что склеенного Дионисом существа, видеть «бедную часть человека», поклоняющуюся идолу — идолу ущербному, созданному им по своему образу и подобию, ибо только так способен «осколок человека» воспринять идол своим взором:

«Теперь это было бы для меня страданием и мукой для выздоровевшего — верить в подобные призраки; теперь это было бы для меня страданием и унижением. Так говорю я потусторонникам»⁷²⁰, — сколько раз ещё Заратустра пропоёт ужас сложного существа, познавшего муки собственной метаморфозы и снисходящего взором до «осколков человека» — на тех, у кого нет мужества бросить взор на собственное тело. Ритмованный слог перса возвращается к этой истине вот уже более ста двадцати лет!:

«Эти неблагодарные — они грезили, что отреклись от своего тела и от этой земли. Но кому же обязаны они судорогами и блаженством своего отречения? Своему телу и этой земле»⁷²¹.

Не забывает Заратустра и о другом наиважнейшем этапе, лежащем на пути построения «Высшего человека»: о необходимом для выздоровления избавлении от наиболее тяжкого страдания куска «человеческого» мяса — мук зависти: *«Снисходителен Заратустра к больным. Поистине, он не сердится на их способы утешения и на их неблагодорность. Пусть будут они выздоравливающими и преодолевающими и пусть создадут себе высшее тело!»⁷²²*.

Степень снисходительности Заратустры к «осколку человека» можно сравнить разве что с накалом презрительности фальтеровой усмешки. Впрочем, нет у Фальтера ни единой надежды на успех практикуемой им терапии: у больного не имеется средств на доставание редчайшего из снадобий; врач же просто не располагает ни свободным временем, ни тем паче — не испытывает желания входить в какие-либо длительные отношения со страдальцем, чтобы увести того в места с более благодатным для того климатом, как чеховский асклеиад свою княжну.

Интересно и следующее: как только высказана сверх-мысль в речи «о Потусторонниках» (и в её продолжении «О презирающих тело») — тотчас Заратустра-поэт подхватывает брошенный Заратустрой-пророком образ и принимается по-новому расписывать трусость и страдания «осколка человека», противопоставляя их блистательному и блаженному *è tutto festo* представителя сверх-здоровья. Каждая из этих *полу-глав* завершается *Евангелием от Заратустры*: обе добрые вести обращены к «Высшим людям» — тем, кто осмеливается обратить взор на себя, а следовательно и прислушаться к ритму планеты, прочувствовать и даже попытаться проникнуть взором — в космос.

Вот поистине «аристотелево-риторическое» начало: *«Более правдиво и чище говорит здоровое тело, совершенное и прямоугольное; и оно говорит о смысле земли»⁷²³*. А вот концовка диагноза Заратустры; она указывает на главенствующую муку неспособных к выздоровлению-единению «осколков человека»: врождённый рефлекс ревности, зависти к противоположному им *par excellence* состоянию — «Сверх-человеку»:

«И потому вы негодуете на жизнь и землю. Бессознательная зависть светится в косом взгляде вашего презрения.

Я не следую вашим путём, вы, презирающие тело! Для меня вы не мост, ведущий к сверхчеловеку»⁷²⁴.

Вернёмся же теперь от *по-ту-«человеческой»-стороны* описанной Фридрихом Ницше к последним минутам диалога Фальтера с художником, а именно — к следующему вопросу потусторонника-Синеусова, из-за которого я и счёл необходимым совершить набег в «Новую Земблю» философии Заратустры:

«Неужели вы будете так же изворачиваться, если я, скажем, спрошу, можно ли рассчитывать на загробную жизнь.

— Вам это очень интересно?

⁷²³ Фраза подразумевает «Землю» как планету, а потому при переводе на русский стоило бы сохранить заглавную «З», требуемую в слове «*Erde*» немецким правописанием. См. *Ibid.*, с. 24.

⁷²⁴ *Ibid.*, с. 25.

⁷²⁰ *Ibid.*, с. 22.

⁷²¹ *Ibid.*, с. 23.

⁷²² *Ibid.*

– Так же, как и вам, Фальтер. Что бы вы ни знали о смерти, мы оба смертны»⁷²⁵.

На это Фальтер, излишне злоупотребляя давно вошедшим в привычку «звуковым курсивом» Набокова, надсмехается над подверженностью «человека» смерти, и в Фальтеровом тоне слышатся нотки иронии Сократа, выраженной диалектиком в самые «не-Сократические» моменты майевтики:

«Во-первых, – сказал Фальтер [«во-вторых», кстати, так и не появится <А.Л.>], – обратите внимание на следующий любопытный подвох; всякий человек смертен; вы (или я) – человек; значит, вы может быть и не смертны. Почему? Да потому что выбранный человек тем самым уже перестаёт быть всяким. Вместе с тем мы с вами всё-таки смертны, но я смертен иначе чем вы»⁷²⁶.

Тут, кстати, Набоков и вовсе сплосховал: со своими скобками при прямой речи; а ведь мог он поставить «или я» меж двух тире для того же снисходительного подчёркивания собственного сомнения к «человечности» (читай к «принадлежности к своре «осколков» человека») Фальтера.

Инакосмертие Фальтера очевидно: оторванные от Синеусова части уже отошли к «Потусторонникам», а Синеусов может спокойно – в конце рассказа мы узнаём до какого именно момента, – ждать собственного нисхождения к ним. Что же касается Фальтера, то он покидает познанный им мир. Более того, он жаждет этого. Ибо смерть не устанавливает знака равенства между двумя существами, до её прилёта принадлежащих различным по сложности структурам.

«– Не шпыняйте мою бедную логику, а ответьте мне просто, есть ли хоть подобие существования личности за гробом, или всё кончается идеальной тьмой»⁷²⁷, – жалуется Синеусов на то, как Фальтер обходится с наследием александрийской культуры, доставшимся ему, «осколку» «теоретического человека», и защищает «бедную логику» от развлечений, кои время от времени позволяет себе злорадное сверхсущество. Синеусову хочется, чтобы его «помиловали», ответили ему, не-сложному, «просто»: живописец желает всё того же привычного

рыночного «да или нет» – даже задумавшегося о крылатом Танатосе Сенеусова, эгалитаристский синдром заставляет переполняться наиптимистичнейшей надеждой. Ему, непосвящённому в Дионисовы мистерии, жаждалось даже у «Потусторонников» сохранить кажущуюся целостность «личности индивидуума» с прилагающимся комплектом бедных «у».

Желание это, однако, противно жизнеосновополагающим законам, ибо нам филологам известно *каким образом* воздействует Дионис на «индивидуума»: Ницше относит Дионисические откровения ко времени франко-прусской войны? Не верьте ему! В те времена он недостаточно ещё знал своё тело! Нет! Лишь только Ницше очутился в Базеле, через прирейские прорехи континента – те что зияют рядом с пупом Европы, просочилась в его душу клейкая Вакхическая мудрость, патокой скалеивши ей крылья, заставив её переродиться!

На самом же дне Синеусовской фразы, под натужным стоном страсти «осколка человека» сохранить своё наиптимистичнейшее *право* на разорванность даже в «Нижнем мире», таится подлинное желание всего его существа – но в котором не смеет он признаться даже себе самому – *усложниться* там, у «Потусторонников». Уж как смехотворно претенциозно Синеусовское «существование личности за гробом» – «Вечное возвращение» разорванного «куска человека»! Однако, как ему хочется продолжать *любить* у «Потусторонников» себя, «маленького человека», – и в то же время избегать на себя смотреть. Не потому ли, не пройдёт и минуты диалога, как Фальтер не преминет по-Заратустровски отметить торговые качества Синеусова: «... они [перманентное освещение и чёрная чепуха <А.Л.>] у вас бегут наперегонки, и вы очень хотели бы знать, какая прибежит первая к столбу истины, но тем, что вы требуете от меня ответа, да или нет, на любую из них, вы хотите, чтобы я одну на всём бегу поймал за шиворот...»⁷²⁸, и тут же: «– Вон, – сказал Фальтер по привычке русских во Франции»⁷²⁹, – даёт Набоков точную справку о местонахождении Фальтера – под халкионическим небом Прованса, где относительно незадолго перед этим диалогом Ницше вытанцовывал третью часть *Заратустры*. И Фальтер, преодолевши чувство смешанной с ужасом гадливости, измеряет взором собеседника и задаёт ему, конечно, снова изъясняясь парафразом из Заратустры, свой вопрос: «Вы хотели бы знать, вечно ли господин

⁷²⁵ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 458. Курсив Набокова.

⁷²⁶ *Ibid.* Курсив Набокова.

⁷²⁷ *Ibid.*

⁷²⁸ *Ibid.*

⁷²⁹ *Ibid.*

Синеусов будет пребывать в уюте господина Синеусова, или же всё вдруг исчезнет?»⁷³⁰, сиречь, — «сохратится ли в „Нижнем мире” моя гемионтная кожная оболочка „осколка человека”? Фальтер Задаёт свой вопрос, конечно зная лучше других, что вид их несовершенного тела невыносим Синеусову и всем его нездоровым подобиям: «Но болезненной вещью является оно [тело <А.Л.>] для них — и они охотно вышли бы из кожи вон. Поэтому они прислушиваются в проповедникам смерти и сами проповедуют потусторонние миры»⁷³¹, — у живописца профессиональные рефлексy; следуя привычке своей гильдии, он пытается выудить секрет цвета, в который окрашены стены мира «Потусторонников»: «чёрная чепуха» (не может устоять перед чихающей, как Аристофан *Пира*, аллитерацией Набоков), или «освещение» — надежда прогрессиста! — как залог потустороннего «усложнения»: встречи с женой и родившимся в стане «Потусторонников» *трупском*.

И здесь Фальтер ускользает от Синеусовской хватки да ещё и выговаривает ему нечто вроде: мол, ты, художник, трусливый шмат «чандаловека»; ты не смеешь взглянуть на себя и твой «дух тяжести»; твоя вечная самоненависть «человечинки»-диалектика — неотделима от твоей судьбы; более того, чувство $\alpha\tau\omicron\phi\omicron\beta\omicron\varsigma$ — твой единственный и вечный сателлит: «... что скорее бежит — сильное желание или сильная боязнь?

— Думаю, что одинаково.

— То-то и оно. Ведь как же получается в рассуждении *человечинки* (sic!), — либо никак нельзя выразить то, что ожидает вас, т. е. нас, за смертью...»⁷³², спешит поправиться вежливый как Заратустра, и подчас даже сострадательный к «осколку человека», Фальтер.

Итак, что же, согласно умудрёному Дионисом Фальтеру, поджидает нас по ту сторону смерти?

Во сне, в покое, за сновиденческой мойровой завесой, является к *Ното Сapiens*’у божество творящее образами — Аполлон. Парад Февовых образов — более длительное (особенно в сравнении с дневным бдением) состояние кажущейся целостности. К ней устремляется вся сущность спящего «осколка человека». Вспомним, что примерно с такими словами на устах принимается Ницше очищать ото мха и поцелуя

плюща трагические скрижали в первой главе Рождения трагедии. Однако, юному мудрецу ещё необходим скакун, способный вынести его там, где не хватит ему крепости мускул собственных ног — и Ницше сызнова прибегает к помощи своего воспитателя — Шопенгауэра; так придаёт он фразе изящную завершённость и закончивает её уже свою, ставшую самостоятельной, мысль. Какой же образ заимствует Ницше у Шопенгауэра? — Образ «челна» (das Kahn), переведённого впрочем Антоновским, как «ладья» (что, кстати, вносит некоторую несуразность в русскую версию Собрания сочинений Ницше):

Немецкая версия: «*Wie auf dem tobenden Meere, das, nach allen Seiten unbegrenzt, heulend Wellenberge erhebt und senkt, auf einem Kahn ein Schiffer sitzt, dem schwachen Fahrzeug vertrauend; so sitzt, mitten in einer Welt von Qualen, ruhig der einzelne Mensch, gestützt und vertrauend auf das principium individuationis*»⁷³³.

Русский перевод: «*Как среди бушующего моря, с рёвом вздымающего и опускающего в безбрежном своём просторе горы валов, сидит в чёлне пловец, доверяясь ладье, — так среди мира мук спокойно пребывает отдельный человек, с доверием опираясь на principium individuationis*»⁷³⁴.

Как видим, именно здесь, у Ницше впервые появляется гейневский рыбак (*der Schiffer*), существо идеальное, романтическое, а потому не способное к единению — заполучению *principium individuationis*. «Аполлонический рыбак» Гейне разрывается Дионисом, нисходящим на него, и вот — начинается сложнейшая в истории космоса метаморфоза.

Какой же «трюк» использует Фальтер здесь, дабы провести Синеусова? Изначально он не предлагает живописцу аполлонических сновиденческих образов — стадии замирания, а значит — и возможно следующих за ней буйных вакхических метаморфоз. Фальтер заговаривает зубы Синеусову «тьмой крепкого сна», которой (естественно!) «рассудок» разумного александрийского «осколка человека» способен противопоставить лишь «вечную жизнь» — единственный принцип, на который он наткнулся в своих теософских скитаниях:

⁷³⁰ Ibid.

⁷³¹ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 24.

⁷³² Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 458 — 459.

⁷³³ Friedrich Nietzsche, *Die Geburt der Tragödie* in Friedrich Nietzsche, *Sämtliche Werke*, *op. cit.*, Band 1, S. 28.

⁷³⁴ Фридрих Ницше, *Рождение трагедии из духа музыки*, *op. cit.*, т. 1, с. 61.

«... никак нельзя выразить то, что ожидает вас, т. е. нас, за смертью, и тогда полное беспмятство исключается, — ведь оно-то вполне доступно нашему воображению, — каждый из нас испытывал полную тьму крепкого сна; либо, наоборот, — представить себе смерть можно и тогда естественно выбирает рассудок не вечную жизнь, т. е. нечто само по себе неведомое, ни с чем земным несообразное, а именно наиболее вероятное — знаковую тьму»⁷³⁵.

Так, играя логикой, наскоро скроенной им так, чтобы быть доступной «осколку человека», сызнава, набоковский «Сверх-человек» издевательски припадая на крыло, удаляет Синеусова — прочь от истины.

Следующая за этим фраза Фальтера — поистине Заратустровская — он так близко подводит Синеусова к «итальянской пропасти», что у «человечинки» и впрямь не может не закружиться голова, ощущение, сопровождающееся акрофобическим желанием броситься в пропасть невыносимого для «осколоков человека» калибановского предчувствия вида собственного отражения; в бездну, куда слетает «осколок человека», вопя, и его вопль — *звуковое отражение бездны его собственного обкарнанного λόγος'a* — ужасен ему. Лучше забыться! Где ты, тарантул со своим ядом! Уравняй меня с другими!

Так может завершиться заочное исследование загробного мира, производимое любопытным художником. Но Фальтер столь ловко маскирует своё откровение, что Синеусов так и не замечает пурпурного персидского провала:

«Ибо как же в самом деле может человек, доверяющий своему рассудку, допустить, что, скажем, некто мертвецки пьяный, умерший в крепком сне от случайной внешней причины, то есть случайно лишившийся того, чем в сущности он уже не обладал, как же это он приобретает способность снова мыслить и чувствовать благодаря лишь продлению, утверждению и усовершенствованию его неудачного состояния?»⁷³⁶.

Фальтер донельзя преувеличивает симптомы, предшествующие его собственной метаморфозе: «*мертвецкое опьянение*» (вместо «*метафизическ<ого> вкус<а> удачно купленного и перепроданного*

вина»⁷³⁷), а также следующая за тем смерть, застигнувшая подопытного в крепком — подразумевается в безгрёзовом — сне.

Но дело-то в том, что травестируя им самим пережитые события, Фальтер «заперает» свои откровения в ложь и откровенное издевательство — антропофильское, я бы даже сказал антропоэротическое взывание к «человеку, доверяющему своему рассудку»; Фальтер попирает закон строгой иерархии разделяющей «осколков человека» различной сложности, редких «Высших людей» и его самого, познавшего но недолговечного, как *der Falter*, «Сверх-человека». Всё это в фальтеровой фразе смешивается: еврей, христианин, цезарь — низводятся до какого-то «человека теоретического», ибо своему «разуму» доверяющего. Но заканчивает своё измывательство Фальтер всё-таки двойным реверансом его высокоблагородию Случаю: «... некто мертвецки пьяный, умерший в крепком сне от случайной внешней причины, то есть случайно лишившийся того, чем в сущности он уже не обладал...»⁷³⁸, — «капральский рефлекс» Набокова-ницшеанца — лишь заходит речь о вещах тонких, изящных, священных — тотчас отдаётся честь Ницше-эфесскому, диалектику до-сократовскому.

Есть в словах Фальтера и откровенная травестия, не стесняющаяся самой себя: *до-метаморфозное*, несовершенно состояние Фальтера, стадия, когда он был погружён в аполоннические, полные грёз образы, — усовершенствовалось благодаря Дионисическому воздействию.

«Если же не удался человек — ну что ж!»⁷³⁹, — не раз воскликнет Заратустра в своих восьмидесяти речах. Фальтер же *удался* — стал «Сверх-человеком» — но только сейчас сам Набоков заставляет своего персонажа повторить тезисы морали Заратустры, конечно исказивши их, чтобы они могли быть восприняты барабанной перепонкой Синеусова, этого исполинского *чандаловечьего уха*, по чьей форме некогда Бродский «отлил» свой стадион:

«...как же это он [«человек»? «человечинка»? «чандаловек»? <А.Л.>] приобретает способность снова мыслить и чувствовать благодаря лишь продлению, утверждению и усовершенствованию его неудачного состояния?»⁷⁴⁰.

⁷³⁷ Ibid., с. 444.

⁷³⁸ Ibid., с. 459.

⁷³⁹ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 211.

⁷⁴⁰ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 459.

⁷³⁵ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 459.

⁷³⁶ Ibid.

Сплошное измывательство Фальтра над Синеусовым — рефлекс скрытности добрых, искромётных вещей, заметил бы Заратустра. Упомянутое «усовершенствование» в устах Фальтера — есть не нисхождение Диониса на грезящее, уже аполлонизированное высшее существо, а — смерть. *«Неудачное состояние»* — это не действительное разорванное состояние Синеусова, и ему подобных «осколков человечинки», в котором они не желают отдавать себе отчёта, но забытьё, в которое «осколки» укутываются с головой — *«мертвецкое опьянение»*, кощунство по отношению к Дионисовым таинствам. Таким образом у Синеусова отбираются абсолютно все ориентиры, и Фальтер продолжает издевательство, уже сам отвечая, как эротик-Сократ об Эроте, сначала «нет», а затем «да» (Набоков, злоупотребляя привилегией литератора, разбивает границы притчевой краткости Заратустры), и, в то же время не перестаёт взывать к логике «теоретического человека» Ultima Thule, а самое главное — исхитряясь оставаться честным по отношению у самому себе: лжёт-то Фальтер, прикрываясь «человеческой» маской, сам уже «человеком» не будучи: *«Поэтому, если бы вы у меня спросили даже только одно — известно ли мне по-человечески (sic!) то, что находится за смертью, то есть попытались бы предотвратить обречённое на нелепость состязание двух противоположных, но в сущности одинаковых представлений, из моего отрицания вы бы логически должны были вывести, что ваша жизнь небытием не может кончиться, а из моего утверждения вывели бы заключение обратное»*⁷⁴¹, — подчас Фальтер — такой же первоклассный софист à la Протагор, как Заратустра — поэт, и чем ближе концовка *Ultima Thule*, тем цельнее и чётче выражаются ницшевские мысли Набокова: скоро Фальтеру умирать, некогда уже повторяться ему да расплываться мыслю по бумажному листу.

А завершает Фальтер парадоксом, — этим другом гения, — усердно фаршируя его ницшевскими же образами: снова тут появляются и дорогие «чандаловекам» базарные «да» или «нет», — причём «да» становится «влажным», как Тартар — счастливая цель Фальтера; тут же и какже-начное злорадное взывание к художническому «рассудку»:

«... ибо сухое „нет“ доказало бы вам, что я не более вас знаю о данном предмете, а влажное „да“ предложило бы вам принять су-

*ществование международных небес, в котором ваш рассудок не может не сомневаться»*⁷⁴².

Но Синеусов не замечает всех этих истинно ницшевских пиапсес; в его бурчании ущемлённой в своём *достоинстве* «человечинки» слышится натужный стон уверенного в своём *праве* на справедливое распределение истины, доступность коей подразумевает не только равенство всех перед истиной, но и равенство истины перед всеми.

*«— Вы просто уваливаете от прямого ответа, но позвольте мне всё-таки заметить, что в разговоре о смерти вы не отвечаете мне: холодно»*⁷⁴³, — в который раз с начала диалога повторяется Синеусов, испытывая в то же время Фальтера на способность к ребяческому задору. Тот поначалу отнекивается — ему скучно, — ведь всё-таки, хоть он и ведёт разговор, собеседника, на самом деле, у него нет. Однако, Фальтер тотчас вспоминает о своём изначальном согласии провести с Синеусовым вечер: *«— Вот вы опять, — вздохнул Фальтер»*⁷⁴⁴, и пытается втолковать живописцу непригодность его «разума» «куска человека»: *«... ваш разум воспримет всякий мой ответ исключительно с прикладной точки, ибо иначе чем в образе собственного креста вы смерть мыслить не можете, а это в свою очередь так извратит смысл моего ответа, что он тем самым станет ложью»*⁷⁴⁵, — да ещё и неожиданно, совсем как хорошо вымуштрованный асклепиад, соболезнает Синеусову:

«Он [страх смерти <А.Л.>] у вас по-видимому особенно силен, не так ли?»

*Да, Фальтер. Ужас, который я испытываю при мысли о моём будущем беспмятстве, равен только отвращению перед умозрительным тленом моего тела»*⁷⁴⁶, — хорошо сказано! — можно воскликнуть вместе с Фальтером. Испытываемый «человечинкой» страх собственного вида, скинувши узду и седло с всадником, превращается в «ужас», — сверх-сконцентрированный сгусток страха, — когда Синеусову предста-

⁷⁴² Ibid.

⁷⁴³ Ibid.

⁷⁴⁴ Ibid.

⁷⁴⁵ Ibid.

⁷⁴⁶ Ibid., с. 460.

⁷⁴¹ Ibid.

вается, что там, у «Потусторонников», либо отнимут у него способность зафиксировать разумом факт слияния с якобы, поджидающими его там «женой» и «трупсиком»; либо — о ужас! — навсегда утратит он связь со своим и без того ущербным телом. Итак, — хорошо сказано! — иронически *сокращает* Фальтер (избегая, всё-таки, из некоего подобию «Сверхчеловеческого» достоинства, ставить вслух диагноз Синеусова) и тотчас снова спохватывается по-лекарски, участливо интересуясь:

«Вероятно налицо и прочие симптомы этой подлунной [здесь Набоков небрежно раскланивается с Розановым <А.Л.>] болезни? Тупой укол в сердце, вдруг среди ночи, как мелькание дикой твари промеж домашних чувств и ручных мыслей: ведь и я когда-нибудь... Правда, это бывает у вас?»⁷⁴⁷.

Перед тем, как обратиться к предсмертному ужасу, некогда описанному «графом-декадентом» — Набоков завершает травестию «Предисловия Заратустры» многоточием. Зачем, спрашивается? Означает ли он этим резко оборвавшийся Фальтеров голос? — три секунды молчания, вызванные конским ржанием с криками возницы за окном? Стук сестриных спиц? — неизвестно!

Всё-таки, «в течении десяти лет...»⁷⁴⁸ солнце восходит для Заратустры — этого внимательного чтеца Шопенгауэра, — ежедневно рождается Мир для познавшего, чьё тело располагается также тесно к космосу, как точило к лезвию — когда окинавский оружейник завершает острить меч.

Симптомы же болезни «осколка человека» прямо противоположны состоянию морской тиши души познающего мудреца из касты воинов — «человечинка» наделяет качеством своего ατοφβος непознанный ею мир:

«Ненависть у миру, который будет очень бодро продолжаться без вас ... Коренное ощущение, что всё в мире пустяки и призраки по сравнению с вашей предсмертной мукой, а значит и с вашей жизнью, ибо, говорите вы себе, жизнь и есть предсмертная мука... Да, да, я вполне себе представляю болезнь, которой вы все страдаете в той или другой мере, и одно могу сказать: не понимаю, как люди могут жить при таких условиях»⁷⁴⁹.

Достоин восхищения упование на Случай — возможное воссоединение «осколка человека», беспрестанно, однако, расчленяемого помощниками Зевса на всё более мелкие части, — а потому, ощущения, испытываемые сложным андрогином давно стёрлись из памяти поколений «осколков человека». Спасение «человека» — в мужестве: «Но мужество, дух приключений, любовь к неизвестному, к тому, на что никто ещё не отважился, — мужеством кажется мне вся предшествующая история человека. Самым мужественным животным позавидовал он и отнял у них все добродетели их: только таким путём стал он — человеком»⁷⁵⁰ — «животное», щедро одаренное Эпиметеем когтями да клыками, но не глядящее вверх, на звёзды было превзойдено «человеком» благодаря его титаническому — «арийскому», напишет Ницше в *Рождении трагедии* — преступлению, воровству пламени из очага божественного рогоносца. Украденный огонь, некогда распаливший срединную печь Гестии, стал началом мироздания, *Big Bang*'ом процесса формирования человекообразного, и, в тоже время, воплощением добродетели, — *virtù*, ἀνδρεία, стоящей куда более медвежьих зубов, — отнятой жаждущим усложнения двуногим существом у богов. Но как только «человек» отказывается от гордой ответственности за совершённое преступление, то автоматически и одновременно перестаёт он пользоваться его плодами. Снова он до-прометеевский, — и что ещё хуже пост-андрогиновый, — дрожащий, зависимый от милости хищников, неспособный к <само>созиданию «осколок человека». Молниеносно добыча недавнего воровства оборачивается против него. Что же ему остаётся кроме как соединиться с себе подобными, в толпу да, будучи окружённым со всех сторон приятной *теплотой* — идти *предать* огню Тюильри?!

Амнезия бывшего андрогина — залог безвыходности ситуации, в коей, по воле злорадной женщины-Зевса очутилась «человечинка» по-набоковски, или, по-моему, «чандаловек». «Осколок человека» просто тактильно запомнил как же это конкретно обладать сложной структурой. Многими слоями поколений, грузом тысячелетий, точно жомом радавлено это ощущение, но, внезапно, в дальних землях, вдруг и победно возрождается древняя андрогинова чувствительность. Происходящее можно уподобить случившемуся во Франции, когда чандаловы

⁷⁴⁷ Ibid.

⁷⁴⁸ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 6.

⁷⁴⁹ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 460.

⁷⁵⁰ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 219. Курсив Фридриха Ницше.

волны, захлестнули страну, уничтожив её исконную, вийоно-ленотрову мощь — но за Атлантикой тавра квебекских автомобилей, ещё *осмеливаются помнить* о славе фараонов Лютении, некогда рассадивших лилии карнакских долин по конквистодоровым заокеанским далям: неистребимая мистерия лозы хмельным соком утекает от палачей, и Земля одаривает её своей плодоносной силой, взращивая её на благо следующему Случаю.

И то верно, нашему современнику, «чандаловеку», также непросто будет припомнить ощущения андрогина, как выковырять из памяти подлинники названия «льва» или, скажем, «верблюда», данные им Адамом: изгнанная из Эдема парочка напрочь позабыла названия животных, а воспроизведённые Моцартами последствия кощунств вавилонских Корбюзье, наложили повторный слой забвения, *раздробив* даже названия «модерн» на сотни кусков. Подлинная кара Бога-дробителя в изъятии у человекоподобных Слова; и эта экспроприация прямо пропорциональна лишению их частей тел. Пойди теперь вспомни, как окрестила «Земля» тогдашнего льва-толстовца! Может нечто схожее с его райским рыком, небывалое «Пхвы-ы-ы-ы», — до ушей раздрававшее некогда его пасть? — Не потому ли боги и человекообразные «века героев» по-разному называют малоазиатские реки: одни — Ксанфом, другие — Скамандром⁷⁵¹? — хоть оба названия и выдал, естественно с позволения Диониса, ровесник четвёртого века (ибо счастливый соперник Гесиода) Гомер.

Синеусов отвечает Фальтеру надеждой, безумной, необоримой надеждой «осколка человека» на существование «Потусторонних миров»: «возможно», — думается живописцу, одновременно испускающему стон, как Ахилл, в Тартаре мечтающий о журналистском местечке — «грядущие тысячелетия принесут мне там невысказанные сейчас блага этого мира». Подтверждения своего *права* на это упование, с маниакальной настойчивостью, требует Синеусов у Фальтера, а умирающий «Сверх-человек» не в силах отказать себе в удовольствии сопроводить свой ответ привычным хищническим смешком:

« — Ну вот, Фальтер, мы кажется договорились. Выходит так, что если я признался бы в том, что в минуты счастья, восхищения, обнажения души я вдруг чувствую, что небытия за гробом нет; что рядом в запертой комнате, из-под двери которой дует стужей, готовится, как в детстве, многочисленное сияние, пирамида утех;

что жизнь, родина, весна, звук ключевой воды или милого голоса, — всё только путаное предисловие, а главное впереди; выходит, что если я так чувствую, Фальтер, можно жить, можно жить, — скажи-те мне, что можно, и я больше у вас ничего не спрошу.

В таком случае, — сказал Фальтер, опять затрясаясь, — я ещё менее понимаю. Перескочите предисловие, — и дело в шляпе!»⁷⁵².

Надо отметить, что Набоков и тут допускает несомненный писательский *□βρις* — излишнее количество повторений, превращающиеся в подобие шаманских заклинаний. Набоков как бы признаёт: да, мой «чандаловек» и его «слово» — узники *Кольца В.В.* И всё-таки слишком уж много раз совершает круг Синеусов внутри кольца, увлекая за собой и Фальтера, понуждаемого напоследок сызнава обратиться к «детской тематике» *Так говорил Заратустра*. Однако, Фальтеро-Синеусовский дуэт — не сверхевропейская поэзия Заратустры, и Набоков, из соображений вкуса, мог бы экономить место на белом листе, избегая столь многочисленных повторений. «Да!», — святословит «по-ребячески» набоковский «Сверх-человек», — «В первое время... Да, в первое время мне казалось, что можно попробовать ... поделиться»⁷⁵³.

Сколько общего у этих фальтеровых мечтаний с первой «антропфильской» оплошностью Заратустры, о которой перс столь сожалел впоследствии — извечный оптимизм, налагаемый видом «человеческой» оболочки — грех, некогда по-своему замоленный «тираном фиванским»; грешил этим также автор данных строк, и не раз. А потому, процитирую-ка я исповедь перса повторно: «Когда в первый раз пошёл я к людям, совершил я глупость отшельника, великую глупость: я явился на базарную площадь»⁷⁵⁴.

Фальтер продолжает ницшеанские откровения перед Синеусовым, глуховатым на ухо души:

«Взрослый человек, если только он не такой бык как я, не выдержит, допустим, но думалось мне, нельзя ли воспитать новое поколение знающих, т.е. не обратиться ли к детям. Как видите, я не сразу справился с заразой местной диалектики»⁷⁵⁵, — писательским чутьём

⁷⁵² Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 460.

⁷⁵³ *Ibid.*

⁷⁵⁴ Фридрих Ницше, *Так говорил Заратустра*, *op. cit.*, т. 2, с. 206.

⁷⁵⁵ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 460. Курсив Набокова.

⁷⁵¹ Гомер, *Илиада*, XX, в. 74, *op. cit.*, с. 283.

ощущает Набоков, что всё что можно было выжать из диалога — уже выжато. Но, хоть и осталось лишь отбросить «словесно-человеческий» жмых, принимается Набоков выдавать, буквально один за другим, ницшевские «трюки» повсеместно известные ещё со времён *Рождения трагедии*, — так боксёр, кожей и мускулами спины предчувствуя удар гонга, проводит серию атак, набирая баллы, но не теряя всё же надежды на случайный *Von* нокаут.

Перескажем образы Фальтера такими словами: «местная», ваша двухполовиной-тысячелетняя эпидемия «сократчины» обязывает к передаче «взрослым», — сиречь завершённым, не способным более ни к малейшим усложнениям «осколкам человека» — сведений, призванных сделать их «знающе-добродетельными»: дух равенства рождающийся из «разумности» дарует забвение.

Фальтер же, в своём кажущемся прекраснодушии, играючи приоткрывает в конце диалога завесу Дионисических мистерий. Фальтер заговаривает о *компромиссе* с «человечинкой»: приоткрыть? Да! — если только взрослый «осколок человека», — не напитанная быкорогим Богом сформировавшаяся, предвзрывовая особь («... не такой бык как я ...»⁷⁵⁶), — не приспособлен для «Сверх-человеческого» восприятия, так передам-ка я мистирию «ребёнку». Погодя, чуёт Фальтер всю чертовскую суть эгалитаристской «сократчины»: напитанные вакхической кровушкой дети не становятся из-за этого духовным продуктом трёх сложнейших метаморфоз, они — всё те же маленькие «осколки человека», а повзрослев, превратятся в больших по размерам «чандаловеков», и попадись они, или их «ближние» по пути Якху — разорвут их вакховы спутники на ещё более мелкие куски:

*«Во вторых, как только ребёнок разовьётся, сообщённое ему когда-то, принятое на веру и заснувшее на задворках сознания, дрогнет и проснётся с трагическими [сиречь с козлокопытными дикопляшущими <А.Л.>] последствиями»*⁷⁵⁷.

Диалог окончен. «Останови воду», ворчит ареопаговый софист, заведующему клепсидром; слышится неплохо переданное Набоковым бульканье: *«Его [Фальтера <А.Л.>] зять тихонько зачерпнул из жилета часы и переглянулся с супругой»*⁷⁵⁸. Дальнейшее — в молчании отно-

сительно законов бытия. В конце *Ultima Thule* Набоков насильно, хоть и не ко времени, впрыскивает художнику ницшевскую сыворотку. Не потому ли Сенеусов как-то излишне внезапно «прозревает», сам заговоривши по-Заратустровски?! — и подводит недурной итог произошедшему: Фальтер, оказывается, «Сверх-человек»-мудрец, желающий спокойно угаснуть, а потому перенявший у Ницше шутовские ухватки:

Ср. в *Ultima Thule*: *«Но вот что странно, Фальтер. Как совмещается в вас сверхчеловеческое (sic.) знание сути с ловкостью площадного софиста, не знающего ничего? Признайтесь, все ваши вздорные отводы лишь изощрённое зубоскальство?»*⁷⁵⁹.

Ср. с тем, что говорит Ницше о себе: *«Я не хочу быть святым, скорее шутком... Может быть, я и есть шут...»*⁷⁶⁰.

Именно «шут» и «Сверх-человек» — эти две оконечности персидского лука, совмещённые в наитрагичнейшем персонаже, базельском профессоре, прозревшем от воздействия Диониса, однако всё ещё пытающемся втолковать что-то молодёжи, с презрением поглядывающей на тирсы, и, конечно же, заканчивающей своё знакомство с Ницше — улюлюканьем: *«Хуже обстояло с делами университетскими: студенты-филологи сорвали своему идолу зимний семестр 1872/73 г.; можно догадаться, чем шокировала эта дважды в столь различных смыслах „невозможная книга“»*⁷⁶¹! Подчеркну, именно «шут», ни в коем случае — не «буфон» (по возможности с одним-единственным «ф»)! Буфоном у Набокова является анти-Заратустра — Сократ, таким однажды изобразил Набоков диалектика после чтения чрезвычайно поразившего его в юности *Рождения трагедии*. Так, наипозитивистичнейший «русский Сократ» — Чернышевский набоковского Дара, которому я посвятил чуть ли не треть *Набокова ницшеанца*⁷⁶², и есть «буфон» — только буфон, и никто более, — революционер, один из видов торговцев зельем, анестезирующим «осколков человека», и, следовательно, дающим им право на уподобление себе высших существ — расчленение их; Чернышевский — «буфон» в буквальном, эллинском смысле этого слова — βουφόνος — богоухульный «убийца быка», индийского, священнорогого Бога!

⁷⁵⁹ *Ibid.*

⁷⁶⁰ Фридрих Ницше, *Ессе Ното*, *op. cit.*, т. 2, с. 762.

⁷⁶¹ К. А. Свасьян, *Фридрих Ницше: мученик познания*, *op. cit.*, т. 1, с. 10 – 11.

⁷⁶² См. Анатолий Ливри, *Набоков ницшеанец*, *op. cit.*, 239 с.

⁷⁵⁶ *Ibid.*

⁷⁵⁷ *Ibid.*, с. 461.

⁷⁵⁸ *Ibid.*

Что же до Фальтера, то, пока «Фёрстеры» одевают его, — кстати примерно тем же манером, которым, совсем незадолго до передачи *Ultima Thule* бумаге сам Набоков помогал облачаться Бунину, причём в процессе бунинского облачения также звучали, с Заратустровым сарказмом, «потусторонне-сакральные, кольцевые» нотки («Мой спутник [Бунин <А.Л.>] собрался было застегнуть воротник, как вдруг его лицо перекосилось выражением недоумения и досады. Общими усилиями мы вытащили мой длинный шерстяной шарф, который девица засунула в рукав его пальто. Шарф выходил очень постепенно, это было какое-то разматывание мумии, и мы тихо вращались друг против друга»⁷⁶³), — то Фальтер внезапно пускается в «откровения», которые, однако, вовсе таковыми не являются для нищезанца внимательно следящего за диалогом с самого его начала:

«Впрочем, — добавил он [Фальтер <А.Л.>], не той, потом той рукой влезая в рукав и одновременно отодвигаясь от вспомогательных толчков помощников, — впрочем, если я немножко и покуражился над вами, то могу вас утешить: среди всякого вранья я нечаянно проговорился, — всего два-три слова, но в них промелькнул краешек истины, — да вы по счастью не обратили внимания»⁷⁶⁴.

И опять его благородие случай, — превратившийся теперь в сторожа «Сверх-человеческой» истины, — не покинул Фальтера. Что же до «осколка человека», то он — создание, перманентно переполненное ужасом, порождающим подозрительность в душе, он физически не способен поверить внезапным откровениям «Сверх-человеческой» истины: «... вероятно, его последнее слово было такой же издевкой, как и все предыдущие»⁷⁶⁵, это констатирует Синеусов, абсорбируя особенности набоковского слога, после того, как «Фёрстеры» уводят Фальтера домой: очередное подмигивание Набокова той пост-нищевской эпохе, когда овдовевшая Элизабет (исполнившись «осколочным» мировоззрением своего усопшего «парагвайца») с энтузиазмом преобразовала своё существование в профессию поклонения брату, и так — свыше сорока лет, вплоть до бури и натиска лъстивых взоров, коими, осенью 1934, она захлестнула, ладную фигурку демократически избранного канцлера. Ведь

не могут эти несостоявшиеся вытерпеть живого создателя. «Учёному» творец нужен мёртвым!

Чандала утаскивает в своё логово шмат создателя: не вынося живого творца, «осколок человека», или, если желаете, «учёный», не в силах обойтись без куска трупа творца, которому тотчас и принимается поклоняться посреди пропитанной трупным запахом библиотеки. В этой смеси фетишизма, каннибализма и шизофрении проходят труды и дни жреца науки, или какой-нибудь Элизабет.

Что же касается Элизаветиноного муженька, только для этого и воскреснувшего на набоковских страницах, («мужественная Элизаветина часть» также должна хоть как-то проявить себя), то он выцганивает у своего, вобщем-то собрата, «осколка человека», сотню франков — цифру, кстати, идеальную для Набокова, — единицу с парой округлых спутников. Быть может, полюбилась Набокову денежная сумма «100» в любой валюте из-за уже упомянутой его собственным героем, Фальтером, детской игры, по-Заратустровски отучающей лбѹс ребёнка от «да и нет»? Не потому ли и плата, которую мечтает взимать за свои сверх-уроки герою Дара (куда более «сложный», чем Синеусов) равняется «100», только отсчитанной в бывшей денежной единице Германии:

Ср. *Ultima Thule*: «На другой день скучный голос его затя сообщил мне по телефону, что за визит Фальтер берёт сто франков; я спросил, почему, собственно, меня не предупредили об этом, и он тотчас ответил, что в случае повторения сеанса, два разговора мне обойдётся всего в полтора ста»⁷⁶⁶.

Ср. Дар: «Всему этому и многому ещё другому (начиная с очень редкого и мучительного, так называемого чувства звёздного неба, упомянутого, кажется, только в одном научном труде, паркеровском Путешествии духа, — и кончая профессиональными тонкостями в области художественной литературы) он мог учить, и хорошо учить, желающих, но желающих не было — и не могло быть, а жаль, брал бы за час марок сто, как берут иные профессора музыки»⁷⁶⁷, что, кстати, доказывает, непрофессиональность Чердынцева-младшего как коммерсанта — не думал он о необходимости время от времени устраивать скидки.

⁷⁶³ Владимир Набоков, *Другие берега*, *op. cit.*, т. 4, с. 288.

⁷⁶⁴ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 461.

⁷⁶⁵ *Ibid.*

⁷⁶⁶ *Ibid.*, с. 461 — 462.

⁷⁶⁷ Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 147.

Так, до самого конца их «по-сю-сторонних» сношений, Фальтер пребудет для Синеусова «ироником» *à la Socrate*, а Синеусов останется для Вселенной (возможно именно из-за своей профессии «художника» — копировальщика, воспроизводителя, но не созидателя) — метафизическим пошляком, самого Фальтера низводящим до собственного «потустороннического» уровня. Впрочем, Набоков спохватывается и напоследок вкладывает в художнические уста монолог, который и подытоживает *Ultima Thule*. Тут и «ангел» (бывшая госпожа Синеусова на сносях), — как ещё одна ипостась андрогина: «*Но всё это не приближает меня к тебе, мой ангел*»⁷⁶⁸. Тут и более независимый и продуманный автором для своего «потусторонника» образ: оставшаяся в живых часть «человечинки» ощущает, что центр тяжести его тела, некогда возможно предназначенного стать «высшим» (эту «высшесть» называет Синеусов «идеальным бытием») — перенёсся уже по ту сторону Стикса:

«*Страшнее всего мысль, что поскольку ты отныне сияешь во мне, я должен беречь свою жизнь. Мой бранный состав (sic.) единственный, быть может, залог твоего идеального бытия: когда я скончаюсь, оно закончится тоже. Увы, я обречён с нищей страстью пользоваться земной природой, чтобы себе самому договорить тебя и затем положиться на своё же много-точие ...*»⁷⁶⁹.

Круг завершён. «*Бранный состав*» швейцарских гоголевских строк, нашедших некогда убежище на страницах Дара перед первой беседой Фёдора и Зины, прорвался в *Ultima Thule*. Начинается «невообразимое» возвращение — возвращение Диониса нам, вакхантам его, номадам-аристократам:

«*И хотя мысли мои, моё имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но бранный состав (sic.) мой, будет удалён от неё (а вместе с тем, на прогулках в Швейцарии так писавший колотил перебежавших по тропе ящериц, — чертовскую нечисть, — с брезгливостью хохла и злостью изувера)*»⁷⁷⁰.

⁷⁶⁸ Владимир Набоков, *Ultima Thule*, *op. cit.*, т. 4, с. 462.

⁷⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁷⁰ Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 161 — 162. Курсив Набокова.

Телесный пробел. Попасть. Пустота. Самонедостаточность. Межстрочье и межобразье, которое не закрасить ни чернилами, ни красками, не заполнить и золотоносно-проникновенным прикосновением лидийского царя. Вот только несколько различных наименований болезни «осколков человека», вашей болезни, номады-аристократы.

Неспособность «чандаловека» выразить словом своё несовершенство, подмена слова бездной многоточия — один из симптомов страданий литературствующей «человечинки». Совсем противоположное происходит, кстати, с Годуновым-Чердынцевым Дара. Его «... и не кончается строка»⁷⁷¹, подытоживающая роман, завершается, на самом деле, точкой. Чердынцев сложен, он — нищиеанец, сын того, кто собственными глазами удостоился взглянуть на зажатого азиатскими льдами Диониса⁷⁷². Он не был покаран, подобно Тиресию, за взгляд, брошенный на Божество во всём своём неглиже — Константину было отпущено время. Только вот для чего? Что предстояло ему совершить там, ещё далее, ещё восточнее, оставив позади даже исступлённо-наидионисических козака Жаркого с бурятом Буянтуевым?

Фёдор Годунов-Чердынцев и созидает-то как Ницше, когда ещё юншей захлестывает его волна похожей на ницшевскую инспирации⁷⁷³, а

⁷⁷¹ *Ibid.*, с. 330.

⁷⁷² См. Anatoly Livry, «Nabokov der Nietzsche — Anhänger» in *Nietzscheforschung* Band 13, Berlin, Akademie Verlag, 2006, SS. 239 — 246.

⁷⁷³ Ср. у Ницше: «*Слышишь без поисков; берёшь, не спрашивая, кто даёт; как молния, вспыхивает мысль, с необходимостью, в форме; не допускающей колебаний, — у меня никогда не было выбора. Восторг, огромное напряжение которого разрешается порою в потоках слёз, при котором шаги невольно становятся то бурными, то медленными; частичная неменяемость с предельно ясным сознанием бесчисленного множества тонких дрожаний до самых пальцев ног; глубина счастья, где самое болезненное и самое жестокое действуют не как противоречие, но как нечто вытекающее из поставленных условий, как необходимая окраска внутри такого избытка света; инстинкт ритмических отношений, охватывающий далёкие пространства форм — продолжительность, потребность в далеко напряжённом ритме, есть почти мера для силы вдохновения, своего рода возмещение за его давление и напряжение... Все происходит в высшей степени произвольно, но как бы в потоке чувства свободы, безусловности, силы, божественности ...*»: Фридрих Ницше, *Ессе Ното*, *op. cit.*, т. 2, с. 747. Курсив Фридриха Ницше.

Ср. у Набокова: «*Волнение, которое меня охватывало, быстро окидывало ледяным плащом, сжимало мне суставы и дёргало за пальцы, лунатическое блуждание мысли, неизвестно как находившей среди тысячи дверей дверь в шумный по-ночному сад, вздувание и сокращение души, то достигавшей размеров звёздного неба, то уменьшавшейся до капельки ртути, какое-то раскрытие каких-то внутренних объятий,*

пока Фёдор творит — Дионис, ещё неназванный, но столь ощутимый, превращается в его *телохранителя*: «Как пьяных, что-то его [Фёдора <А.Л.>] охраняло, когда он в таком настроении переходил улицы»⁷⁷⁴.

Слово подчиняется «сложному» Фёдору, но ему этого не достаточно, ему требуется монархия — полное упразднение «*демократической мокроты*»⁷⁷⁵. «Сложное» же, но ещё не «высшее» тело Чердынцева созрело для слияния с наследницей микенского царского дома — вот она, необходимая добавка финикийской кровушки, о чьей необходимости Набоков вычитал у общедоступного Берара! А потому всё окружение Фёдора — антипустота, стремление к законченности, власти над озвученным дыханием тела, которое фехтовальщицкая кисть создателя укладывает на бумагу вместе с чернильными брызгами, быкообразными кляксами нетерпения, с фонетико-орфографическими помарками, когда «о» подменяет «е», ибо кисть десницы *слышит так, а не иначе*. За сим следует точка.

Ultima Thule, завершённая через год с небольшим после Дара — более компактная форма, «анти-Дар», ностальгия Набокова по нищевской забаве — конфронтации исконно больного существа со «Сверх-человеком», желание дать страдальцу высказаться. *Ultima Thule*, вопреки истинно поэтической лжи Набокова — законченная вещь, даже излишне растянутая, ибо разобранный длиннющий, с ненужными повторениями, диалог можно смело обкорнать по схеме, предложенной Чердынцевым для укорочения *Соборян*, — если только Набоков не заставляет сознательного Фальтера отработать свои сто франков.

Ultima Thule — эта недостижимая территория для неудачливо-го морехода, «чандаловека», — и есть осязаемое красноземье «Сверх-человеческого» существования Фальтера, и, возможно, кто знает? — плацдарм для следующей, уже пост-Фальтеровой метаморфозы, способной в будущем подарить Вселенной более жизнестойкое сверх-тело многогранно описанное в моём труде. Такое тело станет и залогом *возвращения* «эры обонятельной души» — эпохи, когда необходимость

доказать доброе мнение о себе (подлинный источник диалектики, изначальная причина отказа «человека» бросить взор в небеса) канет в Лету; новое, цельное тело приобретёт способность вакхически, феогнидовски чутая «человекообразных»; тогда месть добрым, рефлекс сжатия челюстей чандалей толпы станет наивысшим грехом переиначенной Вселенной. Но для выведения такого тела необходимы сотни изумрудных случаев, тысячи лазеревооких гор, миллионы выпестованных в *фиалковенчаных* Афинах, в Спарте и, — даже! — в Пелле, номадов-аристократов, приносящих неисчислимые преступные жертвы нашему, рвущему в клочья да молниеносно на свой лад склеивающему «человеческие осколки» Богу.

классический трепет, бормотание, слёзы, — всё это было настоящим.»: Владимир Набоков, *Дар*, *op. cit.*, т. 3, с. 137.

⁷⁷⁴ *Ibid.*, с. 28.

⁷⁷⁵ «„Вообще, я бы завтра же бросил эту тяжкую, как головная боль, страну (...) где из тумана какой-то скучнейшей демократической мокроты, — тоже фальшивой, — торчат всё те же сапоги и каска ...”»: *Ibid.*, с. 315.

ПРИОТКРЫВАЯ ЗЕВЕСОВУ ЗАВЕСУ

Четвертая сверхчасть

«Не бойся, Anatolij, не ужалит», – выговаривала, обволакивая меня слева до самого пупа шипящим баском, Николь, выпятивши розоватую губу с глянцеватой от базельского солнца поволокой слюны к набухшему золотом шмелю в тигровой шкуре, а поверх неё – в ореоле из червонного марева: «У шмеля вообще нет жала!».

Я же, точно молниеносно очнувшись от первой в жизни ночной тирсовой щекотки – истинной потери невинности, – отскакивал от насекомого, с гортанным воплем, по-козлиному, крестообразно загородивши предплечьями лицо, и каждым трепетным волоконцем отроческого тела того, стародавнего Толички, беззаветно веря Пушкину на слово».

Анатолий Ливри

«Тыча в океаны и материки ручкой пера, он составлял маршруты грандиозных путешествий, сравнивая воздушные очертания арийской Европы с тупым сапогом Африки и с невыразительной Австралией. В Южной Америке, начиная с Патагонии, он также находил некоторую остроту».

Осип Мандельштам

Нация, эта группа «людей», скованная пустынями вод и песков, или непреодолимой для «человеческой» стаи горной цепью – антропоморфной или гранитной. Запертое, таким образом «людское» стадо свыкается с определёнными телодвижениями, однотипным напряжением лицевых мускул, и, наиглавнейшее – с определённой манерой сжатия челюстной, самой мощной у млекопитающего мышцы. «Людская» склонность к *μίμησις* побуждает принуждённых к симбиозу «человеков» воспроизводить, а воспроизводя – развивать наиболее удобные в климатических условиях своей тюрьмы гримасы и жесты. Итак, насилием над «челове-

ком», противоборством Семелы с ним, и подчинением его Земле, зарождаются языки, обычаи, культуры, верования.

Так что же однажды побуждает к движению нацию? Подчас причиной является исчезновение одного из рубежей, доселе защищавших, как физическую неприкосновенность группы «людей», так и неизменность выработанных и *полюбившихся* жестов, определённой привычки располагать мускулы, диафрагму – дышать.

Как забродившее в бочке вино, нация, пока она заперта, хорошо стареет – ежели польстить «человеку» энологической терминологией. Но сколько бы не продолжалось её доброкачественное умирание, принцип развития сока лозы неизменен: он определяется химическими свойствами почвы, метеорологическими условиями, болезнями, перенесёнными её корнями, стволом и ветвями. Так и для наций: в течении «среднеобозримого срока жизни нации» её порывы зависят от её генофонда и выражаются с относительной ясностью лучшими её представителями (*ἄριστοι*), имеющими – до прекращения доброкачественного старения – власть, то есть совершающие насилие над «человеком», становясь, таким образом, союзниками планеты. И это нормально, знатный – менее расколот Зевсом, подчёркивает однажды Ницше: *«Каста знатных была вначале всегда кастой варваров: превосходство её заключалось прежде всего не в физической силе, а в душевной, – это были более цельные люди ...»*⁷⁷⁶.

Аристократия только *означает* направление движения собственной нации: изменить его, или же полностью прекратить она не в силах, будучи её частью. Поток иссякнет сам, сусло перебродит, в итоге превращаясь в вино, а оно, рано или поздно будет выпито, пролито – в жертву Богу, или по недосмотру, – или же просто прокиснет.

То, что называется «большой политикой», также относится к «оракулам» аристократии «доброкачественного периода нации», как тени на стене платоновской пещеры вкупе с отголосками долетающими до слуха прикованных цепями «людей» относятся – к истинным (*ἄστροι*) виновникам отблесков и звуков. И лишь страдающие духовной амнезией – то есть те, в чьих телах начисто стёрта память *заземлённого* Слова Божьего – самонадеянно полагают, будто бестиальные порывы нации и направление «вербальной десницы» её аристократии определяются так

⁷⁷⁶ Фридрих Ницше, *По ту сторону добра и зла*, *op. cit.*, т. 2. с. 379. Курсив Фридриха Ницше.

называемой «политикой». Ибо только над-«человеческое» «Слово» выражает *действительную* душевную сущность нации — телу, часто не ведающему всего знания собственной души, как верно подметил автор *Страшной мести*.

Данное вступление необходимо, дабы обозначить точные границы фундамента, на котором зиждется то, что называется «политикой» США — империи интересной лишь исключительно по причине своей мощи: способность демонстрировать своё искусство на ярчайших примерах это, суть, артистический демарш, свойственный «философам» вхожим ко двору; а берясь за «политику», предпочтительнее выбрать самую совершенную в физиологическом смысле особь.

Не стану перечислять труды политологов, коим следуют в своей «политике» США, но сделаю вытяжку из них, пересказав их на Дионисический лад, одним штрихом очертив порыв их мысли и обозначивши её направление. С момента начала существования элиты «нации США» (предусмотрительно запираю и этот термин в кавычки), она постоянно выражает волю к предводительству «народом Божиим» на территории США — «Земле Обетованной». Этот λόγος вывезли с собой с Британских островов пророки, претендовавшие на право прямого диалога с Господом без посредничества еженедельных таинств Страстей Христовых и без вспоможения Девы Марии. Даже английские пуритане, укоротившие зятя Генриха IV, и те оказались для них излишне «теплы». А потому новые конкистадоры, со свойственной кельтской расе восприимчивостью покинули «Египет», дабы взять у идолопоклонников землю, подаренную им Господом. Филимистянские да моавитянские племена, цветом кожи ближе к Адаму, встреченные ими за «водами Красного моря» (некогда затопившего Атлантиду, как фараонских конногвардейцев) надлежало уничтожить, и безжалостно, — Бог предал туземцев в руки народа своего!

Чудовищные способности кельтов-сверхевропейцев, как бестий, были усилены во сто крат *Ветхим Заветом* — не учёным изучением его, нет! Но *впитыванием* его в кровь, вместе с *quasi*-ханаанским псалмопением и уверенностью в том, что они, кельты, заново переживают события *источаемые, излучаемые, изливаемые* Священной Книгой. Попеременно прибегали кельты то к оружию, то к силе денег, которые их предки научились добывать лучше других европейских народов, ещё в бытность их на территории Великобритании: если посмотреть на неё из космоса — вылитый сидящий козёл в ожидании вокального демарша.

Эти кельты основали новую империю. Они превратились в её процветающую аристократию. И если приглядеться издали к движению, кое эта аристократия силится навязать своей нации — сразу бросается в глаза знак неиссякнувшей Дионисической мощи: неизменность, стреловидность порыва — умелая смена митраической и Дионисической стадий, как экономная артистическая альтернатива светотени духа.

Аристократия не экономит средств никогда. Она находится над любыми финансовыми и ежеминутными политическими интересами, а потому достойна восхищения — одновременно и как художник, и как им же сотворяемое сверх-произведение искусства. Ибо иная «нация», в определённый момент своей вакхической мощи, подчинённая архитектурным нормам, налагаемым на неё её аристократией, превращается в создание равное «Зевсу» Фидия, — и это творение будет неизменно разрушено, лишь только лучшие (οἱ ἄριστοι) перестают быть таковыми, теряют над собой власть, которая неизменно подхватывается некоторыми (οἱ λίγοι) из так называемого «народа».

Олигархия отделена от аристократии рубежом, неразличимым взору профана; цель олигархического строя — не работа над «нацией как произведением искусства», но — «народ», который в конце концов и заполучает бразды правления. И тотчас власть разъедает безобразное тело «народа», неимоверно склонное к бахвальству, трусости, зависти — троицы основных «человечьих» грехов. А наступившая «демократия» молниеносно обрушивается в хаос тирании. Спешу заверить всех, кому дорого прекрасное — этот лучезарный на тёмном фоне лик Диониса! — на сегодняшний день, в мае 2008 года, США «человечинкой» и не пахнут, продолжая оставаться «аристократией», чьи представители придают своей «нации» неизменное направление, соответственно данному в XVI — XVII веках ветхозаветному разгону.

Редкая «человеческая» особь находит удовлетворение в сути вещи. «Людской» расщеплённой породе свойственно желание получить удовольствие от любования своим отражением. Отсюда — внешняя политика молодой империи. Вне рубежей своей «нации», «лучшие» США жаждут иметь доказательства верности расслышанных ими Божественных откровений. Аристократия, как ранее коммивояжёр-аферист Платон, пытается различить в струях Атлантики образ собственной «нации» — победоносное утверждение: «да, мы в течении всех этих столетий находимся на одной с Богом частоте, и каждый

из наших оракулов, запирающих движение «нации» в её русло — есть толкование наших вещих снов.».

Именно это подсознательное влечение к идеальному собственному отражению и объясняет тот факт, что тип идеологов, определяющих «внешнюю политику» империи — остаётся неизменным, несмотря на смену так называемых «президентов», не оказывающих ни малейшего влияния на процесс некогда названный одним немецким любомудрецом *Die grosse Politik*.

В течении десятилетий таковым потусторонне-атлантическим отражением США являлась ЮАР, отвечающая большинству канонов кельтской неистовости общения с Богом: нахождение у антиподов, идентичное происхождение этих братьев меньших американской аристократии, основавших свою республику да *Ветхим Заветом* обречших на рабство многочисленных филимистян и очистивших дарованную им Господом землю от прекрасно вооружённых, хоть и близких по крови, моавитян.

Однако, есть нечто несовершенное в ЮАР даже периода её расцвета: калька жизни лишь налагалась на основу «Бытия» — *Священное Писание*, но перерисовывалась она неточно. Страна было выбрано неверно. И вот волна случая вынесла, вместе с топкими медузами и пёстрыми крабами, на пляж — мужскую ветхозаветную рифму — Израиль. Он воссоздался не в угандийской пустыне, на которую, вроде, соглашались вскормленные в Базеле да отвергнувшие Господа сионисты, и не на Дальнем Востоке, на который, некогда, ушлый абрек по национальностям выклиничивал долларовое вспоможение, но — именно там, где Господь соблаговолил помазать на царство одного из своих лучших вакхантов — в Палестине. С тех пор, благополучие Израиля стало залогом поддержания мощи США, смотревшихся в своё ветхозаветное зеркальце да повторявших извечный вопрос стареющей красавицы.

Вовсе не «юдо-филия» заставляет «американского джентельмена» направлять внешнюю политику Империи на благо Израиля — нет! — в своём новомексиканском ранчо он поносит сограждан-иудеев так, что ему позавидует Валак с иным казачьим есаулом: просто представителю имперской аристократии также необходимо священное доказательство правильности выбранного им пути для своей «нации», как сыну Филиппа восклицание пифийской жрицы о его грядущей персидской непобедимости.

Оставим теперь США и обратимся на спянный Кавказом континент — как считает географ Эсхил — с чьего крайнего Запада я пишу,

как Улисс с Островов Блаженства, — назад, в полюбовную западню своей богине. Вернёмся в дорогу нам, номадам-аристократам, Евразию, да поприспальнее присмотримся к библейской завязке вместе с её продолжением.

В направлении данном движению американской нации есть определённая, но всегда присущая ветхозаветному мировоззрению слабость — эгоцентричность — как если бы тень, вобравши в себя мощь мира да наполнивши себя мудростью пространства, возомнила себя телом. Но само тело, каково бы ни было состояние его здоровья — остаётся залогом существования тени. И стоит Солнцу с Землёй переместиться, подчиняясь издревле установленному ритму или удару бича пастушек-Эриний, и тень утратит все признаки витальности, поглотится тенями прочих, более плотных тел, а затем и вовсе исчезнет, так что изрядно ослепнувшим от пыли обитателям платоновской пещерной библиотеки её уже и не различить.

Итак, как бы он ни был слаб и частично зависим, Израиль — тело; а ЮАР с США — лишь его прошлые и настоящие отблески на планете. Израиль стар. Как Якх. Но не ветх. Второе рождение вместо того, чтобы сделать из него Гесиодова младенца последней эры, впрыснуло в него кровь ядрёного бедра Иеговы.

С момента заключения пакта с Господом, Израиль инкарнирует и землю, некогда данную ему в дар и Божью славу — сиречь, и корону Давида, и Храм. Так, что же в сегодняшнем Израиле чувствуется нездорового? Почему овладев *частью* Божьего дара израильтяне до сих пор не возвели в Иерусалиме Храм по проекту описанному в *Книге Царств*? Иными словами, что же недовершённого есть в доктрине Теодора Герцля?

Слабость сионизма в том, что у Израиля нет Царя!

Ещё ни один из потомков Давида не осмелился требовать царства от мира сего, права возложить на себя венец, — не отроческий венчик! — в центре Планеты, тем самым давши толчок последней метаморфозе её: наступлению на океанские воды, возвращению Земле её до-потопного состояния, при котором Ир-шалаим, стольный град Давидов, снова удостоится имени своего, превратится в Пуп Космоса! Тогда царь Израиля станет властвовать над миром, вещая оттуда свои оракулы. Тогда произведёт он на свет наследника, коему суждено воздвигнуть Храм. Произойдёт повторное рождение наисложнейшего Соломона-«Сверх-человека».

Но сейчас преобразование планеты невозможно, — невозможно, как и возвращение «человека» в Эдем. Ибо для того и другого необходимо

искупление «человека», — я бы сказал: искупление «человека» от пары его первородных грехов. Вот как представляется мне такое «выздоровление», генеалогия подобного излечения, берущая истоки свои в прошлом и перехлёвывающая в грядущее: ведь грёзы объяснять надо не так, как это делалось на берегах Истра, но подходить к иносказанию по-пикийски, предрекая с аполлонической замысловатостью (капканом на тиранов побогаче), но ни в коем случае не возделывая плугом кремнистых полей пережитого! всходы их не стоят порабощения таврических быков ярму (если буду продолжать в том же духе — вовсе превращусь в колхидскую принцессу: гекатов закат, закрома драконовых клыков, новоспартанская жатва, и снова, снова, и снова — куски братнего мяса, жертва, мёд, мечь, а возможно и удачнейшее смешение финикийской и дорийской рас.).

«Первородный грех» — превращение Адама и его женской части в «человека» со всеми последствиями был искуплён на кресте. Искупление это *частичное*, ибо большинство «людей» физически не способны следовать заповедям Божьего Сына: создать в самих себе условия для симбиоза воли, подобной тетиве натянутого Улиссом лука и расслабленного тела — только под диафрагмой жарко вибрирует сгусток дыхания! Куда уж им, горбунам, протиснуться в царствие Божие со своими колоссальными челюстями, привычно сжатыми точно у транспарантных пролетариев или дехканских псов.

Этот-то «человек», ни анатомически, ни физиологически не predisposed к восприятию пары Божьих заветов, и совершил второй грех — отображение Первородного греха во времени и в пространстве чудовищной тенью на телах «народов». Произошло это повторное грехопадение совсем недавно, каких-то два с небольшим века назад, а событие это до сих пор прилежно отмечается в Париже фейерверками, и «народными» же гуляниями.

Отблески дьявольского просвещения «в познании добра и зла» и есть желание рвать на части «Царя Иудейского», сиречь — приблизить к двум перекрещенным и обтёсанным древесным стволам его тело, и, подвывая, ожидать окончания кровотечения — заключительной строфы *Canticum Canticorum* — именно отсветы «просвещения» можно было повторно рассмотреть на «Площади Революции» 21-го января 1793 года.

Идеальная копия Давидова Царства случайно воссозданного в Европе потомками арийцев, тотально перенявших у Иерусалимского монарха Слово Бога, его Кровь для помазания, была разрушена теми, кому,

— также повторно — безумно восжаждалось низвести «человеческое» отражение Бога на Земле до своего уровня, то есть они восжаждали равенства с существом, качественно превосходящим их по праву рождения, по праву впитанного им и его предками Слова. Государственных переворотов и цареубийств случалось на нашем континенте немало и до «эпохи просвещения», но именно она воспитала в «человеке» сжатых челюстей право на расчленение высшего существа, как рефлекс — вызывающий «секрецию справедливости».

Эта галлизированная «копия первородного греха» должна быть искуплена до того, как в Земле Ханаанской произойдут преобразования таинственные и захватывающие. Грех должен быть искуплен там, где он и произошёл — в Париже. Именно Франция, а не США, несмотря на всё кельское упорство и протестантскую самоуверенность последних, призвана восстановить равновесие: для оживления принципа необходим принц, а его заокеанской республике не полагается. Отсутствие инкарнированного принципа делает тщетным всю её мощь, а все её цели — абсурдными.

США будущего, уже подчинённые Риму благодаря полуденной «человеческой» волне, сыграют свою роль гигантского факела, зажигаемого дождливой ночью, дабы пронести его через площадь да поджечь бетфордов шнур. Истинная цель всей имперской роскоши и всех усилий — искра, которой предстоит пробежать к исполинскому складу динамита, — а желанный Господу взрыв восстановит Царство Давида в центре Земли. И такой совет даю я всем приверженцам «равенства» — не попадите в тот момент в радиус взрывной волны!

Сегодняшняя Франция только на первый взгляд кажется обездвиженной. Она застыла, как замирает в прыжке летящий к спасительной перекладине атлет — совершенное напряжение эластических мускул. Лёгкость. Стремительность. Неверно истолковывать её как скованность мышц. Однако, не дотянуться до перекладины означает — смерть. Ухватиться за неё только кончиками пальцев, и гимнаст тотчас чувствует устойчивость, незыбимость, власть над телом и единовластие его.

Выработанный же рефлекс павловского пса — почтение парижского «интеллектуала» к замученному в сороковых годах прошлого столетия еврею — только отражение его ненависти к еврею живому, дальние отблески неотъемлемой от его души самоненависти: вот он, нордический воин, подавляющий на земле Ханаанской южное множество, наследников бывших недругов Царя Давида! Та тварь, называемая сейчас во

Франции «интеллектуалом» — ни что иное, как дальний потомок александрийских рабов, отпрыск парижских путчиков XVIII-го века, отпрыск, естественно ослабленный, расплескавший всю свою горячую пассионарность, кровожадную колкость ума, жажду тирании, чью тяжесть он с радостью перекладывает на плечи тех же самых южных элементов, коих в Тунисе бивал Людовик Святой, а в под Пуатье — Карл Мартелл.

Теперь «интеллектуал» вял, труслив, пошл, глуп. «Интеллектуал» уже не Сатана, но — множество мелких бесов, часть дьяволовой части. Он — конечный этап, бесконечно разбавляемый водой шнапс. Но всё-таки любой винокур без труда разнюхает наличие изначального спирта в пойле заменяющем «интеллектуалу» душу. А потому и ненависть к отпрыску Царя Давида, некогда обосновавшегося на земле французской та же: выдать содержание монаршей грозди, усладить царской мякотью сведённые судорогой мести челюсти — псиный рефлекс неизменен! Только бывший *patriote*, измывавший, не ведающий различия между копией, тенью копии, образами тени копии переносит свою ненависть уже на остатки силуэтов былой Давидовой мощи, — не на вино, а на разбавленный водой осадок, — как ранее к «Давидовым Мошам», сохраняемым в Сен-Дени.

Ненависть эта срослась с «демократией» — или по-настоящему, с «охлократией» — стала неотделимой от толпы. Теперь французский «интеллектуал» — толпа, ненависть к Царю Давиду и к его нордической гвардии стала добродетелью метисированного парижского плебса, его «справедливостью», а набор букв обозначающий заклятие Царской Жертвы перестал соответствовать самому акту убийства Λόγος'а.

Второе непростительное прегрешение еврея перед парижской чандалой — его кровная принадлежность к Закону, генетическая связь с Господом, его Заветом, его ставленником на Пупе Планеты. Подлинный еврей — монархист. Лишь только он перестаёт быть сторонником Божьего временщика — он уже не еврей! Он теряет связь с Богом, более не служит Λόγος'у, и — Сатана разъедает его изнутри.

Франция и её «нация» исконно, благодаря вербальному посредничеству Афин и Рима — отпрыски Иерусалима. Исконное ощущение связи еврея со своим Всевышним, с меченым Им монархом, управляющим Городом Мира ненавистно французскому осколку толпы, прямо пропорционально его αἰτοφόρος, прямо пропорционально его ненависти к королю, помазанному на власть в Реймсе, или по крайней мере в Шартре.

Что же до самих евреев, то целые племена, называемые сейчас «евреями» перестали быть ими. Недаром сефарды, не утратившие связи со Средиземноморьем, — чьи воды превосходный проводник электрической искры Всевышнего, — не считают ашкенази за евреев: на слишком долгий срок, излишне самоуверенно забаррикадировались те в «гетто», где сусло духа бродило, совершенствовалось, расцветало благоуханным букетом, однако, так и не прогремев волевым взрывом — не найдя отдушины для громогласного катарсиса — скисло. Вырвавшись через столетия из стен «штеттла», дух ашкенази, точно обрюзгший смертник, помилованный после десятилетий заключения, утерять равновесие души, обезумел, как клаустрофоб, свыкшийся со своим недугом, но внезапно очутившийся вне крепости, на горе, нависнувшей над залитыми закатом складками и пазухами Земли вокруг её пупа. Те ашкенази, которым не довелось попасть прямо из местечковой ешивы в Гейдельберг, или, по крайней мере, в Базель с Сорбонной, угодили в «социализм», и м-сье Ульянов, приветствовал на страницах женеvской «Искры» появление «евреев — новой касты чандал», униженных, и следовательно (согласно инстинкту отпрыска александрийских рабов) охваченных рефлексом социального реванша — рвать на части Помазанника Божьего!

Истинно говорю: низость касты определяется силой сжатости челюстей её представителей — степень «шариковидности» человекообразного пропорциональна его силе «жажды справедливости» для себя и предыдущих поколений. Однако, сам психообразный «еврей» быть «евреем» перестаёт. Ибо бремя Бога и его наместника на Земле есть бремя чистоты. Ежедневный труд исполнения её очистительных обрядов производится брахманом с наивысшей лёгкостью господина Земли. Очищаясь, пляшет он над чандалей подозрительностью, завистью, страхом низшей касты, *не понимающих смысла столько бесполезных и дорогостоящих усилий.* И, «освобождаясь» от дара Божьих барм для более банального ярма, «еврей»-александрийский раб оскверняет свою кровь — также и словом — он перестаёт узнавать своих сородичей: «я не еврей, я — интернационалист!» — облаевает он их. Начинается эра мести. И вот — горбатые чандалы, сгрудившись, торжествуют над семитом Гомером, лишаемым улиссовой юридической поддержки.

Миру необходимо избавление от пары смертных грехов «человека»! Космос устал от мук. Он стонет по «человеку» — выздоравливающему! Вселенная жаждет установления кровавого царства того, кто передаст монарший венчик преобразователю Земли, зиждителю Нового Храма

— антивавилонской башенки — приводителю планеты к единому звуковому знаменателю. Планета опять теплеет. Возвращается благодатное средневековье, когда в Гренландии саживали лозу, а среди европейского океана варварства, в монастырях, возрождалась трагедия, заново обучалась своему исконному наречию — как после бури, одна за другой, огненными точками прожигает тучи созвездие Ариадны. И я чую скорое коронование — коронарное сжатие сердца Земли, — приближение Дара, наследование Города Мира царём, возвращённым винодыщающей грудью Галлии. Я ощущаю движение планеты вспять, её пахучий бег к сионским высотам, к Давидову Престолу, предназначенному самому чуткому, самому богатому, самому хрупкому, тому, кто глубже других «человеков» проник в недра чрева планеты.

Трон Давида должен принадлежать пришельцу с той стороны добра и зла, поэту-брахману с галатским именем, случайно впитавшему своим семитским семи-частевым телом «Высшего человека» наречие Фукидида — и покушающемуся, с Божьей помощью, на наивысшую «Сверхчеловеческую» стадию. Ему надлежит царствовать над миром, прежде расположившись над его щедрым на откровения пупом — вернув *принципом* своего существования исконную материнскую грацию Земле да заполучив печать отцова причастия. Всё это произойдёт скоро и случится под эгидой финикийской буквы, — коей открылся в Дельфах да некогда был воспет наш Бог, — « 7 ».

Анатолий Ливри

Париж — Санкт-Мориц —
Следственный изолятор кантона
Basel-Stadt. 2002 — 2009

???

«Владимира Набокова невозможно запереть ни в какие рамки, он — неиссякаемый источник открытий» — заявил немецкий переводчик и издатель писателя Дитер Циммер. И это верно. Да и как могло бы быть иначе с этим автором, коему присущи крайне необычная и шокирующая форма мышления, а также стиль, полный метофор, образов, тонкостей, энигм, протееформных идиом и неожиданных эстетических метаморфоз? Набоков перешёл, сделав их при этом проницаемыми, рубежи сновидений и реальности, уничтожив границы между царствами Зевса, Плутона и Эроса. Набоков постоянно брался за всё новые, казалось бы столь различные темы, однако неразрывно связанные меж собой. Набоков открыл доселе неизведанное поле писательского экспериментаторства, где сосуществуют образы столь же древние, как само человечество. Набоков далеко ушёл в литературском искусстве, а также в умении дать понять читателю, что жизнь может оказаться и результатом вымысла, превратиться с стилистическое изобретение. Набоков велеречив и ясен, артистически щепетилен во всём, что касается мельчайших деталей, он способен управлять течением времени, заставив сосуществовать прошлое, настоящее и будущее: переиграть линейность времени, сопротивляться его власти — здесь Набоков показал всю мощь своей литературской магии, окрестив данный процесс «космической синхронизацией», что является также одним из отсылов к Ницше.

Среди литераторов-модернистов Набокова запросто отличишь от его собратьев. Всё набоковское творчество — созидание культурного элитизма. Автор развил чутьё необычайное на эгалитаризм, на посредственность, он ощущал каждый препон личной и артистической свободе

¹ Послесловие профессора Кафедры Философии Университета Гумбольдта, Директора Международной Организации «Фридрих Ницше» и редактора берлинского альманаха «Ницшевские исследования» (Nietzscheforschung) Ренаты Решке, которая неоднократно публиковала в Берлине немецкие и французские работы Анатолия Ливри, подтверждает не только тезисы открытий Анатолия Ливри, как слависта, но и его тончайшее видение немецкой философии.

— всё это саркастическая, даже сардоническая сила набоковского пера не оставляла безнаказанным.

Набокову свойственен философский порыв сравнимый с ницшевским, порождённый уверенностью в возможности приблизиться к реальности, однако не настолько, чтобы достигнуть её. Доказательства необходимы философу, живущему среди теоретических принципов; писатель же обогащён неизмеримым перед любомудрецом преимуществом: помимо сухих систем, он — вечный владетель созданных им самим миров. Игра слов, игра в любовь и во власть, человеческий мир, как эстетическая страсть, с Ницше и Гераклитом на заднем плане мышления — таков набоковский текст.

Либерал, выросший в сознании своего социального ранга, чувствующий свою принадлежность к европейской культуре, Набоков рано ощутил конфликты своего столетия. После октябрьской революции родители его осели в Германии. Молодой же аристократ, завершив своё образование в Кембридже, возвращается в Берлин, а после прихода к власти национал-социалистов перебирается, — прожив недолго во Франции, — через океан, чтобы вернуться уже американским гражданином на Старый Континент — в Швейцарию. Эта беспокойная судьба изгнанника, чьими этапами стали Берлин, Кембридж, Париж, Гарвард, привела Набокова в гостиницу на берегу Женевского Озера, где он и завершил свою жизнь. Кто же такой Набоков? Американец европейского происхождения? Европейец с русскими корнями? Гражданин мира? Посредник между культурами? Возможно. Его же посредничество между наречиями несомненно: первые произведения Набокова были созданы по-русски; он попробовал свои силы также как французский писатель, чтобы остановиться на английской литературе, подняв свой английский слог на уровень необычайный. Мастер прозы, Набоков числится среди самых знаменитых американских писателей, таких как Хемингуэй, Фолкнер, Миллер, Беллоу.

Начиная с семнадцатилетнего возраста Набоков посвятил себя философскому наследию Фридриха Ницше. И ницшевская мысль оставалась близка Набокову до конца его дней, будучи нерасторжимой с его мировоззрением писателя, а потому многие его персонажи ведомы, как в поступках, так и в мыслях, философскими принципами Ницше. И речь идёт вовсе не о редких образах или совпадениях, но о полновесных ницшевских фигурах. Без Ницше не существует ни одного героя Набокова. Вечное возвращение, воля к власти, философия, пропитавшая отпечат-

ки ступней Диониса — всё это стало Великой Надеждой Набокова. Последствия победы, одержанной над мифом Сократом, тотальное сопротивление всякой антисократической тенденции, а также демократии и социализму, защита индивидуума от массы, саркастический взгляд на мещан современности, на их физические комплексы, вкупе с иссохшимся — под спудом моральных, идеологических и религиозных предрасудков, — духом, заняли должное место в романах писателя. В течении большей части их жизни, персонажи Набокова существовали философией Фридриха Ницше.

Доскональное знание, как учения Ницше, так и современной философии вкупе с произведениями Набокова позволило Анатолию Ливри представить, точно и детально, неразрывную связь философии с литературой. В процессе чёткого и разнообразного разбора Анатолий Ливри преподносит читателю несравнимую ни с чем панораму влияния Ницше на русско-американского писателя, доказывая важность, — доселе недооцениваемую исследователями, — которую представлял немецкий философ для Набокова. Да, всю свою жизнь Набоков сохранил связь с ницшевской мыслью, инкрустировав ею свои романы. Ливри показывает эту связь, как прямую, так и проявляющуюся аллюзией. Ничто не ускользает от его проницательного взора эрудита, и Ливри проводит читателя через тексты Набокова — к их источнику, к философии Фридриха Ницше. Анатолий Ливри сумел также распознать корни набоковского творчества не только в русской классической литературе, но и указать на их близость символистам и западным собратьям Набокова по перу.

Изучение творчества Набокова под эгидой дионисизма в его борьбе с Сократом становится неслыханным интеллектуальным удовольствием, а Ливри излагает своё видение литературы и философии стилем необычайным. Исследование Ливри важно вовсе не потому что каждому знатоку Ницше известно, насколько философ почитал себя вакхантом и воспитанником Диониса, но и потому что Анатолий Ливри доказал, во-первых своё острейшее чутьё на всё, связанное с диким богом, а во-вторых показал своё глубочайшее знание древнегреческой истории. В восхищении, испытываемом и Фридрихом Ницше и Набоковым от мифической Греции для Анатолия Ливри залог их отвращения к современности, её пошлой личине. Рядом с ней культурный дионисизм Эллады представляется совершенством. В опьянении и телесном контакте с Дионисом, с природой, для Набокова и Ницше — залог сверхъестественного откровения.

Возрождению чувственности, эротизму, дионисическому сознанию плоти противится критический дух «2000 лет извращения» — так сформулировал Ницше своё видение Христианства. То же мы находим и у Набокова, искавшего чувства единства солнца и камня, связанного с чудовищным ощущением благодати — так Набоков пытался передать своё восприятие дионисизма, который и в наши дни не утерял своей связи с человеком.

Творчество Набокова известно во всём мире, но лишь прочитав Ливри, постигаешь насколько Набоков оставался доселе непонятым. До сих пор картины набоковского мироощущения, странные и редко открывавшие свою глубокую сущность, с трудом поддаются расшифровке. Но канва всего созидания Набокова, благодаря Анатолию Ливри прослеживается чётко, и, неотступное следование вехам Ливри позволяет наконец приблизиться к Набокову — ницшеанцу.

Рената Реше

Профессор Кафедры Философии Гумбольдского Университета (Берлин), Директор Международной Организации «Фридрих Ницше» (Берлин – Наумбург), автор предисловия к французской версии Набокова ницшеанца (Paris, «Hermann», 2010), Редактор Альманаха Берлинского Университета «Nietzscheforschung» («Akademie Verlag»), публиковавшего работы Анатолия Ливри в 2006, 2009, 2010 годах.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Посвящение в таинство	7
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Реконкиста тела	74
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Майевтика.....	153
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. О «Сверх-человеке» долгожителе	196
ЧЕТВЕРТАЯ СВЕРХЧАСТЬ. Приоткрывая Зевесову завесу.....	296
???	307

